

# Александр Исаевич Солженицын

## В круге первом

*Восстановлены подлинные доцензурные тексты, заново проверенные и исправленные автором.*

*Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужас и искажил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.*

*И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный.*

*Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.*

*Написан – 1955-1958*

*Искажен – 1964*

*Восстановлен – 1968*

ПОСВЯЩАЮ ДРУЗЬЯМ ПО ШАРАШКЕ

### 1

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем темной.

Стекла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя все это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал пестрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нем.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет – но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но – его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой – пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трех и до четырех часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дергают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве все равно будет ночное сиденье.

А у тех пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри – страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато.

Иннокентий швырнул журнал и, ежась, прошелся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет там?.. в четверг-в пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее – подождать.

Разумнее – подождать.

Но будет поздно.

О, черт – ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестим. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгреб все со стола и понес в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильнее и сильнее. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернилницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый сморкающийся день.

От быстрых движений полегчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий углый челночек Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжелого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком – это он сам шел на линкор – торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнав его вниз, там велел налево, под первозажженные фонари Петровки.

Он еще колебался – откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку – заметнее.

Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофера в свидетели. Он еще рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно – другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь – остаемся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий – а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет – Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпедо, разворачиваясь получше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошел по площади, стараясь

умерять шаг.

Высохло в горле, во рту – тем высыханием, когда никакое питье не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красное "М" над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Черная южная женщина продавала маленькие желтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни перышка, ни хвостика не оставить ищейкам.

Иннокентий шел очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка.

И еще одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нем возможностей! – а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шел дальше, в метро.

Здесь четыре, углубленные в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остекленную дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

– Это секретариат? – он старался изменять голос.

– Да.

– Прошу срочно соединить меня с посланцем.

– Посла вызвать нельзя, – очень чисто по-русски ответили ему. – А вы по какому вопросу?

– Тогда – поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут – пусть так и будет, второй раз не пробовать.

– Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым, в трубку сказали:

– Слушают вас. Что вы хотели?

– Господин военный атташе? – резко спросил Иннокентий.

– Йес, авиэйшн, – проронили с того конца.

Что оставалось? Экрая рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно, Иннокентий внушал:

– Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

– Ждите момент, – неторопливо отвечали ему. – Я позову переводчик.

– Я не могу ждать! – кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) – И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идет о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

– Я вас плехо понимал, – спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживленный говор слышался отдаленно в комнате. – Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают русски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка черная с тяжелой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

– Слушайте! Слушайте! – в отчаянии восклицал он. – На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине ...

– Как? Какой авеню? – удивился атташе и задумался. – А откуда я знаю, что вы говорить правду?

– А вы понимаете, чем я рискую? – хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затянулся сигаретой.

– Атомная бомба? – недоверчиво повторил он. – А кто такой вы?

Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щелкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

## 2

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: «Служебный». Или, поновей, важную зеркальную табличку: «Вход посторонним категорически воспрещен». А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как все запретное, невесть что.

А там – такой же простой коридор, может почище. Средней струей простелена дорожка красного казенного рядна. В меру натерт паркет. В меру часто расставлены плевательницы.

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же – все под черной кожей, под вздувшейся от набивки черной кожей с белыми заклепками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе 6-го управления МГБ как «Пост А-1», – дежурило два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в "гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блеснул металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить должно было двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека, инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да еще и канун западного рождества.

Одного из них, широконогого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно.

Нипочем бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриним мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не полезет, а парторг уже пенял

Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из «Краткого курса» к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они еще не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Еще с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге.

Эти нарывы вспыхивали все новые и новые от неизвестных причин, их мазали зеленкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струнами. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребенка – и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешел удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпов. При надавливании их насачивалась бурая сукровица.

Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... а... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?.. и еще как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включенные автоматически. Не снимая обнаженной ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

– А откуда я знаю, что вы говорить правду?

– А вы понимаете, чем я рискую?

– Атомная бомба? А кто такой вы? Назовите ваш фамилия.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны – и тут только сообразил, что вопреки инструкции, не засек номера абонента.

Первое движение было – обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью еще в одном месте – и откинул вздорную мысль. Конечно дублируется, и за укрытие такого разговора – расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники».

– Генка! Генка! – хрипло позвал он, спуская брючину. – Аврал! Звони в оперативку! Может, еще захватят!..

### 3

– Новички!

– Новичков привезли!

– Откуда, товарищи?

– Приятели, откуда?

– А что это у вас на груди, на шапке – пятна какие-то?

– Тут наши номера были. Вот на спине еще, на колене. Когда из лагеря отправляли – спорили.

– То есть, как – номера?!

– Господа, позвольте, в каком веке мы живем? На людях – номера? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что – прогрессивно?

– Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.

– Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!

– Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря.

Имеете шанс! На цырлах!

– Беломор-"Ява" или Беломор-"Дукат"?

– Пополам.

– Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь.

– А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?

– Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.

– Смотри, новички!

– Новичков привезли.

– Э! орлы! Что вы, живых эзков не видели? Весь коридор загородили!

– Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!

– А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?

– Из разных. Из Речлага...

– ... из Дубровлага...

– Что-то я, девятый год сижу – таких не слышал.

– А это новые, Особлаг. Их учредили только с сорок восьмого.

– У самого входа в венский Пратер меня загребли и – в воронок.

– Подожди, Митек, давай новичков послушаем...

– Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.

– Вторая смена! На ужин!

– Озерлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...

– Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберется, так дает поэтические названия лагерям.

– Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живем?

– Ну, тихо, Валентуля!

– Простите, как вас зовут?

– Лев Григорьич.

– Вы сами тоже инженер?

– Нет, я филолог.

– Филолог? Здесь держат даже филологов?

– Вы спросите, кого здесь не держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радиотехники, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплетчики, даже одного геолога по ошибке завезли.

– И что ж он делает?

– Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! – самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.

– Лев! Ты выдаешь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую, – там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!

– Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?

– Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селедку мезенского засола и пшеничную кашу!

Пошло.

– Как вы сказали? Пшеничная каша – пошло? Да я пять лет пшеничной каши не видел!

– Наверно, не пшенная, наверно магара?

– Да вы с ума сошли – магара! Попробовали б они нам магару! Мы б им...

– А как сейчас на пересылках кормят?

– На челябинской пересылке...

– На челябинской-новой или челябинской-старой?

– По вашему вопросу видно знатока. На новой...

– Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?

– По-прежнему.

– Вы сказали – шарашка. Что значит – шарашка?

– А по сколько хлеба здесь дают?

– Кто еще не ужинал? Вторая смена!

– Хлеба белого по четыреста грамм, а черный – на столах.

– Простите, как – на столах ?

– Ну так, на столах, нарезан, хочешь – бери, хочешь – не бери.

– Простите, здесь что – Европа, что ли?

– Почему Европа? В Европе на столах белый, а не черный.

– Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.

– Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите!

Горбит тот, кто киркой машет.

– Черт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте – от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? – говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не курочат.

– Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать.

От каждого по способности, каждому по возможности.

– Так вы работали на Днепрострое?

– Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.

– То есть, как?

– А я, видите ли, продал его немцам.

– Днепрогэс? Его же взорвали!

– Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.

– Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение!

Эх, сейчас бы до Сов-гавани прокатиться!

– И назад, Валентуля, и – назад!

– Да! И скорей назад, конечно!

– Вы знаете, Лев Григорыч, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии, – никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Черный хлеб – на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я – в раю!!

– Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг – в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался – куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

*"Высокий замок предо мной возник...  
... посмотрите, какие здесь старинные своды!"*

*Семь раз обвитый стройными стенами...  
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...  
... вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...*

*Там были люди с важностью чела,  
С неторопливым и спокойным взглядом...  
Их облик был ни весел, ни суров...  
Я видеть мог, что некий многочестный  
И высший сонм уединился там...  
Скажи, кто эти, не в пример другим  
Почтенные среди толпы окрестной?.."*

– Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды»: «Доказано, что высокие настиги шерсти с овец зависят от питания и от ухода.»

#### 4

Елка была – сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную елку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у елки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву – и шестеро сели. Пятерых из них схлынуло горько-сладкое ощущение родины – устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них – крупный мужчина с широкой черной бородой, был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hoch-Deutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне-и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он – только в Пруссии, и то – с фрон-том.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гете и Шиллере, обсуждал для машин-"звуковок" уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической

Германии; а кто попроще, посолдатистей – с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не врасья в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена – и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это, Рубин не отрекался, только все неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, тарачил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросенка, розовыми ушами юнец Густав из Hitler– jugend (взятый в плен через неделю после конца войны).

И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвертого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побежденные гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жесткой черной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Обер-штурм-банн-фюрер-SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрек пришелся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках – в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца – худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля.

Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

подавляя желание взорваться, Рубин привел в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своем блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) – только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, – было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приемник, ничуть не похожий на приемник. И он уже слышал из Кельна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Все это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызовет их отсюда.

А Рубину они – кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти – ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщенно поклонился), попросил у общества извинения. Гости несколько позادержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор – широкий, с некрашеным разволокнувшимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством – был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживленный ужиный перерыв, интервьюировал новых эзков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки – застекленные окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой №1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латы-шей, тоже отпросившихся.

Остальные эзки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперуписать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными

четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов «царские ворота»).

Рубин подошел к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошел по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошел в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: «АКУСТИЧЕСКАЯ».

## 5

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную – физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новехонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радио-фирмы «Лоренц».

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежелтый рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Ее дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд черный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, все в тех же синих комбинезонах. Освещенные верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приемника, скорособренных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шел по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарем и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся черной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс – расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключенный в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вокруг тонкого стана, а на груди, в распах комбинезона, виднелась голубая шелковая сорочка, хотя и линиялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включенным паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряженно разглядывал радио-схему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

*"Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,  
Самба! Самба!"*

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

– Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубивая фразы:

– Лев Григорыч! Отрывайтесь! Рвите когти! Зачем вы ходите по вечерам?

Что вам тут делать? – И поднял на Рубина очень удивленные светлые мальчишеские глаза. – Да на кой черт нам тут еще филологи! Ха-ха-ха! – раздельно выговаривал он. – Ведь вы же не инженер!! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

– Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

– Эт-то не мой стиль! Я – первоклассный инженер, учтите, парниша! – резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нем была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни и движения мальчишечьи – никак нельзя было поверить, что он кончил институт еще до войны, прошел немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

– Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

– Ка-кие еще характеристики?! – Валентин правдоподобно играл в возмущение. – Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами – ведь я безумно люблю женщин!! Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки. Еще один заключенный от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятия.

– Кажется, только теоретически, – скучающим жевательным движением ответил Рубин.

– И безумно люблю тратить деньги!

– Но их у вас...

– Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин – и все время разных! – надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег – надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер – надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлиненное лицо Валентули были задорно поднято к Рубину.

– Ага! – воскликнул тот зэк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. – Вот, Левка, когда я поймал валентулин голос! Колокольчатый у него! Так я и запишу, а? Такой голос – по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

– Ах, что за чушь! – отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоем они рассматривали молча.

– А порядочно мы продвинулись, Глебка, – сказал Рубин. – В сочетании с видимой речью у нас хорошее оружие. Очень скоро мы-таки с тобой пойдем, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приемник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил :

– Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты – слушай.

Они оба нагнулись к приемнику, но очень мешал джаз.

– Валентин! – сказал Глеб. – Уступите. Проявите великодушие!

– Я уже проявил; – огрызнулся тот, – сляпал вам приемник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдете никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

– Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно – слушать сразу три приемника. Выключите свой, вас же просят.

(Приемник Валентина как раз играл слоу-фокс, и де-вушке очень нравилось...) – Серафима Витальевна! Это чудовищно! – Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны:

– Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьем! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обзрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! – ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. – Кого-нибудь, са депан! Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

– Да у него опять сдвиг фаз! тревожно сказал Рубин. – Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз. Валентуля ужаленно повернулся:

– Лев Григорьич! Кто вам дал право..?

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобожденная бегущая мелодия семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было – уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

– Инженер Пряничков! Вы все еще вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Пряничкова посерьезнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

– Слушайте, что за черт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушел, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в свое кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, – и это был скромный непарадный конец семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

– Дай по буквам, не слышу, – отозвался тот, остава-ясь к Рубину спиной.

– Всегда мне не везет, говорю, – хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь. – Вот – сонату пропустил...

– Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! – проворчал приятель. – А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шепота. Оборвалась – и все. Как в жизни... А где ты был?

– С немцами. Рождество встречал, – усмехнулся Рубин.

Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи.

– Молодчик. – Глеб подумал. – Мне нравится твое отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

– Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена.

Даже этот беспартийный мягкий Макс – разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он – не помешал?

– Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину...

– Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я – еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?

– Хорошо ты сказал. Граждане мира! – это звучит бескровно, чисто.

– То есть, космополиты. Нас правильно посадили.

– Конечно, правильно. Хотя ты все время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты «Дневник социалистического соревнования».

Глеб за эти полминуты рассчитанно-медленно донес руку до приемника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживленное лицо его было усталое, сероватое.

А Пряничкова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко беззаботно напевал:

*"Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,  
Самба! Самба!"*

## 6

Глеб Нержин был ровесник Пряничкова, но выглядел старше. Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ, и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостатке свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях – та мудрая скупость, какую природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем все это была чернуха, Нержин темнил по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдернул светлую шелковую занавеску и смотрел в стекла черного окна. За глубиной ночного пространства начинались разные крупные огни Москвы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо темно-бурым.

Особый стул Нержина – с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна – человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, все открыло бы в Нержине одного из ее основателей.

Шарашка названа была Марфинской по деревне Марфино, когда-то здесь бывшей, но давно уже включенной в городскую черту. Основание шарашки произошло около трех лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка эзков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать Би-Би-Си в тюремном общежитии (его и глушить еще не умели); вечерами самочинно гулять по зоне, лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы ээки не подползали к проволоке); и следить хоть за вечными звездами, хоть за бранным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания бревна и катает их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из

Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультра-коротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму «Лоренц», хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала все новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина докатилась вот до распознавания голосов по телефону, до выяснения – что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом еще полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин по-жаловался все так же через плечо:

– Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

– Поразительно, – буркнул Нержин. – Кажется, ты воевал только четыре года, не сидишь еще и пяти полных? И уже устал? Добивайся путевки в Крым.

Помолчали.

– Ты – своим занят? – тихо спросил Рубин.

– У-гм.

– А кто же будет заниматься голосами?

– Я, признаться, рассчитывал на тебя.

– Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя.

– У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. «Работу актера над собой».

И наконец, уже совсем потеряв стыд. – исследование о принцессе Турандот?

Какой еще зэк в ГУЛаге может похвастаться таким подбором книг?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

– Странно. Все эти книги, и даже о принцессе Турандот – с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли?

– Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

– О каких полах?

– На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На стройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика.

Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живет в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность создателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят – значит халтурная настилка? И я бессилён исправить!

– Слушай, это драматический сюжет.

– Для соцреализма. А во-вторых: не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам?

Рубин вздохнул:

– И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселитель-ным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

– Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы – это еще вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они

развернулись теперь каждый вполоборота: ко всей прочей комнате спинами, а лицами – к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдаленных оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина все время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они – фронтовики; что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели «малый джентльменский набор» орденов; что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же «общедоступному» десятому пункту; и оба получили одинаково по десятке (впрочем, и все получали столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу – Нержин был капитаном.

Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и значит не был заражен антисоветским зарубежным духом: Нержин был наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин якобы искажил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек наш, и потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные запутанные временные мысли.

Посмотрели еще туда, в темноту.

Рубин чмокнул:

– Все-таки ты – умственно убог. Это меня беспо-коит.

– А я не гонюсь: умного на свете много, мало – хорошего.

– Так вот на тебе хорошую книжку, прочти.

– Это опять про замороженных бедных быков?

– Нет.

– Так про загнанных львов?

– Да нет же!

– Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?

– Ты должен прочесть ее!

– Я никому ничего не должен, запомни! Со всеми долгами расплатемшись, как говорит

Спиридон.

– Жалкая личность! Это – из лучших книг двадцатого века!

– И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять? на чем люди заблудились?

– Умный, добрый, беспредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человеческий, гениально-наивный...

– Да ну тебя к шутам, – засмеялся Нержин. – Ты все уши забьешь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, еще поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне – ограничиться! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть карту Китая, прислоненную к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог ее пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а острием иглы, выписывал на крохотном листике,

утонувшем меж служебного камуфляжа:

"Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.

Это и никому не удавалось с одного раза."

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электро-слесаря. Слышались команды: «Включи!»

«Выключи!» Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио.

Кто-то громко требовал радиолампу «шесть-Ка-семь».

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключенным.

## 7

Такая маленькая, что трудно было не назвать ее Симочкой, – Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в теплый платок.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии с конституцией имели самые разнообразные права и в том числе – право на труд. Однако, право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишённые всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд – двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, с шести вечера и до одиннадцати ночи – вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работой зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка бы-ла сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтоб заключенные работали, а не бездельничали, чтоб они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтоб они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло еще и полугода, как Симочка, окончив институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключенные в своем дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату (за звание, на обмундирование) – а требовали только преданности и бдения, лишь потом – грамоты и навыков.

Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие ее подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девченки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная (еще в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учишь – аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься – они продирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазый бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучеба; еще в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да нужно и дома помочь, и в

магазины сходить, и помыться, и приодеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студенческое время не погулять, не поплясать – так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться! И вот к экзаменам Симочка и ее подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали ее за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, – но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многообразными планами и формами отчетности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да еще их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату кажется из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагодолучнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и ее подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала – как она будет на производстве?

И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединенного подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе – десятерых выпускниц института Связи.

Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну – они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, не достойными той русской речи, которую они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания; если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается!) – они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно-пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливаться на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность – но не вступать с ними в недельные переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности по-дозрения в нарушении – спешить к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин – черноватый низенький важный мужчина с седеющим ежиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль: что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение – например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит – опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключенными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить того беспросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слезы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться.

С тех пор прошло полгода – и что-то странное случилось с Симочкой.

Нет, не была поколеблена ее убежденность в черных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключенные, работающие во всех остальных комнатах, – кровавые злодеи. Но каждый день встречаясь с дюжиной эков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупинцы славы, – разглядеть тех отъявленных международ-ных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение – своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя ее комсомольский долг трубил, хотя ее любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, – необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к ее ближайшему соседу и сотруднику – Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола.

Все прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всем совершенстве приборов еще не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слушачей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался – или, по замыслу начальства, должен был заниматься – наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трехтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин четко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивает батарею:

«Огонь!» (Этот момент чаще всего показывали в кино.) Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надольше отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действителен потому, что ненавижу действие.» – «А что ж вы любите?» – спросила она с робостью. – «Размышление» – ответил он. И действительно, спадал шквал работы – он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чем он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для нее средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо ее портил слишком удлиненный нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок.

Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у нее были скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре – и это тоже не привлекало молодых людей. Так, к двадцати трем годам у нее сложилось, что еще никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отверткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки,

где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса – что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться, – она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась страшнейшая минута в жизни – щеки их горели, соединенные, – он не двигался! Потом вдруг охватил ее голову и поцеловал в губы. Все тело Симочки залила радостная слабость.

Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

– Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривавших людей, мо-гущих войти и откинуть шторку.

Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера, – девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой, – но у нее не было сил оторваться от рук, запрокинувших ее голову.

Первый раз в жизни ее целовал мужчина!..

Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.

## 8

– Чья там лысина сзади трется?

– Дитя мое, у меня все-таки лирическое настроение. Давай потренируемся.

– Вообще-то я занят.

– Ну, ладно тебе – занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой елочки, заговорил что-то о своем блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот – фронт! – нахлынул фронт! – и так живо, так сладко... Слушай, в войне все-таки есть много хорошего, а?

– До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда: очищение души, Soldatentreue...

– Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...

– Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: «Оружие – орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно.»

– Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы?

– Еще не решено.

– Сперва вспомнил я своих лучших фрицев – как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам: мать, обнявшая детей, потом белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.

– Я помню, я подбирал ее.

– и тут сразу наплыло... Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка ИнЯза, кончила в сорок первом и послали ее переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие.

– Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца?

– Ага-га! Удивительно тщеславная была девченка, очень любила, чтоб ее хвалили за работу (а ругать упаси боже) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свиногово, поюжней Подцепочья – лес?

– Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?

– По этот.

– Ну, знаю.

– Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна, март: ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, и этот, знаешь, запах! воздух! Мы бродили как первовлюбленные, как

молодожены. Почему, если женщина – новая для тебя, переживаешь с нею все с самого начала, как юноша набухнешь и...

А?.. Бесконечный лес! Редко где – дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера – сырого, розового.

Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить «рама». И Милка задумала: не хочу, чтоб ее сбивали, зла нет. Вот если не собьют – ладно, останемся ночевать в лесу.

– Ну, это уже была сдача! Где ж видано, чтоб наши зенитчики попали в «раму»!

– Да... Какие были зенитки за Ловатью и до Ловати – все по ней час добрый палили и не попали. И вот... Нашли мы пустой блиндажик...

– Надземный.

– Ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижин для зверья.

– Там же земля мокрая, не вкопаться.

– Ну да. Внутри – хвои набросано, запах от бревен смолистый, и дымоватый от прежних костров – печек нет, так так прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого... Пока костер горел – тени на бревнах... Глебка! Жизнь, а?!

– Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для эков главный интерес повествования.

Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава – зеленой. Зэк должен верить, что теоретически на свете еще остались милые живые женщины и они – отдаются счастливым... Ишь ты, какой вечер вспомнил! – с любовницей да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашел хорошую войну!.. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны слипшейся подушечкой, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней...

– Ну, кори, кори... Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, это значит – совсем их не знать. Это обедняет наш дух.

– Даже – дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину...

– Чепуха.

– А если двух?

– И двух – тоже ничего не дает. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех – это замысел природы.

– Так насчет войны! В Бутырках, в 73-й камере...

– ... на втором этаже, в узком коридоре...

– ... точно! – молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков – наших и власовцев, все ребята отчаюги, оторви, где только ни воевали, – так они чуть не загрызли этого профессора, расвирепели: нет в войне ни хренушка хорошего! Я слушал – и молчал. У Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда, – но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то кое, что отличало меня, артиллериста при крупных пушках, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте, кроме взятия этой крепости, – полный придурок, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя – ценою головы! – отступить. А я – придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

– Да я не говорю...

– ... а приятное всплывает. Но от такого денька, когда «Юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом – никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет,

Левка, хороша война за горами!

– Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

– Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

– Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

– Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком – каптером или банщиком, да жил в законе с шалашовкой, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие счастья-это условность, выдумка.

– Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от се-часье, то есть, этот час, это мгновение!

– Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. «Счастье» происходит от со-частье, то есть, кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология дает нам очень низменную трактовку счастья.

– Подожди, так мое объяснение – тоже из Даля.

– Удивляюсь. Мое тоже.

– Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!

– Маньяк!

– От дурандая слышу! Давай сравнительным языкознанием заниматься.

– Все происходит от руки ? Марр?

– Ну, пес с тобой, слушай – ты вторую часть «Фауста» читал?

– Спроси – читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.

– Нет, первая часть доступна, чего там!

Мне нечего сказать о солнцах и мирах, – Я вижу лишь одни мученья человека...

– *Вот это до меня доходит!*

– Или:

*Что нужно нам – того не знаем мы,  
Что знаем мы – того для нас не надо.*

– Здорово!

– А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея! Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем: только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Но все, что ни раскладывает Мефистофель перед Фаустом – возвращение молодости, любовь Маргариты, легкая победа над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия – ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, для циничного Мефистофеля затемненном и безумном, засверкала великая идея – осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада – лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. Что это? – спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутив, что принес пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

*Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!*

Но разобраться – не посмеялся ли Гете над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший? – и лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это – гимн счастью или насмешка над ним?

– Ах, Левочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю – когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.

– Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие.

Слушай дальше. На этом отрывке из «Фауста» на одной из своих довоенных лекций, – а они тогда были чертовски смелые! – я развил эгегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

«А вот я люблю – и счастлива! Что вы мне на это скажете?»

– И что ты сказал?..

– А что на это скажешь?..

## 9

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своем поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил, как поведывают давно выношенные мысли:

– Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье, – я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живем – и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо – вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья, – разреши мы сперва разберем природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную – без единой звездочки жира! – ячневую или овсяную кашу! Разве ее ешь? разве ее кушаешь? – ею причащаешься! к ней со священным тре-петом приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь ее медленно, ешь ее с кончика деревянной ложки, ешь ее, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде – и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела питаюсь ничем, ты живешь шесть месяцев и живешь двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он разметывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

– Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаем природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Левушка, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано еще в даосской этике: «Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен.»

Рубин усмехнулся:

– Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и все вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

– Не путай, Левка, совсем не так! Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из

людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно свои выводы сформулировать – зачем мне открывать еще раз Америку? На планете философии все земли давно открыты! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на шарашке, если выдастся такое чудо – тихое нерабочее воскресенье, да за день отмерзнет и отойдет душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтешь искреннюю страницу – и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен – и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях блаженства! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!

Рубин добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия и немного снисхождения к заблудшему младшему другу.

– А что говорят по этому поводу великие книги Вед? – спросил он, вытягивая губы шутиливой трубочкой.

– Книги Вед – не знаю, – убежденно парировал Нержин, – а книги Санкья говорят: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать.»

– Здорово ты насобачился, – буркнул в бороду Рубин.

– Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков?

– Это тебя Митяй сбивает?

– Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая! Слушай! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения – есть страдание! Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее, – и я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьебе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму – он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника (а именно так и приходилось ему в тюрьме).

– Внемли, дитя! В тебе сказывается неокрепость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь кол-лективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параша – и сквозь эти пары хочешь увидеть мир.

Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба – как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?

– А ты гордишься своим постоянством?

– Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.

– Каменный лоб! Вот это и есть метафизика! Вместо того чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впитывать новую жизнь...

– Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?

– ... ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу – и в этом видишь свой ум? В отказе от развития – ум? В торжество вашего чертова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

– Да не вера – научное знание, обалдон! И – беспристрастность .

– Ты?! Ты – беспристрастен?

– Аб-солютно! – с достоинством произнес Рубин.

– Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!

– Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе!

За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Все идет туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

– Лев, пойми! Я не с радостью – я с болью сердечной расставался с этим учением! Ведь оно было – звон и пафос моей юности, я для него все остальное забыл и проклял! Я сейчас – стебелек, расту в воронке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били...

– Потому что у тебя ума не хватало, дура!

– ... я по честности должен был отбросить ваши хилые построения. И искать другие. А это нелегко. Скептицизм у меня, может быть – сарай при дороге, пересидеть непогоду.

– Утки в дудки, тараканы в барабаны! Ске-епсис! Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику по-ложено воздержание от суждений – а ты обо всем лезешь с приговором! Скептику положена атараксия, душевная невозмутимость – а ты по каждому поводу кипятишься!

– Да! Ты прав! – Глеб взялся за голову. – Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят – и я кружусь, огрызаюсь, негодную...

– Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джекказгане не хватает питьевой воды!

– Тебя бы туда загнать, падло! Изю всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы...

– Да! Без твердой пенитенциарной системы государство существовать не может...

– ... Так вот тебя и загнать в Джекказган! Что ты там запоешь?

– Да дурак ты набитый! Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин!

– А ну? Что – Ленин? – Нержин притих.

– Ленин сказал: «у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к холуйскому грязному либерализму».

– Как-как-как? Ты не переврал?

– Точно. Это из «Памяти Герцена» и касается...

Нержин убрал голову в руки, как сраженный.

– А? – помягчел Рубин. – Схватил?

– Да, – покачался Нержин всем туловищем. – Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился!..

– А что?

– Что?? Это – язык великого философа? Когда аргументов нет – вот так ругаются. Рыцари языкоблудия! – произнести противно. Либерализм – это любовь к свободе, так он – холуйский и грязный. А аплодировать по команде – это прыжок в царство свободы, да?

В захлебе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер ее дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в ее сторону.

– Нет, у тебя-таки совсем вывернуты мозги, – отчаялся Рубин. – Ну, определи лучше.

– Да хоть какой-то смысл будет сказать так: скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов.

– И кто ж тут догматик? Я, да? Неужели я – догматик? – большие теплые глаза Рубина смотрели с упреком. – Я такой же арестант призыва сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что все до сердцевины гниль – я бы первый сказал: надо выпускать «Колокол»! Надо бить в набат! Надо рушить! Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений! не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом!.. Но я знаю, что гнило – только по

видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит надо спасать, а не рубить!

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

– Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века: два мира – две системы! И третьего не дано! И никакого «Колокола», звон по ветру распускать – нельзя! недопустимо! Потому что выбор неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?

– Да пошел ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих «двух мирах» он под себя всех и подмял.

– Глеб Викентьич!

– Слушай, слушай! – теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон. – Это – величайший человек!

– Тупица! Боров тупой!

– Ты когда-нибудь поймешь! Это вместе – и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он – мудр! Он – действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды...

– И еще смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам подсовывает...

– Глеб Викентьич!

– А? – очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

– Вы не слышали? По телефону звонили! – очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе коричневый платок козьего пуха. – Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

– Да-а?.. – на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места. – Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Левка, – Антон. С чего б это?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд ее, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

– Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство, – сказал он.

– С чего бы? – пожимал плечами Нержин. – Уж такая у нас второстепенная работенка, какие-то голоса...

– Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов, – засмеялся Рубин. – А может насчет артикуляции Семерки?

– Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

– Да глупости!

– Чего глупости? Наша жизнь такая... Сожжешь там, знаешь где. – Глеб защелкнул шторы тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошел неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждет только худшего.

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол вольного дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона

Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, еще в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся из всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

– Садитесь, Глеб Викентьевич! – несколько хохлясь в своем полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключенных с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими, – и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

– Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал – каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману?

Яконов произнес эту фамилию с откровенной небрежностью и даже – перед подчиненным Ройтмана! – не присовокупив к фамилии звание майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнесся к Семерке не как к дорогому покойнику, а как к трупю безвестного пьяницы, найденного под марфинским забором. Семерка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

– ... Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается!) – ... Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишаящим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера...

(Нагло издевается!) – ... Однако, я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... профит, как говорят англо-саксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я – человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и еще не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобразных суждений.

– Ну, так-таки вас спросить откровенно – ну что вы там сейчас делаете, в Акустической?

Нельзя было придумать вопроса беспощаднее! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

– Какого черта вам заниматься этой попугайщиной – «стыр», «смыр»? Вы – математик? Универсант? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое, а трое!

Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в черном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренева, довоенного доцента в своем Университете. Однако, по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения,

полагая, что перед ним – заключенный и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренев улыбался, но тоже казался смущенным. Голос Яконова успокоительно рокотал:

– Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности.

Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Вереневым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением.

И Яконов поднял из полуторного кресла свое представительное нелегкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понес его к выходу. Когда Веренев и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину – привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые «боксы» и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки «вагон-заков». Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками.

Черезо все это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буквы функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Оба закурили, Нержин волнуясь, и сели, разделенные маленьким столиком.

Веренев не в первый раз встречал своих прежних студентов – по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твердой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: уединенность подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал – застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии ученого: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К..., защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренева...

Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока...

*Мне нечего сказать о солнцах и мирах,  
Я вижу лишь одни мученья человека...*

А как он попал в это ведомство? почему ушел из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей – контузило, убило. Такие вечно лезут вперед, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя – или аспирантуру кончает, или ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша – Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской!?

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою черную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных «профессорских» анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов как на кладбище. Полвека научной работы, поднос

поздравительных телеграмм – из Милуоки, Кэптауна, Йокагамы. А в 30-м году, когда университет перестраивали в «индустриально-педагогический институт» – был вычищен пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым – говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привез указание: этого не трогать!

И не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бо-га. То на публичной лекции о своем кумире Ньюtone прогудит из-под желтых усов:

– Тут мне прислали записку: «Маркс написал, что Ньютон – материалист, а вы говорите – идеалист.» Отвечаю: Маркс передергивает. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный ученый.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние!

По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал – и все время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоем, деля работу, записать, а за вечер разобрать – душу осеняло нечто, как мерцание звездного неба.

Так что же с ним?.. При бомбежке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренев точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший Стивка, говорят, сейчас грузчиком в нью-йоркском порту.

Нержин внимательно смотрел на Веренева. Ученые головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари – это была недоработка, временный загиб; дети припомнили унижения отца – это грязное предательство. И кто это знает – грузчиком, не грузчиком?

Оперуполномоченные формируют общественное мнение...

Но за что... Нержин сел?

Нержин усмехнулся.

Ну, а за что, все-таки?

– За образ мыслей, Петр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

– В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

– У нас-то он как раз и есть и называется Пятьдесят восемь – десять.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свел его с Вереневым. Шестое Управление прислало Веренева для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Вереневу радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Петр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придется сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутафорией, под затаенно-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были – его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своем исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевелить – и отлетит у Нержина голова? Как говорится – что тебе надо больше всех? Больше всех – что тебе надо?

Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?.. Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория вероятностей, теория чисел,

теория ошибок... Мертвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни?

Зато – шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво бесчувственным бревном, в грязных чунях, – с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем – ты, если ничего, кроме тебя?..

Все доводы разума – да, я согласен, гражданин начальник!

Все доводы сердца – отойди от меня, сатана!

– Петр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

– Как вы сказали?

– Я говорю: сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

– Я, простите, не понимаю...

– Петр Трофимович! В скорлупе вы живете! Мне ведь, окончу срок, – ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею – как проживу? Там – медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции еще три мезозойских эры никому не понадобятся.

– Что вы говорите, Нержин?! В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

– Эх, Петр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: «одна дьяка, что за рыбу, что за рака». Дьяка – это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду!

Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу.

– Ну, как, розенкрейцеры? Договорились?

Не поднимаясь, твердо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил:

– Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической лаборатории не законченной.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

– Математика! – и артикуляция... Вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Идите.

И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

«Нержина – списать».

## 11

Уже много лет – военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела Специальной Техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаемкой и тремя крупными звездами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять из-дали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высоко-чиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долбленые корыта их черных гробов или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого Хозяина.

Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлетов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию – такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с желтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

– За-чэм мне эти передатчики? Квар-тырных варов ловить?

И сроку дал – до первого января сорок девятого года. Потом подумал и добавил:

– Ладна, да первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжато́му сроку. В министерстве подумали – и определили Яконову вытаскивать Марфино самому.

Напрасно тшился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кощачьими зеленоватыми глазами – Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упраздненного алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверцу в персональной «Победе», убаюканно домчаться в Марфино; миновать в оплетенных колючкою воротах вахтера, отдающего приветствие; и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами марфинской рощи.

Начальство еще ничего не требовало от Яконова – только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рог изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом: английская и американская покупная аппаратура; немецкая трофейная; отечественные зэки, вызванные из лагерей; техническая библиотека на двадцать тысяч новинок; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые – для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских, – и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрепанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвертом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо, было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрустала, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре – германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории! Все это было изложено в рапорте заключенного Рубина на имя инженер-полковника и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шишину и Мышину (в арестантском просторечии – Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей оплошности? А момент все равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущербленной секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же,

как на шарашке, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк; зэки же с покрикиванием «раз-два-взяли!» опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами – в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделенном от столицы и ее несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в черных бушлатах создавали сказочные перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоустроенное заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате еще один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками-скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с китайской провинцией Янь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

– Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником связи? Убери.

И Мамурина убрали – то есть, посадили на Лубянку. Его убрали, однако, не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний – судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули четвертную и закатали бы в Норильск. Но помня истину «сегодня ты, а завтра я», вершители МВД попрдержали Мамурина; когда же убедились, что Сталин о нем забыл – без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на марфинскую шарашку привезли нового зэка. Все было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой вертухай, а Начальник Отдела Тюрем МГБ; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но они всегда все слышат) – слышали, как приезжий сказал, что «колбасы он не хочет» (?!), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его «покушать». Подслушал это через перегородку зэк, который пошел к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий все-таки арестант, и, удовлетворенное, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь – историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

– Ну, браток, – толкнул он его в грудки, – откуда? На чем погорел?

Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледнолимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

– Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами – разговоришься!

Но «гада из стеклянной банки» в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую пронзительную фотографов, втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами,

электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходившее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница – на север, так что свет и днем еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, определило все же решетку оставить.

Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего «Железной Маской». Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было недозволено. Железная Маска был так желт и тощ, как бывает доходной зэк после хорошего двухлетнего следствия, – однако, безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал являться на работу в Семерку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарш и кричал:

– Ты мимо чьего кабинета топаешь, хам?? Как твое фамилие?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своем одиночестве он все читал книги – «Борьба за мир», «Кавалер Золотой Звезды», «России славные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачева – и! – с ним случилось чудесное превращение: он и сам стал писать стихи! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острее, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна (ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьей (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночевкой), вообще – не примитивные животные потребности, – горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелей переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него, – все же свое время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурина стегало безутишное, как зубная боль, стремление – оправдаться перед партией и правительством. Увы, все знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки.

Поэтому работать он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководство делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надежным.

К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадеживающих дела: Вокодер и Семерка.

По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и лишь, впряженные более тяжелой рукой в одну колесницу, не могли из нее вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы «вокодер», что значило по-английски voice coder (кодированный голос), а по-русски было окрещено «аппарат искусственной речи», но это не привилось. В ответ и Яконов ободрал все

прочие группы: самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в «Семерку», лабораторию №7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семерку и потому, что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчиненному Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте – разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щек, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переводя Семерку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семерке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семерку, и пошел Яконов, когда оставил Веренева с Нержиным у себя в кабинете.

## 12

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара, – так и среди трехсот эков марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семерка.

Все в институте знали ее истинное наименование – «лаборатория клиппированной речи», но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово клиппированная было с английского и означало «стриженная» речь. Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый глуповатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, однако принято было, что – только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клиппировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах.

Клиппирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолетом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотлично собрать и воссоздать субтропики, шум прибоа, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да еще воссоздать ее так, чтоб не только было все понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовой скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней ээки получали все – свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве; остальные же не получали ничего – ни дня скидки со срока, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, ээк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале, – самые цепкие арестанты старались попасть в Семерку, чтоб из нее выскочить на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало

готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семерку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осужденный на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джа-лилем. (В шутку Амантая считали старейшим работником фирмы, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как татарин был извлечен немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда ее руководители еще подписывались в письмах «mit Heil Hitler!»). Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфино он попал по ошибке неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУ Лага. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфино быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радио-измерений.

Еще тут был инженер Хоробров, большой знаток радио. В группу №7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семеркой, никак не включался в ее бешеный темп – и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец долгоруким молниевидным спецнарядом сюда, в марфинскую Семерку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин – и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семерка была такая же комната, как Акустическая, только этажом над ней.

Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в ее углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семерке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперед и захопотали еще радостней и быстрее, да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер – в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории.

Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтен, и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых эков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его изможденного лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах нежилыца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

– Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс – и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю.

«Почитать» и «послушать» – это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день – добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчета не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.

Привычно подчиненные единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошел в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включенные на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось нечто ужасное: звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием.

Но как мать с любовью вглядывается в уродства своего детеныша, так Яконов не только не сдергивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное нарочито-четкое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок, – поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это – угадка, и забывал, что это угадка, и все более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые прически, Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото-осциллограммы, мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, бесправнее колхозника. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!

Можно построить Эмпайр-стэйт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал все это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его, – негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

– Лучше, Яков Иваныч, определенно лучше! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него ухо хорошее. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией – но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего «хорошего уха» он и держался тут прочно, пока еще прочней не окопался капитальной работой «Русская речь в восприятии слухо-синтетическом и электро-акустическом».

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряженными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что – лучше, что намного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он еще до перестройки знал, что будет лучше). Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Сиромаха, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Черная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семерки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки – уходить спать, а вольняшки – бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжелой поступью прошел за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла – из-под Кая, откуда сплошным тысячеверстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛаг. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб

уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять свое ощущение справедливости, – пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засеивались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течении месяца изучали почерки всех избирателей участка – и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь! – под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере.

Сейчас благоразумие требовало, чтоб он толпошился среди общей работы Семерки и обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нем до той высоты, когда уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

– Андреич! Смываться пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защелку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

– Как, Терентьич, подходит? По цвету?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

– Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы «Правды»: время работает на нас. Антон уйдет – и мы тот-час-же испаримся.

У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нерабоче, хотелось только идти скорей в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семерки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «Жирные сазаны ушли под палубу» и «Вспомнил, прыгнул, победил» – известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец, он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, еще беспокоит его форманта "ж" и вовсе не идет столь характерное для славянских языков сочетание согласных «всп», над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осцилло-граммы и густым басом отозвался насмешливо:

– Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твердым неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал к портсигару розовую защелку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях – и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да еще и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресенья!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину:

– Илья Терентьич! А вы почему не слушаете? Вообще – куда вы направились?

Хоробров так же неторопливо обернулся и, искаженно улыбаясь, ответил раздельно:

– Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдется все благополучно – проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей трусливой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

– То есть, как это – спать? Все люди работают, а вы – спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

– Да так – просто спать! Я по конституции свои двенадцать часов отработал – и хватит! – И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась – и дежурный по институту объявил:

– Антон Николаич! Вас – срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровом.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой еще до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство, на Лубянку.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Вереневу и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина – списать» добавил:

«и – Хороброва».

## 13

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но еще не почувствовав его до конца, вернулся в Акустическую, – Рубина не было.

Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

– Спокойно, парниша! – задержал он Нержина взброшенной пятерней, как автомашину. – Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? – И вспомнил:

– Да! А зачем вас вызывали? кес ке пассэ?

– Не хамите, Валентайн, – хмуро уклонился Нержин. Этому одноданцу своей науки он не мог бы признаться, что отрекся, только что отрекся от математики.

– Если у вас неприятности – могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его...? ну, папироса в зубах, метр курум, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это:

*Моя милиция -*

*Меня стережет!*

*В запретной зоне -*

*Как хорошо!*

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду:

– Вадька! Осциллограф включи-ка!

Нержин подошел к своему столу, еще не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки ее подрагивали.

– А где Борода, Серафима Витальевна?

– Его тоже Антон Николаич вызвал, в Семерку, – громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, еще громче, слышно всем, попросила:

– Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Еще есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.

– Где ж я вас проверю в таком шуме?

– А... в будку пойдете. – Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полулю, аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь и, еще шторы не сбросил, Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы.

Он подобрал ее на руки, легкую, – было так тесно, что носки ее туфель стукнулись о стену, сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.

– Что вас Антон вызывал? Что было плохого?

– А усилитель не включен? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать?..

– ... Что было плохое?

– Почему ты думаешь, что плохое?

– Я сразу почувствовала, когда еще звонили. И по вас вижу.

– А когда будешь звать на «ты»?

– Пока не надо... Что случилось?

Тепло ее незнакомого тела передавалось его коленям и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности не у каждого обильна.

Симочка была удивительно легка: кости ли ее надуты воздухом; из воска ли ее сделали – она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объеме перьями.

– Да, перепелочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала:

– Ку-да-а?

– Как куда? Мы – люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли, – в лагерь, – рассудливо объяснял Глеб.

– За что-о-оже?? – не словами, а стоном вышло из Симочки.

Глеб смотрел близко и даже недоуменно в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.

– Можно было и остаться. Но в другой лаборатории. Мы все равно не были бы вместе.

(Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле таково было арестантское крайнее положение, что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом, и оставшись в Акустической – с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки.) А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала.

Эти минувшие недели, после первого поцелуя, – зачем было щадить Симочку, жалеть ее призрачное будущее счастье? Вряд ли найдет она жениха, все равно достанется кому-нибудь так. Сама идет в руки, и с таким испугом стучит у обоих... Перед тем, как нырнуть в лагерь, где уж этого ни за что не будет...

– Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоём... о твоей... Вообще оставить тебя... с ребенком...

Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

– Перепелочка... ну, не прячься... Ну, подними головку. Что ты замолчала? А ты –

хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

– Я буду вас ждать! Вам – пять осталось? – я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь – вернетесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но все равно, как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, еще были в письменном столе захороненные – его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли. Его первые нащупывающие формулировки.

Ни клочка записей не выпускали с шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать ее маленькие неокруглые плечи, оголенные из-под блузки его руками.

– Ты меня как-то спрашивала, что я все пишу да пишу, – с затруднением сказал он.

– А что? Что ты пишешь? – любопытно спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно, – он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила – и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые любящие глаза – они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он – она. Так это могло быть подстроено!..

– Так, историческое, – ответил он. – Вообще историческое, из петровских времен... Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет – я еще буду писать. А куда я все дену, уезжая?

И подозрительно углубился глазами в ее глаза.

Симочка покойно улыбалась:

– Как – куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый. – И еще высматривала в нем:

– Скажи, а твоя жена – очень красивая?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что ее стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а – раскрасневшаяся, в растрепанной одежде – стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу:

– ... дьер... фскоп... штап... Да, я слушаю... Что, Валентин Мартыныч?

Двойной диод-триод?... Шесть-Гэ-семь нету, но кажется есть шесть-Гэ-два.

Сейчас я кончу таблицу и выйду... гвен... жан... – и отпустила клапан. И еще терлась головой о грудь Глеба. – Надо идти, становится заметно. Ну, отпустите меня...

Но в голосе ее не было никакой решительности. Он плотней охватил и сильно прижал ее к себе вверху, внизу, всю:

– Нет!.. Я отпускал тебя – и зря. А вот теперь – нет!

– Опомнитесь, меня ждут! Надо лабораторию закрывать!

– Сейчас! Здесь! – требовал он.

И целовал.

– Не сегодня! – возражала она, послушная.

– Когда же?

– В понедельник... Я опять буду дежурить, вместо Леры... Приходите в ужинный

перерыв... Целый час будем с вами... Если этот сумасшедший Валентуля не придет...

Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застегнута, причесана и вышла первая, неприступно-холодна.

## 14

- Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала.
- Не попадешь.
- С пяти метров – чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?
- Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.
- Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают – лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.
- Синий свет?
- А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.
- Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?
- Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.
- Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.
- Мама! – в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу – о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.
- А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь это – бывший алтарь.
- Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.
- Дмитрий Александрыч! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.
- Господа! Кислород как раз и делает зэка бессмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе – ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.
- И даже на полтора! На верхних койках духотища!
- Эренбурга вы как считаете, – по ширине?
- Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.
- С ума сойти, где мой лагерный бушлат?
- Всех этих кислородников я послал бы на Ой-Мя-кон, на общие. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков, – в козлятник бы приползли, только бы тепло!
- В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я – за подогретый кислород.
- ... Что за черт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?
- Валентуля, вы фрайер! Вы бродили б еще до часу! Какой вам свет в двенадцать?
- А вы – пижон!

*В синем комбинезоне*

*Надо мной пижон.*

*В лагерной зоне -*

*Как хорошо!*

Опять накурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость... Э-э, и чайник холодный.

- Валентуля, где Лев?
- А что, его на койке нет?
- Да книг десятка два лежит, а самого нет.
- Значит, около уборной.
- Почему – около?
- А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни теплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать?
- Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная...
- Друзья, я вас прошу – о чем-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей – это социально-опасный разговор.
- Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.
- Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно откуда-то.
- Спать захочешь – уснешь, небось.
- Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?
- А позывные? Для такой страны, как Россия?!..
- Жабьи вкусы.
- В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо? – жарко очень и воды нет...
- В Ледовитом океане есть остров такой – Махоткина. А сам Махоткин – летчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.
- Михал Кузьмич, что вы там все ворочаетесь?
- Ну, повернуться с боку на бок я могу?
- Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот вниз отдается здесь, наверху, громадной амплитудой.
- Вы, Иван Иваныч, еще лагерь миновали. Там – вагонка четверная, один повернется – троих качает. А внизу еще кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведет – и наворачивает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.
- Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?
- Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.
- Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет – на полу не оставит, под голову ложит.
- В те года на полу не оставляй!
- В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут – и музыка играет.
- Рыбалка там замечательная, это одно, а другое – охота. Осенью час походишь – фазанами весь изувешен. В камыши зайдешь – кабаны, в поле – зайцы...
- Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом – рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших ученых: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят – скучно.
- Может, изобретем что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом – основная идея шарашек.
- ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!
- Валька, не скули, подушкой наверну!
- Куда, Валентуля?
- Как повезли?

- Младшина пришел, сказал – надеть пальто, шапку.
- И с вещами?
- Без вещей.
- Наверно, к начальству большому.
- К Фоме?
- Фома бы сам приехал, хватай выше!
- Чай остыл, какая пошлость!..
- Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!
- Спокойно, а как же мешать сахар?
- Беззвучно.
- Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда, – мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадет, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце – Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?
- Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!
- Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный... Сэ ле мо! Он хочет жить!
- Валька! Куда повезли Бобынина?
- Откуда я знаю? Может – к Сталину.
- А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?
- Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!
- Ну, по каким, например?
- Ну, по всем-по всем-по всем. Пар экзампль – почему живем без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.
- Пряничик! Заткнись! Все спят давно – чего разорался?
- Но если я не хочу спать?
- Друзья, кто курит – прячьте огоньки, идет младшина.
- Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант – долго ли нос расшибить?
- Пряничков!
- А?
- Где вы? Еще не спите?
- Уже сплю.
- Оденьтесь быстро.
- Куда? Я спать хочу.
- Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.
- С вещами?
- Без вещей. Машина ждет, быстро.
- Это что – я вместе с Бобыниным поеду?
- Уж он уехал, за вами другая.
- А какая машина, младший лейтенант, – воронок?
- Быстрей, быстрей. «Победа».
- Да кто вызывает?
- Ну, Пряничков, ну что я вам буду все объяснять? Сам не знаю, быстрей.
- Валька! Сказани там!
- Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?
- Про прогулки скажи!
- Про письма!..
- Про обмундирование!
- Рот фронт, ребята! Ха-ха! Адье!
- ... Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Пряничков?

- Даю, даю, товарищ майор! Вот он!
- Про все, Валька, кроши, не стесняйся!..
- Во псы разбегались среди ночи!
- Что случилось?
- Никогда такого не было...
- Может, война началась? Расстреливать возят?..
- Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас – по одному возить? Когда война начнется – нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях, в сорок пятом...
- Ну, ладно, спать, братья! Завтра узнаем.
- Это вот так, бывало, в тридцать девятом – в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия, – уж он с пустыми руками не вернется: или начальника тюрьмы переменят или прогулки увеличат... Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам – сорок грамм сливочного масла, а простым лошадам по двадцать... Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное...
- Умер?
- Нет, освободился... Лауреатом стал.

## 15

Потом стих и мерный усталый голос повторника Абрамсона, побывавшего на шарашках еще во время своего первого срока. В двух сторонах дошептывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырехстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната – может быть, единственная такая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху – просторный купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге – пять стройных, скругленных поверху окон.

Окна были обрешечены, но намордников на них не было, днем сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался.

Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов.

На соседних койках – слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик «Земеля» (под ним пустела кровать Пряничкова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська До-ронин, один из самых молодых эков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал все ясней: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь – и, может быть, очень вскоре – тяжелый долгий этап куда-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трехлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год (не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату). Середина ли это жизни?

Почти конец ее? Только начало?

Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость: ведь еще не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что

одиннадцать месяцев ему все откладывают и откладывают свидание с женой – и уж теперь дадут ли до отъезда?

И, наконец, просыпался и раскручивался в нем – нахрап и хват, совсем не он, не Нержин, а тот, кто вынужденно выпер из нерешительного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки, а потом утверждался всей жизненной обстановкой и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие обыски ждут – на выходе из Марфина, на приеме в Бутырки, на Красную Пресню; и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля; как суметь вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каждая лишняя шкура дорога); как доказать, что алюминиевая чайная ложка, весь срок возимая им с собой, его собственная, а не украдена с шарашки, где почти такие же.

И был зуд – прямо хоть сейчас, при синем свете, встать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положение: он валился ничком, по самые плечи уходя в подушку, натягивая одеяло на голову и стаскивая с ног; по-том перепластывался на спину, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там на углу матраца томищу Моммзена, «Историю древнего Рима». Заметив, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шепотом попросил:

– Глеб! У тебя есть близко папиросы? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика – под клубом вольных темно-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

– На вот, – подставил ему Нержин пустую пачку из-под «Беломора» вместо пепельницы.

Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять) в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений – не так двумя неделями учебы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. Со мгновенной переимчивостью, как говорится – с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛага, всегда был насторожен, лишь с немногими – откровенен, а со всеми – только казался ребячески откровенным. Еще он был кипуч, старался уместить много в малое время – и чтение тоже было одним из таких его занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и еще меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкшей комнаты спросил шепотом:

– Ну? Как теория циклов?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шепот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чем его спросили.

– Как с теорией цикличности, говорю?

Руська вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная

мысль. Он обвис, сполз на локоть, бросил погасший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

– Все надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин уже хотел отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

– История до того однообразна, что противно ее читать. Все равно как «Правду». Чем человек благородней и честней, – тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов – и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ – и казнен, будто бы он добивался царской власти. Марк Манлий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий, – казнен как государственный изменник! А?..

– Да что ты!

– Начитаешься истории – самому хочется стать подлецом, наиболее выгодное дело! Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали – этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Все – уже было... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Еще этолийцы, задолго до нас, объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Еще в Риме выяснили истину, которую забывает ГУЛаг: что раба неэкономично оставлять голодным и надо кормить. Вся история – одно сплошное ...ядство! Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни разви-тия. И некуда звать.

В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подергивание неверия на губах – таких молодых!

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызвали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

– Хочу тебя предупредить, Ростислав, – очень тихо возражал Нержин, склонясь почти к уху соседа. – Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма, – пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью – потому что люди ведь не могут остановиться, и значит не могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих...

– Хотя бы в болото? Лишь бы переться? – со злостью возразил Руська.

– Хотя бы... Ч-ч-черт его знает, – заколебался Глеб. – Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен, хотя и особенно трудно прививается. Но скептицизм не может стать твердой землей под ногой человека. А земля все-таки – нужна?

– Дай еще папиросу! – попросил Ростислав. И закурил нервно. – Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться! на историка! – раздельным громковатым шепотом говорил он. – Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы ученым, допустим даже не продажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы пухлый том. С какой-то еще восьмьюсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гелльветами. Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и еще больше умных книжек – какой дурак все это будет читать?! Как это ты приводил? – «То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, еще большими знатоками, как призрачное», да?

\*\*\*

– Вот-вот, – упрекнул Нержин. – Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли?

– Да, да, любить! – торжествующим хриплым шепотом перехватил Руська.

– Любить! – но не историю, не теорию, а де-вуш-ку! – Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть. – А чего лишили нас, скажи?

Права ходить на собрания? на политучебу? Подписываться на заем?

Единственное, в чем Пахан мог нам навредить – это лишить нас женщин! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить, – бил он себя в грудь, – что такое женщина для арестанта?

– Ты... не кончи сумасшествием! – пытался обороняться Нержин, но самого его охватила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, о ее обещании в понедельник вечером... – Выбрось эту мысль! На ней мозг затемнится. – (Но в понедельник!.. Чего совсем не ценят благополучные семейные люди, но что подымается ознобляющим зверством в измученном арестанте!) – Фрейдовский комплекс или симплекс, как там его черта – все слабей говорил он, мутясь. – В общем: сублимация! Переключай энергию в другие сферы! Занимайся философией – не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра – и от этой мысли, до ужаса сладкой, отнялась речь, не хотелось продолжать.) – У меня мозг уже затемнился! Я не засну до утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в руках у тебя... Чтобы... А, да что там!.. – Руська обронил еще горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернувшись, шлепнулся на живот и дернул одеяло на голову, стягивая с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кроватей вниз, на Потапова.

Философию представлял он Руське как убежище, но сам в том убежище был давно. Руську гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать, и вот эти горячие шквалы затмений налетали, отнимая разум? – а он себя струнил, передавливал и пятаком поросячьим тыкал-ся, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы до женитьбы, свою невозвратимую, не тем занятую юность, горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Еще его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! только на тюремном полу перебрал и осознал – и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир – жгли его тут напроколот.

Ну ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника.

Глеб наклонился к уху соседа:

– Руська! А у тебя – что? Кто-нибудь есть?

– Да! Есть! – с мукой прошептал Ростислав, лежа пластом, сжимая подушку. Он дышал в нее – и ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнувшей в тюрьме, – все накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал – «есть», и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое: не поцелуй, даже не обещание, было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе – и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою как необыкновенную. Ничего еще не произошло между ними, и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него – есть.

– Но кто она, слушай? – допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

– Тс-с-с... Клара...

– Клара?? Дочь прокурора?!!

Начальник Отдела Специальных Задач кончал свой доклад у министра Абакумова. (Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950-м году; принципиальный же план политических убийств был утвержден самим Сталиным еще перед уходом в отпуск.) Высокий (еще увышенный высокими каблуками), с зачесанными назад черными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирает локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал в теннис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин и высокое пристенное зеркало; потолок – высокий, лепной, на нем люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить все, как было, только зеленый цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходявшие на площадь и не отворяемые никогда. Часы тут были: стоячие, отменные футлярном; и на каминные, с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что еще двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане (с сигналом).

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед. Даже в кабинете простых следователей он был изображен много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь Человечества был выписан кремлевским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью – от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола, – Абакумов еще и на столе держал барельеф Сталина на стоячей родонитовой плите.

А еще на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник смертного отдела ушел, – во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Селивановский, начальник отдела Специальной Техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Селивановского.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперчеккистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом.

Когда Селивановский сел, – передним оказался уже Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три – и что-то симпатичное показалось ему в нем.

Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а

подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его, изрытое оспой щедрее, чем у Вождя, было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

– Ты – кто?

– Я? – перегнулся Осколупов, удрученный, что его не узнали.

– Я? – выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям, – и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился.

– Ты, ты, – подтвердительно просопел министр. – Объект Марфино – твой, значит? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

– В общем, так... Вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата? – И угрожающе предупредил:

– Не врать! Вранья не люблю!

Именно к этому вопросу и готовились три высоких лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперед из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнес:

– Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полковник! – (Абакумов больше любил так, чем «генеральный комиссар») – Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

– Что мы? – на собрании, что ли? Что мне вашими усилиями? – задницу обматывать? Я говорю – к числу к какому?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самым тоном своим и негромкостью голоса подчеркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

– Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырехсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

– Херц, херц! Ноль целых, херц десятых – вот это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль целых? Ты мне аппарата дай – два! целых!

Когда? А? – И обвел глазами всех троих.

Теперь выступил Селивановский – медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрин:

– Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семенович.

Двусторонние переговоры еще без абсолютной шифрации...

– Ты что из меня дурочку строишь? Как это – без шифрации? – быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли (а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками), – ему вполне хватало его четырехклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джицу и тренировался только в залах «Динамо».

Когда же, в годы расширения и обновления следователских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведет следствие, руками длинными ловко и лихо поднося в морду, и началась его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а теперь вот и министром, – ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчиненные не могли его дурачить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу, – как растворилась высокая дверь и в нее без стука вошел Михаил Дмитриевич

Рюмин – низенький кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого все министерство называло Минькой, но редко кто – в глаза.

Он шел, как котик, беззвучно. Приблизясь, невинно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Селивановским (тот привстал), подошел к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухлыми ладонями чуть поглаживая желобчатый скос столешницы, задумчиво промурлыкал:

– Вот что, Виктор Семеныч, по-моему это задача – Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать голоса? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трех представителей отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком – бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одутловатый, с обиженными губками, он, сколько мог, донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого отдела. И тут Рюмин нашел себя! – с усердием и успехом (может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь?) он освоил намотку дел. Даже с усердием избыточным – так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная Органам прокуратура тут не выдержала и – не остановила дела, нет! – но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу.

Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецделам центрального аппарата СМЕРШа. С тех пор звезда его только взлетала (на гибель Абакумову, но оба еще не знали о том).

– Я их и без этого разгоню, Михал Дмитрич, поверь. Так разгоню – костей не соберут! – ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

– Но что ты хочешь – я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного – как узнать? Где его искать?

– Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

– Ну, а ты – арестовал кого-нибудь?

– А как же? – сладко улыбнулся Рюмин. – Взяли четверых около метро «Сокольники».

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты – освобождать не полагается. Да может кого-то из них по этому же делу и придется оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

– Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве.

– Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить? – возмутился Абакумов. – Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!

– Нельзя, Виктор Семеныч, – благорассудно возразил Рюмин. – Это министерство – не Пищепром, так мы все нити потеряем, да еще из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанет. Тут именно надо найти – кто? И как можно скорей.

– Гм-м... – подумал Абакумов. – Так что с чем сравнивать, не пойму?

– Ленту с лентой.

– Ленту с лентой?.. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать.

Селивановский, сможете?

– Я, Виктор Семеныч, еще не понимаю, о чем речь.

– А чего тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверно, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков там. Насчет атомной бомбы. Вот угадай – молодчик будешь.

Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает – не стоит браться. Селивановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос в трех соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других – иначе б его не назначили. И хотя он в свое время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчиненных мог понимать дело лучше его – разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить.

Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем, тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, все записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного ученого. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя ученым.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

– Товарищ министр! Так это мы – можем!

Селивановский удивленно оглянулся на него:

– На каком объекте? Какая лаборатория?

– Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж – по телефону? Ну!

– Но Марфино выполняет более важную задачу.

– Ничего-о! Найдем людей! Там триста человек – что ж, не найдем?

И вперился взглядом готовности в лицо министра. Абакумов не то, что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу.

Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался – беззаветно готовый рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

– Молодец! – одобрил он. – Так и надо рассуждать! Интересы государства! – а потом остальное. Верно?

– Так точно, товарищ министр! Так точно, товарищ генерал-полковник!

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности рябого генерал-майора. Рассеянно глядя на Селивановского, он сказал:

– Так утром я к вам пришло.

Переглянулся с Абакумовым и ушел, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

– Ну, так когда же? Вы меня манили-манили – к первому августа, к октябрьским, к новому году, – ну?

И уперся глазами в Яконова, вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повел ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд – и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что и еще более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы, не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже победенных и еще только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать

несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил срок год.

Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчет был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет – а пока испытают общее качество да пока дойдет дело до серии, да пока повезут аппараты в наши посольства за границу – за это время еще пройдет полгода, наладится и шифрация и качество звучания.

Но Яконов знал, что мертвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовет Берию и спросит: какой дурак делал эту машину? Убери его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым зэкком.

И под взглядом министра почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконов преодолел жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха в легкие, ахнул:

– Месяц еще! Еще один месяц! До первого февраля!

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к серякам. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов – сами были виноваты Селивановский, Осколупов и Яконов. Если так трудно – зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым, – уперся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долготлетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про запас и перед Сталиным всегда набавлял еще пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого марта. Так что на худой конец можно было разрешить еще месяц, – но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

– Это как – месяц? По-человечески месяц или опять брешете?

– Это точно! Это – точно! – обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Марфино и сам братья за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

– Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию.

Селивановский – будет?

– Будет! будет!

– Осколупов! Голову оторву! Будет?

– Да товарищ министр, да там всего-то осталось...

– А – ты? Чем рискуешь – знаешь? Будет?

Еще удерживая мужество, Яконов настоял:

– Месяц! К первому февраля.

– А если к первому не будет? Полковник! Взвесь! Врешь.

Конечно, Яконов лгал. И конечно надо было просить два месяца. Но уж открыто.

– Будет, товарищ министр, – печально пообещал он.

– Ну, смотри, я за язык не тянул! Все прощу – обмана не прощу! Идите.

Облегченные, все так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом

пятиметрового Сталина.

Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.

Едва их вывели, как в кабинете было доложено:

– Инженер Пряничков!

## 17

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Селивановского был вызывай Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Марфино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ-ка Бобынин, потом зэ-ка Пряничков. Бобынина и Пряничкова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Пряничков вряд ли был способен сговариваться – по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке ее так и называли: «сдвиг фаз у Валентули».

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас.

Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стеклами «Победы». После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Марфина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к веселой суете привокзальной площади, потом к неоновым витринам Сретенки. Для Пряничкова не стало ни шофера, ни двух сопровождающих переодетых – казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его легких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы еще не видел ни один арестант за всю историю шарашки!

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключенных, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет и женщины изнывают от избытка никем не разделенной, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбужденная столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки – и вибрирующие чувства Валентина воспринимали, как сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля его обдают удары, удары, удары духов проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы, – Валентину впору было расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он сидит ни за что! После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той изящной жизни, которую ему никак не доводилось пожить то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, ожидая в какой-то комнате, Пряничков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпустили нехотя.

Молодой лощеный подполковник попросил его следовать за собой.

Пряничков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел еще таким щуплым, как вступая в этот зал-кабинет, на пороге которого споровожающий оставил его.

Пряничков даже не догадался, что это – кабинет (так он был просторен), и что пара золотых погонов в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его все еще шли ночные женщины и проносилась ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Он не удивился бы, если б сюда вошли разряженные женщины и начались бы танцы.

Нелепо было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещенной синею лампочкой, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая, и мужчины бродят в одном белье.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковер был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой стороне высилось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам! Для зэка, кому не всегда доступно дешевенькое зеркальце меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало – праздник!

Прянчиков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошел к нему очень близко, с удовлетворением рассмотрел свое чистое свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и в профиль. Чуть прошелся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным, и придя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Прянчиков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог из одной половины мира любого посадить в тюрьму, а из другой половины – любого убить, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Прянчиков подошел и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

– Вы – инженер... – Абакумов сверился с бумажкой, – ... Прянчиков?

– Да, – рассеянно подтвердил Валентин. – Да.

– Вы – ведущий инженер группы... – он опять заглянул в записку... – аппарата искусственной речи?

– Ка-кого аппарата искусственной речи! – отмахнулся Прянчиков. – Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. Voice coder.

– Но вы – ведущий инженер?

– Вообще да. А что такое? – насторожился Прянчиков.

– Садитесь.

Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

– Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер – когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно два месяца?

Скажите, не бойтесь.

– Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! – звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожаные спинки и всплеснул руками. – Да вы что??! Что вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

– У вас клочок бумажки найдется? Да вот! – Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался – столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не слушая.

– Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник, – почти захлебывался Прянчиков от напора желая все скорей высказать. – И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Черт! Как вы пишете таким гадким пером?... воспроизведении путем суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов.

Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

– Подождите, – опомнился Абакумов. – Вы мне только скажите одно: когда будет готово? Готово – когда?

– Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался. – В Пряничкове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться. – Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идем на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых...

– Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?

– Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество еще огрубится! Да не станем загадывать! – уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав. – Я вам сейчас все объясню. Вы сами поймете и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, заторможенным взглядом упервшись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощеный подполковник и пригласил Пряничкова к выходу.

Пряничков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом.

Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жа-ловаться, добиваться...

Он круто обернулся и направился назад:

– Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам...

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, – и в этот короткий неловкий момент из памяти Пряничкова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как на зло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

– Например, насчет кипятка! С работы поздно вечером придешь – кипятка нет! чаю нельзя напиться!..

– Насчет кипятка? – переспросил тот начальник, вроде генерала. – Ладно. Сделаем.

## 18

В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошел Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошел; не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись.

Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим стираный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Пряничковым, но не принявший всерьез легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно.

И он не крикнул ему: «встать!», а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

– А почему вы без разрешения садитесь?

Бобынин, едва скосясь на министра, еще кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

– А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять – лучше, чем ходить, сидеть – лучше, чем стоять, а еще лучше – лежать.

– Но вы представляете – кем я могу быть?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и

высказал ленивое предположение:

– Ну – кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?

– Вроде кого???

– Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошел.

По лицу Абакумова прошло движение, отдаленно похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

– Так вы что? Не видите между нами разницы?

– Между вами? Или между нами? – голос Бобынина гудел как растревоженный чугунок. – Между нами отлично вижу: я вам нужен, а вы мне – нет!

У Абакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, несолидно.

Он понял, что арестант этот – трудный.

И только предупредил:

– Слушайте, заключенный. Если я с вами мягко, так вы не забываетесь...

– А если бы вы со мной грубо – я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

– Сколько нужно – и вас заставим.

– Ошибаетесь, гражданин министр! – И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью. – У меня ничего нет, вы понимаете – нет ничего! Жену мою и ребенка вы уже не достанете – их взяла бомба. Родители мои – уже умерли. Имущества у меня всего на земле – носовой платок, а комбинезон и вот белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) – казенное.

Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима – чем еще можете вы мне угрожать? чего еще лишиться? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлевского выпуска и пододвинул Бобынину:

– Вот, возьмите этих.

– Спасибо. Не меняю марки. Кашель. – И достал «беломорину» из самодельного портсигара. – Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все – уже не подвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

– Инженер Бобынин! Вы – ведущий инженер установки «клиппированная речь»?

– Да.

– Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?

Бобынин вскинул густые темные брови:

– Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?

– Я хочу знать именно от вас, К февралю она будет готова?

– К февралю? Вы что – смеетесь? Если для отчета, на скорую руку да на долгую муку – ну, что-нибудь... через полгода. А абсолютная шифрация?

Понятия не имею. Может быть – год.

Абакумов был оглушен. Он вспомнил злобно-нетерпящее подергивание усов Хозяина – и ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Все опустилось

в нем, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Обеими руками министр подпер голову и сдавленно сказал:

– Бобынин! Я прошу вас – взвесьте ваши слова. Если можно быстрее, скажите: что нужно сделать?

– Быстрее? Не выйдет.

– Но причины? Но какие причины? Кто виноват? Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!

Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества «Россия».

– Ведь это получается два с половиной-три года! – возмутился министр.

– А вам срок был дан – год! И Бобынина взорвало:

– Что значит – дан срок? Как вы представляете себе науку:

Сивка-Бурка, вешая каурка? Воздвигни мне к утру дворец – и к утру дворец? А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме приказа еще должны быть спокойные сытые свободные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали – и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Черт ее знает, почему она хрупнула! Но ее заварить – час работы сварщику. Да и станок – говно, ему полтора года лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод! – так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе – опер, дармоед, да в тюрьме еще один опер, дармоед, только нервы дергает, протоколы, закорючки – да на черта вам это опернотворчество?! Вот все говорят – секретную телефонию для Сталина делаем. Лично Сталин насаждает – и даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения: то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает. Нищета! Позор! «Кто виноват»? А о людях вы подумали? Работают вам все по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных – костями?..

Свиданий с родственниками почему Пятьдесят Восьмой не даете? Положено раз в месяц, а вы даете раз в год. От этого что – настроение подымается? Может, воронок не хватает, в чем арестантов возить? Или надзирателям – зарплаты за выходные дни? Режим!! Режим вам голову мутит, с ума скоро сойдете от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять, теперь запретили. Это зачем? Чтобы больше работали? На говне сметану собираете? От того, что без воздуха задыхаются – скорее не будет. Да чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.

Бобынин выпрямился, гневный, большой.

Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.

Было двадцать пять минут второго ночи. Через час, в половине третьего, Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина, на кунцевской даче.

Если этот инженер прав – как теперь изворачиваться?

Сталин – не прощает...

Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И темное бешенство обожгло ему глаза.

И он позвонил за ними.

Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно, если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный

(особое лицо отвечало за выпуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая оттоманка с цветастыми подушками. Над ней со стены горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками.

На оттоманке лежал человек, чье изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толченым кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зерен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолетов, заснято на кинолентку – как ничье никогда за три миллиарда лет существования земной коры.

А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нем был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми – старый, обжитый, из тех серых, защитных, черных и белых френчей, какие (немного повторяя Наполеона) он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршалский мундир только после Сталинграда.

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи.

Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах арестантов. По этому имени во множестве были переименованы города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли – и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными) уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рывтинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшей кожей сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с темными неровными зубами, частью уклоненными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная и отрыгалось тухло, не помогали салол с беладонной, а слабительных он пить не любил. Сегодня он и вовсе не обедал и вот рано, с полуночи, лег полежать. В теплом воздухе он ощущал спиной и плечами как бы холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью.

Глухонемая тишина налила дом и двор, и весь мир.

В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало время, и надо было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового пространства, не двигаться в нем. Но невозможно было исключить себя из времени.

Сейчас он перелистывал книжечку в коричневом твердом переплете. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто – она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления ее читать. На переплете было выдавлено и позолочено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вел мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики,

кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности – все это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность – это очень верно.) Безотказное знание людей помогло юбиляру собрать хороший коллектив авторов для этой биографии. Но какие б они старательные ни были, из кожи вон, – а никто не напишет так умно, так сердечно, так верно о твоих делах, о твоём руководстве, о твоих качествах, как ты сам. И приходилось Сталину вызывать к себе из этого коллектива то одного, то другого, беседовать неторопливо, смотреть их рукопись, указывать мягко на промахи, подсказывать формулировки.

И вот теперь книга имеет большой успех. Это второе издание вышло пятью миллионами экземпляров. Для такой страны? – маловато. Надо будет третье издание запустить миллионов на десять, на двадцать. Продавать на заводах, в школах, в колхозах. Можно прямо распределять по списку сотрудников.

Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу.

Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений.

Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей стране (а Сталину самому они зачем? – он скромн), для того и нужно было постоянное громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя – его это уже не радовало, ему уже давно приелось, – это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний – а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не все время с ними на земле, а бываешь еще где-то. И тогда нет предела их восхищению и преклонению.

Не тошнило, но как-то тяжело поднималось из желудка. Из вазочки с очищенными фруктами он взял фейхуа.

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие.

По кавказским понятиям семьдесят лет – это еще джигит! – на гору, на коня, на женщину. И Сталин тоже еще вполне здоров, ему надо обязательно жить до девяноста, он так загадал, так требуют дела. Правда, один врач предупредил его, что... (впрочем, кажется, его расстреляли потом). Настоящей серьезной болезни никакой нет. Никаких уколов, никакого лечения, лекарства он и сам знает, умеет выбрать. «Побольше фруктов!» Рассказывай кавказскому человеку про фрукты!..

Он сосал мякоть, прижмурив глаза. Слабый привкус иода ложился на язык.

Он вполне здоров, но что-то и меняется с годами. Уже нет прежнего свежего наслаждения едой – как будто все вкусы надоели, притупились. Уже нет острого ощущения в переборе вин и в смеси их. И хмель переходит в головную боль. И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой, а куда-то же надо деть это пустое долгое время.

Уже и женщины, с которыми он так попиrowал после надиной смерти, нужны ему были мало, редко, и с ними было не до дрожи, а мутновато как-то. Уже и сон не облегал – чал по-молодому, а проснувшись слабым и со сдавленной головой, не хотелось подниматься.

Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, он просто должен домучиться еще двадцать лет ради общего порядка в человечестве.

Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели – мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Еще потом – узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие.

Потом отдельно с Лаврентием – кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический прием. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и «Незабываемый 1919».

Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились. Теперь все более и более правдиво вырисовывается его роль не только в отечественной, но и в гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьезно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого поверхностного Ленина. И благородно вложил драматург в его уста: «Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать!» А у сценариста хорошо сочинена эта ночная сцена с Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Сталина никого не осталось из-за постоянной неискренности и коварства людей – да и за всю жизнь не было такого Друга! вот так складывалось, что никогда его не было! – но, увидев на экране, Сталин почувствовал умиление в горле (это художник – так художник!): как бы хотел он иметь такого правдивого бескорыстного Друга, и вот что думаешь целыми ночами про себя – говорить ему вслух.

Однако, невозможно иметь такого Друга, потому что он должен был бы тогда быть чрезвычайно велик. А – где ему тогда жить? чем заниматься?

А эти все, с Вячеслава-Каменной задницы и до Никиты-плясуна – разве это вообще люди? За столом с ними от скуки подохнешь, никто ничего умного первый не пред-ложит, а как им укажешь – так сразу все соглашаются.

Когда-то Ворошилова Сталин немножко любил – по Царицыну, по Польше, потом за кисловодскую пещеру (доложил о совещании предателей, Каменева-Зиновьева с Фрунзе), – но тоже манекен для фуражки и орденов, разве это человек?

Никого он сейчас не мог вспомнить, как своего друга. Ни о ком не вспоминалось больше доброго, чем плохого.

Друга нет и быть не может, но зато весь простой народ любит своего Вождя, готов жизнь и душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения Вождя стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий! – от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия. Просила «Правда» разрешения печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днем, Сталин съездил посмотреть их ночью.

Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним – но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И еще какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, а осталось только, что – неприятно. Сталин прошел три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов» (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине), повернулся и уехал.

А в общем прошел замечательный юбилей – такая гордость! такие победы! такой успех, какого не знал ни один политик мира! – а полноты торжества не было.

Что-то, как в груди застрявшее, досаждало и пекло.

Он откусил и пососал еще.

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж многими недостатками, сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить: из-за кого отступали в со-рок первом году? Кто ж тогда отступал, если не народ?

Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а – приниматься за работу.

Думать.

Думать – был его долг. И рок его, и казнь его тоже была – думать. Еще два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить, и не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не выспишь. А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом.

Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока солнце

восходило, играло, поднималось на кульминацию – Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытый, запертый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трех часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать.

Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи – и только до рассвета.

И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зреющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти все в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали свое место – и только колхозная молодежь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы, да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слетов и съездов. Однако, пронизательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть еще глубже. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а вот несознательная часть молодежи старается после школы обманым образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал – и в нем началась подтачивающая работа.

Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! – как он себе это конкретно представлял?

Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком?

Кухарка – она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми – это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особо-отобранным кадрам, закаленным кадрам, дисциплинированным кадрам.

Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почетное право. Сразу – агиткомпанию: «Новый шаг к коммунизму», «юные наследники колхозной житницы»... ну, там писатели найдут, как выразиться.

Но – наши сторонники на Западе?..

Но – кому же работать в колхозах?..

Нет, что-то не шли сегодня рабочие мысли. Нездоровилось.

Раздался легкий четырехкратный стук в дверь – не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, будто о дверь скреблась собака.

Сталин повернул около оттоманки ручку тяги дистанционного запора, предохранитель сощелкнул, и дверь приотворилась. Ее не закрывала портьера (Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться), и видно было, как голая дверь растворилась ровно настолько, чтобы пропустить собаку.

Но не в нижней, а в верхней части просунулась голова как будто еще и молодого, но уже лысого Поскребышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице.

С тревогой за Хозяина он посмотрел, как тот лежал, полу прикрывшись верблюжьей шалью, однако не спросил прямо о здоровьи (Сталин не любил таких вопросов), а, недалеко

от шепота:

– Есь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? нет?

Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного кармана и на цепочке вытащил часы (как все люди старого времени, терпеть не мог ручных).

Еще не было и двух часов ночи.

Тяжелый ком стоял в желудке. Встать, переодеться не хотелось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть послабь – сразу почувствуют.

– Па-смотрим, – устало ответил Сталин и моргнул.

– Нэ знаю.

– Ну, пусть себе едет. Подождет! – подтвердил Поскребышев и кивнул с излишком раза три. И замер опять, со вниманием глядя на Хозяина:

– Какие распоряжения еще, i-Сарионыч?

Сталин смотрел на Поскребышева вялым полуживым взглядом, и никакого распоряжения не выражалось в нем. Но при вопросе Поскребышева вдруг высеклась из его прорончивой памяти внезапная искра, и он спросил, о чем давно хотел и забывал:

– Слушай, как там кипарисы в Крыму? – рубят?

– Рубят! Рубят! – уверенно тряхнул головой Поскребышев, будто этого вопроса только и ждал, будто только что звонил в Крым и справлялся. – Вокруг Массандры и Ливадии уже много свалили, i-Сарионыч!

– Ты все ж таки сводку па-требуй. Цы-фравую. Нэт ли саботажа? – озабочены были желтые нездоровые глаза Всесильного.

В этом году сказал ему один врач, что его здоровью вредны кипарисы, а нужно, чтобы воздух пропитывался эвкалиптами. Поэтому Сталин велел крымские кипарисы вырубить, а в Австралию послать за молодыми эвкалиптами.

Поскребышев бодро обещал и навязался также узнать, в каком положении эвкалипты.

– Ладно, – удовлетворенно вымолвил Сталин. – Иды-пока, Саша.

Поскребышев кивнул, попятился, еще кивнул, убрал голову вовсе и затворил дверь. Иосиф Виссарионович снова спустил дистанционный запор.

Придерживая шаль, повернулся на другой бок.

И опять стал листать свою Биографию.

Но, расслабляемый лежаньем, ознобом и несвареньем, невольно предался угнетенному строю мысли. Уже не ослепительный конечный успех его политики выступил перед ним, а: как ему в жизни не везло, и как несправедливо-много препятствий и врагов городила перед ним судьба.

## 20

Две трети столетия – сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец, из конца – трудно оживить и поверить в начало.

Безнадежно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребенку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Все же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи – сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О. с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях.

Вот здесь, в «Биографии», есть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнуренный моленьями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготавливаемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши – и только глаза да напряженные брови выдают, что этот послушник пойдет, пожалуй, до митрополита.

А Бог – обманул... Заспанный постылый городок среди круглых зеленых холмов, в извилах Меджуды и Лиахви, отстал: в шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, а на чердак.

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило – не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли – зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклоностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы – но открытыми объятьями звала всех, принимала и всем обещала место – Революция.

Сюда, в «Биографию», он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него не борода, не усы, не бакенбарды (он не решил еще, что), а просто не брился давно, и все воедино живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает, куда. Что за милый молодой человек! Открытое, умное, энергичное лицо, ни следа того изувера-послушника. Освобожденные от масла, волосы воспряли, густыми волнами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нем может быть несколько не удалось: лоб невысокий и покатым назад. Молодой человек беден, пиджачок его куплен поношенным, дешевый клетчатый шарфик с художественской вольностью облегает шею и закрывает узкую болезненную грудь, где и рубашки-то нет. Этот тифлисский плебей не обречен ли уже и туберкулезу?

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней).

Как все трудно, как все против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключенного из семинарии!

(Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис – но все-таки исключили его.) Одиннадцать лет он кланялся и молился – впустую, плакало потерянное время... Тем решительней передвинул он свою молодость – на Революцию!

А Революция – тоже обманула... Да и что то была за революция – тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Здесь пропадешь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а – кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавидивает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться? – те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников? – никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни.

И черт ему вообще в этой революции, в какой-то голытьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках? – почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и – обойденного?

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зерен и силу власти. Люди шли за ним! – отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь – а люди чтобы делали, ты укажешь – а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого – ничего нет. Это – выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело

какое! два месяца подержат, выпустят, будешь – страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали.

\*\*\*

Прошел год! – и его перевели в кутаисскую тюрьму, в темную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался все ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И еще справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему им так легко сходит революция, почему их так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили? Это только начало, Джугашвили. Мы будем держать вас тут, пока вы сгниете от чахотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу. Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф! Зачем вы пошли в эту свору? Вы – случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете.

Он и правда сожалел, как сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу?

Как он поторопился!.. Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет, когда Иосифу будет семьдесят три года... Зачем ему тогда и революция?

Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф – свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и порядку. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя, и зачем же было ее расшатывать?

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу.) В конце концов то, что я вам предлагаю, – есть государственная служба. (На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них – выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберем кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапировав вас в далекую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!

В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочел письмо некоего Ленина, известного по «Искре». Ленин откололся на самый край, теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть.

От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество, и еще до начала японской войны был на солнечном Кавказе.

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги – арестовывали других (особенно – несимпатичных ему), а его – не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг! – никто не ждал ее так быстро, никто ее не подготовил, не организовал – а Она наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Ивано-Вознесенск, восставали Лодзь, «Потемкин» – и быстро из царского горла выдавили манифест, и все равно еще стучали пулеметы на Пресне и замерли железные дороги.

Коба был поражен, оглушен. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперед?

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу! Что за безвыходное кольцо? – вытрясать революцию из России, чтоб на второй ее день из архива охранки вытрясли твои донесения?

Не только стальной не была его воля тогда, но раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода.

Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись – где ж та революция? Нет ее!

В это время большевики усваивали хороший революционный способ эксов экспроприации. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы – так метод борьбы! – не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что – грабеж и террор, противоречит марксизму. Ах, как издевался над ними Коба, ах, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин «чудесным грузином»! – эксы – грабеж, а революция – нэ грабеж? ах, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию, откуда же – на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эксы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесет его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка – так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут – дураки.

И этого о Кобе – не знала полиция, и еще подержалась такая средняя приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда.

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего черного гнева.

А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трех сибирских и уральских уходов из ссылки, его, непримиримого, неутомимого бунтаря, загнали... в город Вологду, где он поселился на квартире у полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга.

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал:

«Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!»

В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК!

Ведь вот Малиновский – член большевистского ЦК – и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшней член ЦК – верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК – это какая-то власть. А что он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться.

Судьба Азефа как призрак-великан качалась над каждым днем его, над каждой его ночью.

Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их.

Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года шлиссельбургской крепости и еще потом ссылку добавочно. Сталину, как повелось, дали только ссылку, три года. Правда, далековато – Нарымский край, это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской

империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург.

Теперь он перенес нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маевка, там листовка – и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка – и загнали его теперь в настоящую ссылку – под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали – умела царская власть лепить безжалостные сроки!

– четыре года, страшно сказать.

И опять заколебался Сталин: ради чего, ради кого отказался он от умеренной благополучной жизни, от покровительства власти, дал заслать себя в эту чертову дыру? «Член ЦК» – словечко для дурака. Ото всех партий тут было несколько сотен ссыльных, но оглядел их Сталин и ужаснулся: что за гнусная порода эти профессиональные революционеры – вспышккопускатели, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не Полярный Круг был страшен кавказцу Сталину, а – оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить – да среди медведей ему было бы легче! – он женился на челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым, – да уж лучше ее «хи-хи-хи» и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они – чужие люди, отрубил себя от них ото всех и от революции тоже. Хватит! Не поздно честную жизнь начать и в тридцать пять лет, когда-то ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. (Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими шелкоперами.) Так он жил, совсем отдельно, не касался ни большевиков, ни анархистов, пошли они все дальше. Теперь он не собирался бежать, он собирался честно отбывать ссылку до конца. Да и война началась, и только здесь, в ссылке, он мог сохранить жизнь. Он сидел со своей челдонкой, затаясь; родился у них сын. А война никак не кончалась. Хоть ногтями, хоть зубами натягивай себе лишний годик ссылки – даже сроков настоящих не умел давать этот немощный царь!

Нет, не кончалась война! И из полицейского ведомства, с которым он так сжился, карточку его и душу его передали воинскому начальнику, а тот, ничего не смысля ни в социал-демократах, ни в членах ЦК, призвал Иосифа Джугашвили, 1879 года рождения, ранее воинской повинности не отбывавшего, – в русскую императорскую армию рядовым. Так будущий великий маршал начал свою военную карьеру. Три службы он уже перепробовал, должна была начаться четвертая.

Санным сонным полозом его повезли по Енисею до Красноярска, оттуда в казармы в Ачинск. Ему шел тридцать восьмой год, а был он – ничто, солдат-грузин, съезженный в шинельке от сибирских морозов и везомый пушечным мясом на фронт. И вся великая жизнь его должна была оборваться под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским местечком.

Но еще он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: «Христос воскрес!» Царь – отрекся! Империи – больше не было!

Как? Откуда? И надеяться забыли, и рассчитывать забросили. Верно учили Иосифа в детстве: «неисповедимы пути Твои, Господи!»

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была еще одна телеграмма, без нее призрак Азефа, как повешенный, все раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что надо было сжигать побыстрей. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, немало таких, как он...

(Охранка сгорела, но еще целую жизнь Сталин косился и оглядывался.

Своими руками перелистал он десятки тысяч архивных листов и бросал в огонь целые папки, не просматривая. И все-таки пропустил, едва не открылось в тридцать седьмом. И каждого однопартийца, отдаваемого потом под суд, непременно обвинял Сталин в осведомительстве: он узнал, как легко пасть, и трудно было вообразить ему, чтобы другие не страховались тоже.) Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и несся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захолустное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

В Петроград он приехал и сразу согласился с Каменевым: вот это оно и есть, о чем мы мечтали в подполье. Революция совершилась, теперь укреплять достигнутое. Пришло время положительных людей (особенно, если ты уже член ЦК). Все силы на поддержку временного правительства!

Так все ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, не знающий России, лишенный всякого положительного равномерного опыта, и, захлебываясь, дергаясь и картавя, не полез со своими апрельскими тезисами, запутал все окончательно! И таки заговорил партию, потащил ее на июльский переворот!

Авантюра эта провалилась, как верно предсказывал Сталин, едва не погибла и вся партия. И куда же делась теперь петушиная храбрость этого героя?

Убежал в Разлив, спасая шкуру, а большевиков тут марали последними ругательствами. Неужели его свобода была дороже авторитета партии? Сталин откровенно это высказал им на Шестом съезде, но большинства не собрал.

Вообще, семнадцатый год был неприятный год: слишком много митингов, кто красивей врет, того и на руках носят, Троцкий из цирка не вылезал. И откуда их налетело, краснобаев, как мухи на мед? В ссылках их не видели, на эсках не видели, по заграницам болтались, а тут приехали горло драть, на переднее место лезть. И обо всем они судят, как блохи быстрые. Еще вопрос и в жизни не возник, не поставлен – они уже знают, как ответить! Над Сталиным они обидно смеялись, даже не скрывались. Ладно, Сталин в их споры не лез, и на трибуны не лез, он пока помалкивал. Сталин это не любил, не умел – выбрасывать слова наперегонки, кто больше и громче. Не такой он себе представлял революцию. Революцию он представлял: занять руководящие посты и дело делать.

Над ним смеялись эти остробородки, но почему наладили все тяжелое, все неблагоприятное сваливать именно на Сталина? Над ним смеялись, но почему во дворце Кшесинской все животами переболели и в Петропавловку послали не кого другого, а именно Сталина, когда надо было убедить матросов отдать крепость Керенскому без боя, а самим уходить в Кронштадт опять? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом.

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удался.

Хорошо. За это можно Ленину пятерку поставить. Там что дальше будет – неизвестно, пока – хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию?

Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя – а удалась! Этот клоун, Троцкий, еще и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, ах, книжные фантазеры! Это ослом надо быть – верить в европейскую революцию, сколько там сами жили – ничего не поняли, Сталин один раз проехал – все понял. Тут перекреститься надо, что своя-то удалась. И сидеть тихо.

Соображать.

Сталин оглядывался трезвыми неподвзятыми глазами. И обдумывал. И ясно понял, что такую важную революцию эти фразеры загубят. И только он один, Сталин, может ее верно направить. По чести, по совести, только он один был тут настоящий руководитель. Он беспристрастно сравнивал себя с этими кривляками, попрыгунами, и ясно видел свое жизненное превосходство, их непрочность, свою устойчивость. Ото всех них он отличался

тем, что понимал людей. Он там их понимал, где они соединяются с землей, где базис, в том месте их понимал, без которого они не стоят, не устоят, а что выше, чем притворяются, чем красуются – это надстройка, ничего не решает.

Верно, у Ленина был орлиный полет, он мог просто удивить: за одну ночь повернул – «земля – крестьянам!» (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). Уж о НЭПе совсем не говори, это хитрей всего, таким маневрам и поучиться не стыдно.

Что в Ленине было выше всего, сверхзамечательно: он крепчайше держал реальную власть только в собственных руках. Менялись лозунги, менялись темы дискуссий, менялись союзники и противники, а полная власть оставалась только в собственных руках!

Но не было в этом человеке – настоящей надежности, предстояло ему много горя со своим хозяйством, запутаться в нем. Сталин верно чувствовал в Ленине хлипкость, перебросчивость, наконец плохое понимание людей, никакое не понимание. (Он по самому себе это проверил: каким хотел боком – поворачивался, и с этого только боку Ленин его видел.) Для темной рукопашной, какая есть истинная политика, этот человек не был годен. Себя ощущал Сталин устойчивей и тверже Ленина настолько, насколько шестьдесят шесть градусов туруханской широты крепче пятидесяти четырех градусов шушенской. И что испытал в жизни этот книжный теоретик? Он не прошел низкого звания, унижений, нищеты, прямого голода: хоть плохенький был, да помещик.

Он из ссылки ни разу не уходил, такой примерный! Он тюрем настоящих не видел, он и России самой не видел, он четырнадцать лет проболтался по эмиграциям. Что тот писал – Сталин больше половины не читал, не предполагал набраться умного. (Ну, бывали у него и замечательные формулировки. Например:

«Что такое диктатура? Неограниченное правительство, не сдерживаемое законами.» Написал Сталин на полях: «Хорошо!») Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: «Помоги! Я политику понимаю, классы понимаю – живых людей не понимаю!» А он не придумал лучше, как заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. Самый нужный был ему в Москве человек – Сталин, а он его в Царицын послал...

И на всю Гражданскую Ленин устроился сидеть в Кремле, он себя берег. А Сталину досталось три года кочевать, по всей стране гонять, когда трястись верхом, когда в тачанке, и мерзнуть, и у костра греться. Ну, правда, Сталин любил себя в эти годы: как бы молодой генерал без звания, весь подтянутый, стройный; фуражка кожаная со звездочкой; шинель офицерская двубортная, мягкая, с кавалерийским разрезом – и не застегнута; сапожки хромовые, сшитые по ноге; лицо умное, молодое, чисто-побритое, и только усы литые, ни одна женщина не устоит (да и своя жена третья – красавица).

Конечно, сабли он в руки не брал и под пули не лез, он дороже был для Революции, он не мужик Буденный. А приедешь в новое место – в Царицын, в Пермь, в Петроград, – помолчишь, вопросы задашь, усы поправишь. На одном списке напишешь «расстрелять», на другом списке напишешь «расстрелять» – очень тогда люди тебя уважать начинают.

Да и правду говоря, показал он себя как великий военный, как создатель победы.

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что еще одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был – Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него «да» – так «да», «нет» – так «нет», обязательно: и так – и так, ни так – ни так! Мира не заключать, войны не вести – какой разумный человек может это понять? А заносчивость? Как сам царь, в салон-вагоне мотался. Да куда же ты в главковерхи лезешь, если у тебя нет стратегической жилки?

До того жег и пек этот Троцкий, что в борьбе с ним на первых порах Сталин сорвался,

изменил главному правилу всякой политики: вообще не показывать, что ты ему враг, вообще не обнаруживать раздражения. Сталин же открыто ему не подчинялся, и в письмах ругал, и устно, и жаловался Ленину, не пропускал случая. И как только он узнавал мнение, решение Троцкого по любому вопросу – сейчас же выдвигал, почему должно быть совсем наоборот. Но так нельзя победить. И Троцкий вышибал его как городошной палкой под ноги: выгнал его из Царицына, выгнал с Украины. А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приемы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько чистых бланков, по низам расписался «одобряю и впредь!» – и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! На что жаловался?! Нельзя даже в самой напряженной борьбе апеллировать к благодущию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать – вообще ничего невозможно сделать в истории.

Все мы – люди, и чувства толкают нас впереди разума. От каждого человека запах идет, и по запаху ты еще раньше головы действуешь. Конечно, ошибся Сталин, что открылся против Троцкого раньше времени (больше никогда так не ошибался). Но те же чувства повели его самым правильным способом на Ленина. Если головой рассуждать – надо было угождать Ленину, говорить «ах, как правильно! я тоже – за!» Однако, безошибочным сердцем Сталин нашел совсем другой путь: грубить ему как можно резче, упираться ишаком – мол, необразованный, неотесанный, диковатый чело-век, хотите принимайте, хотите нет. Он не то, что грубил – он хамил ему («еще могу быть на фронте две недели, потом давайте отдых» – кому это Ленин мог простить?), но именно такой – неломаемый, неуступчивый, завоевал уважение Ленина. Ленин почувствовал, что этот чудесный грузин – сильная фигура, такие люди очень нужны, а дальше – больше будут нужны. Ленин шибко слушал Троцкого, но и к Сталину прислушивался. Потеснит Сталина – потеснит и Троцкого. Тот за Царицын виноват, а тот – за Астрахань. «Вы научитесь сотрудничать» – уговаривал их, но принимал и так, что они не ладят. Прибежал Троцкий жаловаться, что по всей республике сухой закон, а Сталин распивает царский погреб в Кремле, что если на фронте узнают... – отшутился Сталин, рассмеялся Ленин, отвернул бороденку Троцкий, ушел ни с чем. Сняли Сталина с Украины – так дали второй наркомат, РКИ.

Это был март 1919 года. Сталину шел сороковой год. У кого другого была б РКИ задрипанная инспекция, но у Сталина она поднялась в главнейший наркомат! (Ленин так и хотел. Он знал сталинскую твердость, неуклонность, неподкупность.) Именно Сталину поручил Ленин следить за справедливостью в Республике, за чистотой партийных работников, до самых крупных. По роду работы, если ее правильно понять, если отдать ей душу и не шадить своего здоровья, должен был теперь Сталин тайно (но вполне законно) собирать уличающие материалы на всех ответственных работников, посылать контролеров и собирать донесения, а потом руководить чистками. А для этого надо было создать аппарат, подобрать по всей стране таких же самоотверженных, таких же неуклонных, подобных себе, готовых скрытно трудиться, без явной награды.

Кропотливая работа, терпеливая работа, долгая работа, но Сталин готов был на нее.

Правильно говорят, что сорок лет – наша зрелость. Только тут понимаешь окончательно, как надо жить, как себя вести. Только тут Сталин ощутил свою главную силу: силу невысказанного решения. Внутри ты уже решение принял, но чьей головы оно касается – тому прежде времени знать его не надо. (Когда голова его покатится – тогда пусть узнает.) Вторая сила: чужим словам никог-да не верить, своим – значенья не придавать. Говорить надо не то, что будешь делать (ты еще и сам, может, не знаешь, там видно будет, что), а то, что твоего собеседника сейчас успокаивает. Третья сила: если тебе кто изменил – тому не прощать, если кого зубами схватил – того не выпускать, уж этого ни за что не выпускать, хотя бы солнце пошло назад и небесные явления разные. И четвертая сила: не на теории голову направлять, это еще никому не помогало (теорию потом какую-нибудь скажешь), а постоянно соображать: с кем тебе сейчас по пути и до какого столба.

Так постепенно выправилось и положение с Троцким – сперва поддержкой Зиновьева, потом и Каменева. (Душевные создались отношения с ними обоими.) Уяснил себе Сталин, что с Троцким он зря волновался: такого человека, как Троцкий, никогда не надо в яму толкать, он сам попрыгает и свалится. Сталин знал свое, он тихо работал: медленно подбирал кадры, проверял людей, запоминал каждого, кто будет надежный, ждал случая их поднять, передвинуть.

Подошло время – и, точно! свалился Троцкий сам на профсоюзной дискуссии – набелибердил, наегозил, Ленина разозлил – партию не уважает! – а у Сталина как раз готово, кем людей Троцкого заменять: Крестинского – Зиновьевым, Преображенского – Молотовым, Серебрякова – Ярославским. Подтянулись в ЦК и Ворошилов, и Орджоникидзе, все свои. И знаменитый главнокомандующий зашатался на журавлиных своих ножках. И понял Ленин, что только Сталин один за единство партии как скала, а для себя ничего не хочет, не просит.

Простодушный симпатичный грузин, этим и трогал он всех ведущих, что не лез на трибуну, не рвался к популярности, к публичности, как они все, не хвастался знанием Маркса, не цитировал звонко, а скромно работал, аппарат подбирал – уединенный товарищ, очень твердый, очень честный, самоотверженный, старательный, немножко правда невоспитанный, грубоватый, немножко недалекий. И когда стал Ильич болеть – избрали Сталина генеральным секретарем, как когда-то Мишу Романова на царство, потому что никто его не боялся.

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы – радовался. Но только не Сталин. Дру-гой бы «Капитал» читал, выписки делал. А Сталин только ноздрями потянул и понял: время – крайнее, завоевания революции в опасности, ни минуты терять нельзя: Ленин власти не удержит и сам ее в надежные руки не передаст. Здоровье Ленина пошатнулось, и может быть это к лучшему. Если он задержится у руководства – ни за что ручаться нельзя, ничего нет надежного: раздерганный, вспльчивый, а теперь еще больной, он все больше нервировал, просто мешал работать. Всем мешал работать! Он мог ни за что человека обругать, осадить, снять с выборного поста.

Первая идея была – отослать Ленина например на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем – проверенного товарища, экспроприатора бывшего, налетчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксгах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая – она отравляет организм, надо еще одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился – но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

«По отношению к Ленину нужна твердость!» – написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались.

Твердость в лечении, твердость в режиме, твердость в отстранении от дел – в интересах его же драгоценной жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. «Ответственным за здоровье товарища Ленина» назначился Сталин и не считал это для себя черной работой: заняться непосредственно лечащими врачами и даже медсестрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего – запрещать и запрещать, даже если поволнуется. То же и в политических вопросах. Не нравится ему законопроект насчет Красной армии – провести, не нравится насчет ВЦИКа – провести, и не уступать ни за что, ведь он больной, он не может знать, как лучше. Если что настаивает проводить скорей – наоборот медленней проводить, отложить. И может быть даже грубо, очень грубо ему ответить – так это у генсека от прямоты, свой характер не переломашь.

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут еще спор обострился насчет ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел

дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким – против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь еще строже врачебный догляд, не читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завещание – опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-тук-тук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось еще Крупскую одернуть, как она заслужила, – закипятился дорогой Ильич – и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

Он в удачное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин туда не правильный день похорон сообщил, потому что незачем тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее, очень важно, произнести генеральному секретарю.

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда еще тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчет от ЦК, как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста – «вождь партии»), а за тот доклад уговорил ЦК – завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

Все они в Политбюро были тогда очень дружны, и все против Троцкого. И хорошо опровергали его предположения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый неусыпный Сталин знал, что далеко еще до покоя.

Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина предсовнаркома? (Еще когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в «Правде», что он ходил без Каменева, один. На всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен.) Не лучше ли – Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже, вот так дружно жили!

Но скоро большой удар пришелся по их дружбе: обнаружилось, что Зиновьев-Каменев – лицемеры, двурушники, что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджечь. Они стали «новая оппозиция» (и болтушка Крупская полезла туда же), а Троцкий битый-битый пока присмирел. Это очень удобное создалось положение. Тут кстати большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу подводил и обоснования (те дают – «наступление на кулака!», а мы с Бухариным даем – «смычка города с деревней!»). Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство, он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали.

Сняли Зиновьева с Коминтерна, отобрали у них Ленинград.

И кажется бы им смириться, так нет: они теперь с Троцким объединились, спохватился и тот кривляка в последний раз, дал лозунг: «индустриализация».

А мы с Бухарчиком даем – единство партии! Во имя единства все должны подчиниться! Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым.

Тут еще очень помог ленинский набор: теперь большинство партии составляли люди, не зараженные интеллигентщиной, не зараженные прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значила прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты.

Сталин никогда не сомневался, что он таких найдет, и так они спасут завоевания революции.

Но какая роковая неожиданность: Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они не были за единство партии! И Бухарин оказался – первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг «смычка города с деревней» скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации!.. Так вот они где нашлись, наконец,

правильные лозунги, только Сталин сумел их сформулировать: наступление на кулака и форсированная индустриализация! И – единство партии, конечно! И эту гнусную компанию «правых» тоже отменили от руководства.

Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел: «низшие умы более способны в управлении». Дал ты маху, Николай Иванович, вместе со своим мудрецом: не низшие – здоровые. Здоровые умы.

А какие вы были умы – это вы на процессах показали. Сталин сидел на галлерее в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался: что за краснобаи были когда-то! что за сила когда-то казалась! и до чего дошли? размокли как.

Именно знание человеческой природы, именно трезвость всегда помогали Сталину. Понимал он тех людей, которых видел глазами. Но и тех понимал, которых не видел глазами. Когда трудности были в 31-м-32-м, нечего было в стране ни надеть, ни поесть – казалось, только придите и толкните снаружи, упадем. И партия дала команду – бить набат, опасность интервенции! Но никогда Сталин сам ни на мизинец не верил: потому что тех, западных, болтунов он тоже заранее представлял.

Не посчитать, сколько сил, сколько здоровья, сколько выдержки пошло, чтоб очистить от врагов партию, страну и очистить ленинизм – это безошибочное учение, которому Сталин никогда не изменял: он точно делал, что Ленин наметил, только мягче немножко и без суеты.

Столько усилий! – а все равно никогда не было покойно, никогда не было так, чтоб никто не мешал. То наскакивал этот кривогубый сосунок Тухачевский, что будто из-за Сталина он Варшаву не взял. То с Фрунзе не очень чисто получилось, проморгал цензор, то в дрянной повестушке представили Сталина на горе стоячим мертвецом, и тоже прохлопали, идиоты. То Украина хлеб гноила, Кубань стреляла из обрезов, даже Иванове бастовало.

Но ни разу Сталин не вышел из себя, после ошибки с Троцким – никогда больше ни разу. Он знал, что медленно мельют жернова истории, но – крутятся.

И без всякой парадной шумихи все недоброжелатели, все завистники уйдут, умрут, будут растерты в навоз. (Как ни обидели Сталина те писатели – он им не мстил, за это не мстил, это было бы не поучительно. Он другого случая дожидался, случай всегда придет.) И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал, хоть ротой в частях, не верных Сталину, – все куда-то уходили, исчезали. И делегаты Двенадцатого, и Тринадцатого, и Четырнадцатого, и Пятнадцатого, и Шестнадцатого, и Семнадцатого съездов как просто бы по спискам – уходили туда, откуда не проголосуешь, не выступишь. И дважды чистили смутьянский Ленинград, опасное место. И даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать. И даже старательных помощников, как Ягода, как Ежов, приходилось потом убирать. Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп.

Не стало главного врага на земле и, кажется, заслужена была передышка?

Но отравила ее Финляндия. За это срамное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером – тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько еще осталось.

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались «братья и сестры», теперь из истории не вытравить. А эти братья и сестры бежали как бараны, и никто не хотел постоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж – не стояли? почему – не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике – и зря. Хо-дил по комнатам – неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? – нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что остановят – остановили!

Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа – если пронесется слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось

седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.) А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького – городи выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбиля, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши – даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обереженные от мобилизаций – и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжелые годы...

Но, слава Богу, миновали и эти несчастья. Многие Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу. От самых 20-х годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте в комнату к себе уходил – просто смеялся над ними.

Государственные люди, какими же умными они себя считают, а – глупее младенцев. Все спрашивают: а как будем после войны, а как? Да вы самолеты шлите, консервы шлите, а там посмотрим – как. Им слово бросишь, ну первое проходное, они уже радуются, уже на бумажку записывают. Сделаешь вид – от любви размягчился, они уже – вдвое мягкие. Получил от них ни за так, ни за понюшку: Польшу, Саксонию, Тюрингию, власовцев, краснощев, Курильские острова, Сахалин, Порт-Артур, пол-Кореи, и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры «сельских хозяев» побеждали на выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрекся от вздорной Балканской Федерации.

И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И – туда же на вторые десять лет все отсидевшие только по разу.

Ну, кажется все начинало окончательно налаживаться!

И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма – выполз черный дракон Тито и загородил все перспективы.

Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекал все новые и новые вырастающие головы гидры!..

\*\*\*

Да как же можно было ошибиться в этой скорпионовой душе?! – ему! знатоку человеческих душ! Ведь в 36-м году уже за глотку держали – и отпустили!.. Ай-я-я-я-яй!

Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки и взялся за голову, уже с плешинной. Ничем не поправимая досада саднила его. Горы валял – а на вонючем бугорке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе...

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак – против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм! Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Социализм без Сталина – это же готовый фашизм!

Не в том, что у Тито что-нибудь получится – выйти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекавший несчетно этих конечностей в курных избах, при дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку, – так смотрел Сталин на Тито.

Но Тито всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков: «рабочий контроль», «земля – крестьянам», все эти мыльные пузыри первых лет революции.

Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды – Основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях, – все, кто думал

иначе строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы построен, если б не зазнавшиеся вельможи; не лживые рапорта; не бездушные бюрократы; не равнодушные к общественному делу; не слабость организационно-разъяснительной работы в массах; не самотек в партийном просвещении; не замедленные темпы строительства; нэ простои, нэ прогулы на производстве, нэ выпуск нэдоброкачественной продукции, нэ плохое планирование, нэ безразличие к внедрению новой техники, нэ бездеятельность научно-исследовательских институтов, нэ плохая подготовка молодых специалистов, нэ уклонение молодежи от посылки в глушь, нэ саботаж заключенных, нэ потери зерна на поле, нэ растраты бухгалтеров, нэ хищения на базах, нэ жульничество завхозов и завмагов, нэ рвачество шоферов, нэ самоуспокоенность местных властей! нэ либерализм и взятки в милиции! нэ злоупотребление жилищным фондом! нэ нахальные спекулянты! нэ жадные домохозяйки! нэ испорченные дети! нэ трамвайные болтуны! нэ критиканство в литературе! нэ вывихи в кинематографии! – когда всем уже ясно, что камунизм на-вернойдороге и-нэдалек ат-завершения, – высовывается этот кретин Тито са-своим талмудистом Карделем и заявляет, што-камунизм надо строить нэ так!!!

Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточенно бьется, застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подергиваться.

Он перевел дух. Разгладил рукой лицо, усы. Еще перевел. Нельзя же поддаваться.

Да, Абакумова надо принять.

И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке черно-красную книжечку дешевого массового издания. И с удовольствием потянулся за ней, подмостил подушек, на несколько минут полуприлегал опять.

Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания «Тито – главарь предателей» Рено де-Жувенеля (удачно, что автор – как бы посторонний в споре, объективный француз, да еще с дворянской частицей). Сталин уже прочел эту книгу подробно несколько дней назад (да и при написании ее давал советы), но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана! гнусного предателя! безнадежного тупицу! Ведь даже коммунисты на Западе растерялись, тычутся в два угла, не знают, кому верить. Старого дурака Андре Марти – и того за защиту Тито придется выгнать из компартии.

Он перелистал книжку. Вот! Пусть не венчают Тито героем: дважды по трусости он хотел сдать немцам, но начальник штаба Арсо Иованович заставил его остаться главнокомандующим! Благородный Арсо! Убит. А Петричевич? «Убит только за то, что любил Сталина.» Благородный Петричевич! Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достается приканчивать Сталину.

Все здесь есть, все – и как Тито, наверно, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в бриллиантовых перстнях, увешан орденами и медалями (что за жалкое чванство в человеке, не одаренном полководческим гением!).

Объективная, принципиальная книга. Нет ли еще у Тито половой неполноценности? Об этом тоже надо бы написать.

«Югославская компартия во власти убийц и шпионов.» «Тито потому только мог заняться руководством, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов.»

Костов!! – укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом – в морду Трайчо, в окровавленную морду! – и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворенного чувства справедливости.

Проклятый Костов! Грязный мерзавец!

У-у-удивительно, как задним числом становятся понятны козни этих негодяев! Они все были троцкисты – но как маскировались! Куна хоть расшлепали в тридцать седьмом, а Костов еще десять дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов

Сталин провел, каких врагов заставил топтать самих себя – и та-кой срыв в процессе Костова!

Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах – а на публичном заседании ото всего отказаться! При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? где же партийная совесть? где же пролетарская солидарность? – жаловаться империалистам? Ну хорошо, ты не виноват, – но умри так, чтобы была польза коммунизму!

Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать! Звала борьба.

Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался Поскребышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошел низким узким кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приемную. Посмотрел.

Абакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряженно, ждал, когда позовут.

Все более твердо, не шаркая, Сталин прошел в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень.

Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер.

Подошел к зеркалу. Ясно, неподкупно-строго смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский.

Он позвонил ординарцу-грузину – одевать себя.

Даже к приближенному он выходил как перед историей.

Его железная воля... Его непреклонная воля...

Быть постоянно, быть постоянно – горным орлом.

## 21

Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а только Александром Николаевичем. «Звонил Поскребышев» значило: звонил Сам. «Распорядился Поскребышев» значило: распорядился Сам.

Поскребышев держался начальником личного секретариата Сталина уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и кто не знал его ближе, мог удивляться, как еще цела его голова. А секрет был прост: он был по душе денщик, и именно тем укреплялся в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке за членами ЦК, – он перед Хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. Тщеславно хихикая, он чокался с ним в тосте за свою родную деревню Сопляки. Никогда не обманывающими ноздрями Сталин не ощущал в Поскребышеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера.

Но оборачиваясь к младшим, этот плешивый царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нижестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону – надо было в трубку головой влезть, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда может быть и можно было, но спросить его, как там сегодня – не пошевеливался язык.

Сегодня Поскребышев сказал Абакумову:

– Иосиф Виссарионович работает. Может быть и не примет. Велел ждать.

Отобрал портфель (идя к Самому, его полагалось сдавать), ввел в приемную и ушел.

Так Абакумов и не решился спросить, о чем больше всего хотел: о сегодняшнем

настроении Хозяина. С тяжело колотящимся сердцем он остался в приемной один.

Этот рослый мощный решительный человек, идя сюда, всякий раз замирал от страха ничуть не меньше, чем в разгар арестов граждан по ночам, слушая шаги на лестнице. От страха уши его сперва леденели, а потом отпускали, наливались огнем – и всякий раз Абакумов еще того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нем лазили во внутренние карманы.

Поэтому Абакумов переключал обе авторучки, приготовленные для записи, из внутреннего кармана в наружный грудной.

Все руководство Госбезопасностью изо дня в день шло через Берию, отсюда Абакумов получал большую часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел как живую личность ощутить того, кому доверял охрану передового в мире порядка.

Эти приемы, по часу, были тяжелой расплатой за всю власть, за все могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приема до приема.

Наступал срок – все замирало в нем, уши леденели, он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнет ли шею через час.

Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял – только вздрагивал кончик одного уса, и там, внутри, выносился приговор, а осужденный его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру.

Хуже всего, когда Сталин молчал и оставалось мучиться в догадках. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжелое или острое, наступал сапогом на ногу, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо – этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил! Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался: это значило, что Хозяин еще надеется исправить своего министра и работать с ним дальше.

Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своем заскочил слишком высоко: пониже было бы безопаснее, с дальними Сталин разговаривал добродушно, приятно. Но вырваться из ближних назад – пути не было.

Оставалось – ждать смерти. Своей. Или... непроизносимой.

И так неизменно складывались дела, что, представляя перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь.

Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии.

... В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины – это хорошо, за Сталина – еще лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время – в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно – право послать домой: солдату – пять килограммов трофеев в месяц, офицеру – десять, а генералу – пуд? (Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль.) Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До нее не долетали снаряды врага. Ее не бомбили самолеты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушел, но куда не пришли еще ревизоры казны. Ее офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что они опечатали в вагоне, что они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолеты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники – на сотни тысяч, Абакумов греб миллионы.

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим – а золото спасло бы его, даже если бы находилось в швейцарском банке. Казалось бы ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако, это было свыше его сил – смотреть, как обогащаются подчиненные, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого челове-ка! И он рассыла и рассыла все новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.

Но этот клад Нибелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на всесильного министра, зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесплезно было взято – однако и не объявляться же теперь министерству финансов!..

... Он приехал в половине третьего ночи, но еще и в десять минут четвертого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приемной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем предательски разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б Сталин заработался и вообще не принял его сегодня: Абакумов опасался расправы за секретную телефонию. Он не знал, что теперь врать.

Но тяжелая дверь приоткрылась – наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, Поскребышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошел, стараясь не становиться всей грубой широкой ступней. В следующую дверь, тоже полуоткрытую, он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире, придерживая ее за начищенную бронзовую ручку, чтоб не отошла. И на пороге сказал:

– Добрый вечер, товарищ Сталин! Разрешите?

Он сплосал, не прокашлялся вовремя, и оттого голос вышел хриплый, недостаточно верноподданный.

Сталин в кителе с золочеными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погон, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, свино-зловеще посмотрел на вошедшего.

И ничего не сказал.

Очень плохой признак! – он ни слова не сказал...

И писал опять.

Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бедер, немного наклонясь вперед, с почтительно-приветственной улыбкой мясистых губ – а уши его пылали.

Министр госбезопасности еще бы не знал, еще бы сам не употреблял этот простейший следовательский прием: встречать вошедшего недоброжелательным молчанием. Но сколько б он ни знал, а когда Сталин встречал его так – Абакумов испытывал внутренний обрыв страха.

В этом малом ночном кабинете, прижатом к земле, не было ни картин, ни украшений, оконца малы. Невысокие стены были обложены резной дубовой панелью, по одной стене проходили небольшие книжные полки. Не впридвиг к стене стоял письменный стол. Еще – радиола в одном углу, а около нее – этажерка с пластинками: Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать.

Абакумов просительно перегнулся и ждал.

Да, он весь был в руках Вождя, но отчасти – и Вождь в его руках. Как на фронте от слишком сильного продвижения одной стороны возникает переслойка и взаимный обхват, не всегда поймешь, кто кого окружает, так и здесь: Сталин сам себя (и все ЦК) включил в систему МГБ – все, что он надевал, ел, пил, на чем сидел, лежал – все доставлялось людьми МГБ, а уж охраняло только МГБ. Так что в каком-то искаженно-ироническом смысле Сталин сам был подчиненным Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый.

Перегнувшись, стоял и ждал дюжий министр. А Сталин писал. Он всегда так сидел и писал, сколько ни входил Абакумов. Можно было подумать – он никогда не спал и не уходил

с этого места, а постоянно писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет на бумаги, верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не все время писал, он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.

Из чего рождается эта манера повелевать, эта значительность каждого мелкого движения? Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба? Но тогда это никого не пугало, никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по счету продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях Вождя – намек, предупреждение, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл – и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они еще лучше стали получаться и еще вернее действовать на окружающих.

Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть.

Абакумов радостно встрепенулся, легко прошел и сел – но не на все сиденье, а на переднюю только часть его. Так было ему совсем не удобно, зато легче привставать, когда понадобится.

– Ну? – буркнул Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент! Теперь надо было не терять инициативы!

Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания, – но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его Хозяин, тем несдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания.) Постоянным украшением ночных докладов Абакумова, тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда – раскрытие какой-то очень важной, очень разветвленной враждебной группы. Без такой обезвреженной (каждой раз новой) группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую группку по академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями.

Но сперва принялся рассказывать об успехах (он сам не знал – подлинных или мнимых) подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением ее на остров Бриони.

Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в рот и два раза просопел ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного все-таки проникая в шефа, почувствовал, что по-пал в точку.

– А – Ранкович? – спросил Сталин.

Да, да! Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде – вся эта клика взлетела бы на воздух вместе! По расчетам, не позже этой весны так и должно получиться! (Еще при взрыве должна была погибнуть команда яхты, однако министр такой мелочи не касался, и собеседник его не допытывался.) Но о чем он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа?

Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он всю жизнь только и ехал на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощекого упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чем всегда думал при виде этих ретивых, на все готовых, заискивающих подчиненных. Даже это не мысль была, а движение чувства: насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение: не наступил ли уже момент, когда этим человеком надо пожертвовать?

Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пятом году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов – такой. Такими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался так называемых «идейных», вроде Бухарина. Это – самые ловкие притворщики, их трудно раскусить.

Но даже и понятному Абакумову нельзя было доверять, как никому вообще на земле.

Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам (что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять). И рабочим (что будут работать, если им не установить норм). И тем более не доверял инженерам. Не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближенным. Не доверял женам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!

И доверился он одному только человеку – единственному за всю свою безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был – Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чехвостила Польшу, Францию, Бельгию, как самолеты его застилали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границ, боялся обидеть коллегу.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову.

Тем более теперь он окончательно не верил никому!

На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо было играть в деревянные лошадки – призывать этого олуха Попивода и обсуждать с ним фельетоны против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов намечал послать колоть медведя, знавших язык, обычаи, даже Тито в лицо, – не надо было отвергать по анкетам (раз жил за границей – не наш человек), а поручить им, поверить. Теперь-то, конечно, черт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость.

Но он знал своего Хозяина! Надо было служить ему на какую-то долю сил – больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения. Однако, чересчур удачное выполнение он ненавидел: он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно!

И Абакумов, – как и все сорок пять министров! – по виду натужась в министерской упряжке, тянул вполплеча.

Как царь Мидас своим прикосновением обращал все в золото, так Сталин своим прикосновением обращал все в посредственность.

Но сегодня-таки лицо Сталина по мере абакумовского доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр далее докладывал об арестах в Духовной Академии, потом особенно подробно – об Академии Фрунзе, потом о разведке в портах Южной Кореи, потом...

По прямому долгу и по здравому смыслу он должен был сейчас доложить о сегодняшнем телефонном звонке в американское посольство. Но мог и не говорить: он мог бы думать, что об этом уже доложил Берия или Вышинский, а еще верней – ему самому могли в эту ночь не доложить. Именно из-за того, что, никому не доверяя, Сталин развел параллелизм, каждый запряженный мог тянуть вполплеча. Выгодней было пока не высказывать с обещанием найти преступника посредством спецтехники. Всякого же упоминания о телефоне он вдвойне сегодня боялся, чтобы Хозяин не вспомнил секретную телефонию. И Абакумов старался даже не смотреть на настольный телефон, чтобы глазами не навести на него Вождя.

А Сталин вспоминал! Он как раз что-то вспоминал!

– и как бы не секретную телефонию! Он собрал в тяжелые складки лоб, и напряглись

хрящи его большого носа, упорный взгляд уставил он на Абакумова (министр придал лицу как можно больше открытой честной прямоты) – но не вспоминалось! Едва державшаяся мысль сорвалась в провал памяти. Беспомощно распустились складки серого лба.

Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.

– Да! – вспомнил он в первом дымке, но мимоходом, не то главное, что вспоминал. – Гомулка – арестован?

Гомулка в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.

– Арестован! – подтвердил облегченный Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и докладывали об этом.) Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой – несколько ламп на стенах. Поднялся и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку, приготовился писать. (Хозяин любил, чтобы слова его тут же записывали.) Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымя трубкой и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова. Серое рябоватое лицо его насунилось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи, сутулится спина Вождя, отчего он кажется еще меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб как-нибудь их не учуял Верховный) – загадал, что не проживет Батяка еще десяти лет, помрет. Может не рассудительно, а хотелось, чтоб это случилось побыстрее: казалось, что всем им, приближенным, откроется тогда легкая вольная жизнь.

А Сталин был подавлен новым провалом в памяти – голова отказывалась ему служить! Идя сюда из спальни, он специально думал, о чем надо спросить Абакумова – и вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, чтобы вспомнить.

И вдруг запрокинул голову, посмотрел на верх противоположной стены и вспомнил!! – но не то, что надо было, – а то, чего две ночи назад не мог вспомнить в музее революции, что ему так показалось там неприятно.

... Это было в тридцать седьмом году. К двадцатилетию революции, когда так много изменилось в трактовке, он решил сам посмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале – в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор, он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на верху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: «Убей тирана!»

Как двумя стрелами, пораженный в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показывая на портреты.

Их сняли тотчас.

И из музея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции – обломки кареты Александра Второго.

С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежища и квартиры, иногда целые горы прорывать ходами, как на Холодной речке. И, теряя вкус жить в окружении густого города, дошел до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны.

Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления и каждый наряд состоял из бойцов разных, удаленных друг от друга казарм: сойдясь в карауле, они встречались впервые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу себе построил мышеловкой-лабиринтом из трех заборов, где ворота не приходились друг против друга. И завел несколько спален, и где стелить сегодня, назначал перед самым тем, как ложиться.

И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь – благоразумием.

Потому что бесценна его личность для человеческой истории. Однако, другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем малым вождям в столице

и в областях предписал подобные меры: запретил ходить без охраны в уборную, распорядился ездить гуськом в трех неразличимых автомобилях.

... Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой:

– А што ты прид-принимайшь па линии безопасности пар-тийных кадров?

И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею набок.

С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность собеседников) – и с краткостью (длинные объяснения Хозяин считал неискренними), и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чем сейчас не собирался (эта постоянная готовность была здесь главным качеством, всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла).

– Товарищ Сталин! – дрогнул от обиды голос Абакумова. Он от души бы сердечно выговорил «Иосиф Виссарионович», но так не полагалось обращаться, это претендовало бы на приближение к Вождю, как бы почти один разряд с ним.

– Для чего и существуем мы, Органы, все наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!..

(Сталин говорил «безопасность партийных кадров», но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!) – Да дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела!..

Все так же в позе ворона со свернутой шеей Сталин смотрел внимательно.

– Слюшай, – спросил он в раздумьи, – а што? Дэла по террору – идут? Нэ прекращаются?

Абакумов горько вздохнул.

– Я бы рад был вам сказать, товарищ Сталин, что дел по террору нет. Но они есть. Мы обезвреживаем их даже... ну, в самых неожиданных местах.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.

– Это – хараше! – кивнул он. – Значит – работаете.

– Причем, товарищ Сталин! – Абакумову все-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождем, и он привстал, не распрямляя колен полностью (а уж на высоких каблуках он никогда сюда не являлся). – Всем этим делам мы не даем созреть до прямой подготовки. Мы их прихватываем на замысле! на намерении! через девятнадцатый пункт!

– Хараше, хараше, – Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова (еще б такая туша возвышалась над ним). – Значит, ты считаешь – нэ-довольные еще есть в народе?

Абакумов опять вздохнул.

– Да, товарищ Сталин. Еще некоторый процент... (Хорош бы он был, сказав, что – нет! Зачем тогда его и фирма?..) – Верно ты говоришь, – задушевно сказал Сталин. В голосе его был перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками. – Значит, ты – можешь работать в госбезопасности. А вот мне говорят – нэт больше нэдовольных, все, кто голосуют на выборах за всэ довольны. А? – Сталин усмехнулся. – Политическая слепота! Враг притаился, голосует за, а он – нэ доволен!

Процентов пять, а? Или, может – восемь?..

(Вот эту проницательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою на фимиах Сталин особенно в себе ценил!) – Да, товарищ Сталин, – убежденно подтвердил Абакумов. – Именно так, процентов пять. Или семь.

Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошел вокруг письменного стола.

– Это уж мой недостаток, товарищ Сталин, – расхрабрился Абакумов, уши которого охладелись вполне.

– Не могу я самоуспокаиваться.

Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:

– А – настроение молодежи?

Вопрос за вопросом шли как ножи, и порезаться достаточно было на одном.

Скажи «хорошее» – политическая слепота. Скажи «плохое» – не веришь в наше будущее.

Абакумов развел пальцами, а от слов пока удержался.

Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:

– Нада больши заботиться а молодежи. К порокам среди молодежи надо быть а-собенно нетерпимым!

Абакумов спохватился и начал писать.

Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажег и снова зашагал по комнате бодрей гораздо:

– Нада усилить наблюдение за настроениями студентов! Нада выкорчевывать нэ по адиночке – а целыми группами! И надо переходить на полную меру, которую дает вам закон – двадцать пять лет, а не десять!

Десять – это шькола, а не тюрьма! Это шькольникам можне по десять. А у кого усы пробиваются – двадцать пять! Маладые! Даживут!

Абакумов строчил. Первые шестеренки долгой цепи завертелись.

– И надо прекратить санаторные условия в политических тюрьмах! Я слышал от Берии: в политических тюрьмах до-сих-пор-есть прадуктовые передачи?

– Уберем! Запретим! – с болью в голосе воскликнул Абакумов, продолжая писать. – Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!!

(Уж, действительно, это был промах! Это он мог догадаться и сам!) Сталин расставил ноги против Абакумова:

– Да сколько жи раз вам объяснять?! Нада жи вам понять наконец...

Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймет. Абакумов не помнил, когда еще Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного человека в обычных условиях. И служебное обстоятельство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов сказал:

– Мы понимаем, товарищ Сталин! мы (он говорил за все министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение – как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом – зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учет. Потом – и в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь!! – от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя.

И Сталин – чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жесткие усы дрогнули, но мягко.

– Знаю, – тихо, понимающе сказал он. – Думал. Удивительный! Он обо всем знал! Он обо всем думал! – еще прежде, чем его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли.

– На-днях верну вам смэртную казнь, – задумчиво говорил он, глядя глубоко вперед, как бы в годы и в го-ды. – Эт-та будыт харешая воспитательная мера.

Еще бы он не думал об этой мере! Он больше их всех третий год страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе – поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишенных, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчетом надежным, сполна.

Только смерть нарушителя подтверждает, что ты обладаешь реальной полной властью.

И если кончик уса его вздрагивал от негодования, то приговор всегда был один: смерть.

Меньшей кары просто не было в его шкале.

Из далекой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевел глаза на

Абакумова. С нижним прищуром век спросил:

– А ты – нэ боишься, что мы тебя жи первого и расстреляем?

Это «расстреляем» он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.

Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый Родной и Любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутым кулаком, и следил за каждой черточкой министра, как он поймет эту шутку.

Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть приподнялся на напряженных ногах, и от напряжения они задрожали в коленях:

– Товарищ Сталин!.. Так если я заслуживаю... Если нужно...

Сталин смотрел мудро, пронизательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближенном. Увы, он знал эту человеческую неизбежность: от самых усердных помощников со временем обязательно приходится отказаться, отчураться, они себя компрометируют.

– Правильно! – с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин. – Когда заслужишь – тогда расстреляем.

Он провел в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.

Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности еще не приходилось слышать:

– Скоро будыт много-вам-работы, Абакумов. Будым йище один раз такое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Весь мир – против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвертого года неизбежна. А перед баль-шой войной баль-шая нужна и чистка.

– Но товарищ Сталин! – осмелился возразить Абакумов. – Разве мы сейчас не сажаем?

– Эт-та разве сажаем!.. – отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой.

– Вот начнем сажать – увидишь!.. А во время войны пойдём вперед – там Йи-вропу начнем сажать! Крепи Органы. Крепи Органы! Шьтаты, зарплата – я тебе ныкогда нэ откажу.

И отпустил мирно:

– Ну, иды-пока.

\*\*\*

Абакумов не чувствовал – шел он или летел через приемную к Поскребышеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц – но не начиналась ли новая эпоха его отношений с Хозяином?

Еще, правда, было угрожено, что его же и расстреляют. Но ведь то была шутка.

## 22

А Властитель, возбужденный большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нем, какой-то огромный духовой оркестр давал ему музыку к маршу.

Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда были и будут.

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди все дурное простят, и даже забудут, и даже припомнят как хорошее. Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III», – их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба – и они всегда будут рады отдаться победителю.

Толпа – это как бы материя истории. (Записать!) Сколько ее в одном месте убудет, столько в другом прибудет. Так что беречь ее нечего.

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, неверное время – и некому его заменить.

Провести и выиграть последнюю мировую войну. Как сусликов выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всем мире. Потом, конечно, поднять производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одним словом, как говорится, построить коммунизм.

Тут, кстати, укрепились совершенно не правильные представления, Сталин последнее время обдумал и разобрался. Близорукие наивные люди представляют себе коммунизм как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное общество, все на голову сядут, такой коммунизм хуже буржуазной анархии! Первой и главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина, строгое подчинение руководителям и выполнение всех указаний. (И особенно строго должна быть подчинена интеллигенция.) Вторая черта: сытость должна быть очень умеренная, даже недостаточная, потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание., и все пойдет кувырком.

Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина уже построен.

Однако, объявлять об этом нельзя, ибо тогда: куда же идти? Время идет, и все идет, и надо куда-то же идти.

Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придется никогда, это было бы методически неверно.

Вот кто молодец был – Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором – и кончено дело.

В слове «император» ничего плохого нет, это значит – повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.

Как бы это звучало! – Император Планеты! Император Земли!

Он шагал и шагал, и оркестры играли.

А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?.. Нет, не успеют.

Как же бросить человечество? И – на кого? Напутают, ошибок наделают.

Ну, ладно. Понастроить себе памятников – еще побольше, еще повыше (техника разовьется). Поставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе памятник – и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть – Величайшим из всех Великих, нет ему равных, нет сравнимых в истории Земли.

\*\*\*

И вдруг он остановился.

Ну, а... – выше? Равных ему, конечно, нет, ну а если там, над облаками, выше глаза поднимешь – а там...?

Он опять пошел, но медленнее.

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину.

Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало – то опровергнуто.

А все равно как-то неясно.

Особенно если детство твое прошло в церкви. И ты вглядывался в глаза икон. И пел на клиросе. А «ныне отпускаеши» и сейчас споешь-не соврешь.

Эти воспоминания почему-то за последнее время оживились в Иосифе.

Мать, умирая, так и сказала: «Жалко, что ты не стал священником.» Вождь мирового пролетариата, Собиратель славянства, а матери казалось: неудачник...

На всякий случай Сталин против Бога никогда не высказывался, довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали – Сталин

помалкивал.

Того церковного инспектора, Абакадзе, который выгнал Джугашвили из семинарии, Сталин трогать не велел. Пусть доживает.

И когда третьего июля пересохло горло, а на глаза вышли слезы – не страха, а жалости, жалости к себе – не случайно с его губ сорвались «братья и сестры». Ни Ленин, ни кто другой и нарочно б так не придумал обмолвиться.

Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности.

Никто не видел, не знает, никому не говорил: в те дни он в своей комнате запирался и молился, по-настоящему молился, только в пустой угол, на коленях стоял, молился. Тяжелей тех месяцев во всей его жизни не было.

В те дни он дал Богу обет: что если опасность пройдет, и он сохранится на своем посту, он восстановит в России церковь, и служения, и гнать не даст, и сажать не даст. (Этого и раньше не следовало допускать, это при Ленине завели.) И когда точно опасность прошла, Сталинград прошел – Сталин все сделал по обету.

Если Бог есть – Он один знает.

Только вряд ли он все-таки есть. Потому что слишком уж тогда благодушный, ленивый какой-то. Таковую власть иметь – и все терпеть? и ни разу в земные дела не вмешаться – ну, как это возможно?.. Вот обойдя это спасение сорок первого года, никогда Сталин не замечал, чтоб кроме него кто-нибудь еще распоряжался. Ни разу локтем не толкнул, ни разу не прикоснулся.

Но если все-таки Бог есть, если распоряжается душами – нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту – тем более нуждался.

Потому что – пустота его окружала, ни рядом, ни близко никого, все человечество – внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был – Бог.

Тоже одинокий.

И последние годы Сталину просто приятно было, что церковь в своих молитвах провозглашает его Богоизбранным Вождем. За то ж и он держал Лавру на кремлевском снабжении. Никакого премьер-министра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха: он выходил его встречать к дальним дверям и вел к столу под локоток. И еще он подумывал, не подыскать ли где именице какое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили на помин души.

Об одном писателе Сталин узнал, что тот – сын священника, но скрывает.

«Ты – права-славный?» – спросил он его наедине. Тот побледнел и замер. «А ну, пэрэкрестысь! Умейшь?» Писатель перекрестился и думал – тут ему конец.

«Маладэц!» – сказал Сталин и похлопал по плечу.

Все-таки в долгой трудной борьбе были у Сталина кое-какие перегибы. И хорошо бы так, над гробом, хор светлый собрать и чтобы – «Ныне отпускаеши...»

Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию: раз, и другой, и третий потягивала его какая-то привязанность к старому миру – к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе уже сорок лет разрушал.

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и на слух почти позорное слово Родина. Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать «Россия», «родина». При этом его собственная власть приобретала как будто большую устойчивость. Как будто святость.

Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идет в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ – этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагерь, на любые трудности и не бунтовавший никогда. Преданный, простоватый. Вот такой, как Поскребышев. И после Победы Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа – ясный ум, стойкий характер и терпение.

И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже.

Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не «заведующие школами», а директора; не «комсостав», а – офицерство; не ВЦИК, а – Верховный Совет (верховный – очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили пелеринки, и платили за проучение; и чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни; и даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе – хоть самому ему круто пришлось от этого в свое время, и что б об этом ни думал Энгельс в морской пучине; и хотя советовали ему Булгакова расстрелять, а белогвардейские «Дни Турбиных» сжечь, какая-то сила подтолкнула его локоть написать: «допустить в одном московском театре».

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны – и ощутил в этом удовольствие.

В конце концов и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и лучшее из него – почему не заимствовать?

И хотя сдача Порт-Артура могла в свое время только радовать его, бежавшего из Иркутской губернии ссыльного революционера, – после разгрома Японии он, кажется, не солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала темным пятном на самолюбии его и других старых русских людей.

Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился, во главе этой страны и привлек сердца ее – именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты – без родства, без корней, без положительности.

Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплетов, в брошюрах двадцатых годов – захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожженные, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические – здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бороденками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!»

Чужих блох искать – ума не надо! Для того Сталин и собрал их здесь, чтобы злей быть по ночам, когда принимает решения. (Почему-то всегда оказывалось так, что уничтоженные противники в чем-то оказывались и правы.

Сталин настороженно прислушивался к их враждебным загробным голосам, и иногда кое-что перенимал.) Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низко-покатым назад лбом питекантропа, неуверенно брел мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов.

Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился и замолк в нем.

И заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжелыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась – и он совсем забыл, зачем подошел к этим полкам? о чем он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви.

Старость без веры. Старость без желаний.

Даже любимая дочь давно была ему не нужна, чужда.

Ощущение перешибленной памяти, меркнувшего разума, отъединения ото всех живых заполняло его беспомощным ужасом.

Мутным взглядом он обвел комнату, не различая, близко ее стены или далеко.

На тумбочке рядом стоял еще один графинчик под замком. Сталин нащупал ключ, длинно привязанный к поясу (в дурном состоянии он мог обронить его и искать долго), отпер графинчик, налил и выпил бодрящей настойки.

И еще сидел с закрытыми глазами. В теле стало лучше, лучше, хорошо.

Проясневший взгляд его упал на телефон – и что-то, ускользавшее весь вечер, опять

скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка?..

Да! Вот оно! Он поднялся и, мягко шаркая по ковру, добрался до письменного стола, взял ручку, написал на календаре: Секретная телефония.

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства – почему не кончают?!

Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый – ни слова не сказал!

Вот так и все они, во всех ведомствах – каждый старается обмануть своего Вождя! Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам?

Еще до завтрака больше десяти часов.

Он позвонил, чтоб его переодели в халат.

Беззаботная страна может спать, но Отец ее спать не может!

## 23

Уж, кажется, все было сделано для бессмертия.

Но Сталину казалось, что современники, хотя и называют его Мудрейшим из Мудрейших, – все-таки не по заслугам мало восхищаются им; все-таки в своих восторгах поверхностны и не оценили всей глубины его гениальности.

И последнее время язвила его мысль: не только выиграть третью мировую войну, но совершить еще один научный подвиг, внести свой блистающий вклад в какую-нибудь еще из наук, кроме философских и исторических.

Конечно, такой вклад он мог бы внести в биологию, но там он доверил работу Лысенко, этому честному энергичному человеку из народа. Да и больше была заманчива для Сталина математика или хотя бы физика. Все Основоположники бесстрашно пробовали свои силы в этих науках. Просто завидно читать бойкие рассуждения Энгельса о ноле или о минус единице, возведенной в квадрат. Восхищала Сталина и та решительность Ленина, с которой он, юрист, пошел в дебри физики, и там, на месте, распушил ученых, доказал, что материя не может превращаться ни в какую энергию.

Сталин же, сколько ни перелистывал учебник «Алгебры» Киселева и «Физику» Соколова для старших классов, – никак не мог набрести ни на какой счастливый толчок.

Такую счастливую мысль – правда, совсем в другой области, в языкознании, ему подал недавний случай с тби-лиссским профессором Чикобавой. Этого Чикобаву Сталин смутно помнил, как всех сколько-нибудь выдающихся грузинов: он был посетителем дома Игнатошвили-сына, тбилисского адвоката, меньшевика, и сам фрондер, уже не мыслимый нигде, кроме Грузии.

В последней статье, доживи до того почтенного возраста и до того скептического состояния ума, когда начинаешь мало считаться с земным, Чикобава умудрился написать по видимости антимарксистскую ересь, что язык – никакая не надстройка, а просто себе язык, и что будто бы существует язык не буржуазный и пролетарский, а просто национальный язык. И открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

Так как и тот и другой были грузинами, то отклик последовал в грузинском же университетском вестнике, серенький переплетенный номер которого с грузинской вязью лежал сейчас перед Сталиным. Несколько лингвистов-марксистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава – агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие.

Правда, звучней было бы опровергнуть, например, контрреволюционную теорию

относительности или волновую механику. Но за государственными делами просто нет на это времени. Языкознание же все-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой.

Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже сидел и писал):

«Какой бы язык советских наций мы ни взяли – русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... (вот черт, с годами ему все трудней останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)... – каждому ясно, что...» Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно. А что ясно? Ничего не ясно... Экономика – базис, общественные явления – надстройка. И – ничего третьего, как всегда в марксизме.

Но с опытом жизни Сталин разобрался, что без третьего не поскачешь.

Например, нейтральные страны могут же быть (их доконаем потом отдельно) и нейтральные партии (конечно, не у нас). При Ленине скажи такую фразу: «Кто не с нами – тот еще не против нас»? – в минуту бы выгнали из рядов.

А получается так... Диалектика.

Вот и тут. Над статьей Чикобава Сталин сам задумался, пораженный никогда не приходившей ему мыслью: если язык – надстройка, почему он не меняется с каждой эпохой? Если он не надстройка, так что он? Базис? Способ производства?

Собственно так: способ производства состоит из производительных сил и производственных отношений. Назвать язык отношением – пожалуй что нельзя.

Значит, язык – производительная сила? Но производительные силы есть: орудия производства, средства производства и люди. Но хотя люди говорят языком, все же язык – не люди. Черт его знает, тупик какой-то.

Честнее всего было бы признать, что язык – это орудие производства, ну, как станки, как железные дороги, как почта. Тоже ведь – связь. Сказал же Ленин:

«без почты не может быть социализма». Очевидно, и без языка...

Но если прямым тезисом так и дать, что язык – это орудие производства, начнется хихиканье. Не у нас, конечно.

И посоветоваться не с кем.

Ну, можно будет вот так, поосторожнее: «В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же безразличны к классам, как язык.»

«Безразличны к классам!»! Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...

Он поставил точку. Заложил руки за затылок, зевнул и потянулся. Не так много он еще думал, а уже устал.

Сталин поднялся и прошелся по кабинету. Он подошел к небольшому окошку, где вместо стекол было два слоя прозрачной желтоватой брони, а между ними высокое выталкивающее давление. Впрочем, за окнами был маленький отгороженный садик, там по утрам проходил садовник под наблюдением охраны – и сутки не было больше никого.

За непробиваемыми стеклами стоял в садике туман. Не было видно ни страны, ни Земли, ни Вселенной.

В такие ночные часы, без единого звука и без единого человека, Сталин не мог быть уверен, что вся страна-то его существует.

Когда после войны несколько раз он ездил на юг, он видел одно пустое как вымершее пространство, никакой живой России, хотя проехал тысячи километров по земле (самолетам он себя не доверял). Ехал ли он на автомобилях – и пустое стлалось шоссе, и безлюдная полоса вдоль него. Ехал ли он поездом – и вымирали станции, на остановках по перрону ходила только его поездная свита и очень проверенные железнодорожники (а скорей всего – чекисты). И у него укреплялось ощущение, что он одинок не только на своей кунцевской даче, но и вообще во всей России, что вся Россия – придумана (удивительно, что иностранцы верят в ее существование). К счастью, однако, это неживое пространство исправно

поставляет государству хлеб, овощи, молоко, уголь, чугун – и все в заданных количествах и в срок. Еще и отличных солдат поставляет это пространство. (Тех дивизий Сталин тоже никогда своими глазами не видел, но судя по взятым городам – которых он тоже не видел – они несомненно существовали.) Сталин был так одинок, что уже нечем было ему себя проверить, не с кем соотнестись.

Впрочем, половина Вселенной заключалась в его собственной груди и была стройна, ясна. Лишь вторая половина – та самая объективная реальность, корчилась в мировом тумане.

Но отсюда, из укрепленного, охраняемого, очищенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся той второй половины – он чувствовал в себе власть корезить ее, как хотел. Только когда приходилось своими ногами вступать в ту объективную реальность, например, по-ехать на большой банкет в Колонный зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от автомобиля до двери, и потом своими ногами подниматься по лестнице, пересекать еще слишком обширное фойе и видеть по сторонам восхищенных, почтительных, но все же слишком многочисленных гостей – тогда Сталин чувствовал себя худо, и не знал даже, как лучше использовать руки свои, давно не годные к настоящей обороне. Он складывал их на животе и улыбался. Гости думали, что Всесильный улыбается в милость к ним, а он улыбался от растерянности...

Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал опасаться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было пространства.

Сталин задвинул металлическую шторку и поплелся опять к столу.

Проглотил таблетку, снова сел.

Никогда в жизни ему не везло, но надо трудиться. Потомки оценят.

Как это случилось, что в языкознании – аракчеевский режим? Никто не смеет слова сказать против Марра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуешь им, в рот положишь – не берут!

Все – самому, и тут – самому...

И он в увлечении записал несколько фраз:

«Надстройка для того и создана базисом, чтобы...»

«Язык для того и создан, чтобы...»

В усердии выписывания слов он низко склонил над листом коричневатого-серого лица с большим носом-бороздилом.

Лафарг этот, тоже мне в теоретики! – «внезапная языковая революция между 1789 и 1794 годами». (Или с тестем согласовал?..) Какая там революция! Был французский язык – и остался французский.

Кончать надо все эти разговорчики о революциях!

«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путем взрыва неприменим не только к истории развития языка, – он редко применим и к другим общественным явлениям.»

Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо получилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хорошо разъясняли: что с какого-то момента всякие революции прекращаются и развитие идет только эволюционным путем. И даже, может быть, количество не переходит в качество. Но об этом в другой раз.

«Редко»?.. Нет, пока еще так нельзя.

Сталин перечеркнул «редко» и написал: «не всегда».

Какой бы примерчик?

«Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился, и хороший термин!) к социалистическому колхозному.»

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: «строю». Это был его любимый стиль: еще один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлеченное перо писало дальше:

«Однако, этот переворот совершился не путем взрыва, то есть не путем свержения существующей власти, – (надо, чтоб это место агитаторы особенно разьяснили!), – и создания новой власти», – (об этом чтоб и мысли не было!!).

С легкомысленной ленинской руки в советской исторической науке признают только революцию снизу, а революцию сверху считают полумерой, уклонением, признаком дурного тона. Но пора назвать вещи своими именами:

«А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти...»

Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива коллективизации шла не от крестьян?..

Сталин откинулся в кресле, зевнул – и вдруг потерял мысль, все мысли, какие только что были. Загоревшийся в нем пыл исследования – погас.

Сильно сторбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающею походкой владетель полумира прошел во вторую узкую дверь, не различную от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком – в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами.

Ложась, он кряхтел и пытался подкрепить себя привычным рассуждением: ни Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британию потому, что имели врага на континенте. А у него – не будет. Сразу с Эльбы – марш на Ламанш, Франция сыпется как труха (французские коммунисты помогут), Пиренеи – с ходу штурмом. Блицкриг – это, конечно, афера. Но без молниеносной войны не обойтись.

Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько.

Уже уткнувшись в подушку щекой, перебрал последние бессвязные мысли: что в Корее тоже надо молниеносно; что с нашими танками, артиллерией, авиацией обойдемся мы, пожалуй, и без Мирового Октября.

Вообще путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе – слишком много сложностей.

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди – ни одной!

И опустил в сон.

## 24

Когда инженер-полковник Яконов вышел из министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул черно-мраморный нос здания под пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою «победу» и уже надавил было ручку садиться в чужую.

Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале все таял, потом пресекался. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а натаившую воду подбирали хрупким ледком.

Холодало.

Было уже скоро пять часов. В небе стояла черная фонарная ночь.

Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной) и с завистью поглядел, как Яконов садился в автомобиль.

Он вздохнул – доживет ли когда-нибудь, чтоб иметь машину. Не то, чтобы девушку покатавать в легковой – он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на уборочную.

Но он не знал, кому завидовал...

Шофер спросил:

– Домой?

Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали.

– Домой? – спросил шофер.

Яконов дико посмотрел на него.

– А? Нет.

– В Марфино? – удивился шофер. Хотя он ждал в бурках и в полушубке – он продрог, хотел спать.

– Нет, – ответил инженер-полковник, держась рукой чуть повыше сердца.

Шофер смотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря сквозь ветровое стекло.

Это не был его шеф. Покойные мягкие, порой надменно-сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.

И он все еще держал на ладони часы, не понимая.

И хотя шофер с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года, – сейчас, не переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла.

Было так поздно, что уже становилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы.

Несколько раз шофер оглядывался на полковника: все же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мясницких ворот, доехал бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра!

Яконов неподвижным бессмысленным взглядом уперся вперед, в ничто.

Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов, близких к дому, приведет инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофер направил в Замоскворечье. Из Охотного ряда он развернулся на строгую пустынную Красную площадь.

Зубцы стен и вершущи елей у стен тронуло инеем. Брусчатка была особенно скользка. Туман жался под колеса автомобиля, к мостовой.

В двухстах метрах от них за зубцами, которые поэтами назывались не иначе как священными, за проходными, караулками, вахтами, часовыми, патрулями и засадами, обитал, по тем же поэтам, Неусыпный, и должен был сейчас кончать свою одинокую ночь.

А они проехали, даже не вспомнив о нем.

И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по набережной, шофер затормозил и спросил опять:

– А может домой, товарищ полковник?

Надо было именно домой. Может быть этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пес убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то, не в семью.

Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из «Победы» и сказал шоферу:

– Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.

Братцем он иногда называл шофера. Но звукнула в его голосе такая скорбь, будто он прощался.

Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана.

Не застегивая пальто, в полковничьей папаше чуть набекрень, Яконов, оскользаясь, пошел по набережной.

Шофер хотел окликнуть его, поехать с ним рядом, но потом подумал, что – небось, в таких чинах не топят, развернулся и уехал.

А Яконов пошел долгим пролетом набережной без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шел он по асфальту, посередине, немигающе уставясь в далекие фонарные огни.

И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие.

Когда их вызвали к министру второй раз – случилось непоправимое. Было ощущение, что рухнули все привычные прикрывающие потолки. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался, плевал – едва что мимо них, и, не соразмерив тычка кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь.

Селивановского он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную подкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925 году; а Яконова за обман и за повторное вредительство арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же Семерку, к Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.

Потом отдышался и дал им последнего сроку – до ленинской годовщины.

Большой безвкусный кабинет плыл и качался в глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех, с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования: о двух девочках восьми и девяти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он не рано женился на ней. Он женился тридцати шести лет, едва выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра.

Потом Селивановский повел Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решетку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта.

Потом Осколупов повел Яконова к себе и начистую открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее.

... Яконов подошел к высокому бетонному мосту, уводившему направо за Москва-реку. Но он не стал обходить, подниматься на его въезд, а прошел под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер.

Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в пенсне и полковничьей папаше.

Дальше Яконов перешел коротким мостом через малую речку. Это было устье Яузы, но он не пытался опознаться, где он.

Да, затеяна была угарная игра, и подходил ее конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна – ее наркомы и обкомы, ученые, инженеры, директора и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие и простые колхозные бабы.

Кто бы и за какое бы дело ни брался, очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков: больше! быстрее! еще!! еще!!! норму! сверх нормы!! три нормы!!! почетную вахту! встречное обязательство! досрочно!! еще досрочное!!! Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе, – а человеку, попавшему в эту круговерть, то есть каждому отдельному человеку, не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестеренками, сойти с ума, попасть в аварию – и только тогда отлежаться в больнице, в санатории, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха – и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут.

Только больные наедине со своей болезнью (не в клинике!) могли жить бестревожно в этой стране.

Однако, до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову все удавалось выскакивать в другие дела – или поспокойнее, или еще пока вначале.

Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти.

И заболеть – тоже было упущено.

Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вовсе лег на лед, обнажив его, – и прямо под Яконовым виднелось черное гнило-зимное пятно – разводье.

Черная бездна прошлого – тюрьма – опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться.

Шесть лет, проведенных там, Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.

Он сел в тридцать втором году, молодым инженером-радиостом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). И тогда попал в число первых зэков, из которых сформировали одну из первых шарашек.

Как он хотел забыть тюремное прошлое – сам! и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключенным!

С порывом он отошел от парапета подальше, пересек набережную и пошел куда-то круто вверх. Огибая дол-гий забор еще одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая несколько ледок.

Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундирами МГБ порой скрывались бывшие зэки.

Двое таких, кроме Яконова, было и в Марфинском институте.

Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного.

Один из них был – Княженецкий, семидесятилетний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные десять лет, после чего во внимание к длинному списку научных заслуг послан был в Марфино вольным и проработал здесь три года, пока свистящий бич Постановления об Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как Княженецкий спускался по красно-ковровой лестнице института с трясущейся серебряной головой, еще не ведая, зачем его вызвали на полчаса, а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почета.

Второй – Алтынов, не был знаменит в науке, а просто деловой человек.

Он после первого срока был замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только Постановление об Укреплении стало совершать свои первые провороты по кольцам столицы, Алтынов словчил и лег в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти, и друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало иссилившееся сердце изворачиваться тридцать лет кряду.

Так и Яконов, уже год назад обреченный как бывший зэк, теперь повторно обрекался как вредитель.

Бездна звала своих детей назад.

\*\*\*

... Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая – куда, не замечая подъема. Наконец одышка остановила его. И ноги устали, вывихиваясь от неровностей.

И тогда с высокого места, куда он забрел, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.

За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая, все холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-то покосившийся тесовый сарайчик или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство – все угадывалось белесоватым, где от нестаявшего снега, где от осевшего инея.

А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалеку от центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь.

Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шлаковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. То здание вверху, куда вели ступени, плохо различалось в темноте, здание странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее.

Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь все в разрушение?

Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти, сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти.

Поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем.

Да! Да! Разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся.

Промоченная рядами фонарей, далеко внизу вилялась река, странно-знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю.

Но колокольня? Ее нет. Или эти груды камня – от колокольни?

Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.

Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть.

Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.

## 25

Он произнес это имя – Агния, и ветерок совсем иных ощущений обежал его тело, сытое благами.

Ему тогда было двадцать шесть лет, ей – двадцать один.

Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить.

Ее брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные, – она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно.

А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъема на гору, от беготни, даже от оживленного разговора. Ничего не стоило обидеть ее.

Однако, она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу.

Но вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу – никогда не брала туда с собой книги: книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Описания природы у Тургенева она пропускала, находя их поверхностными. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали ее наблюдения: то – стволлик березы наклонен до земли в память снегопада, то – как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал – лес и лес, воздух хороший, зелено.

Лесной Ручеек – так звал ее Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались как жених и невеста.

Но очень далеко от этого было на самом деле.

Агния не была хороша, ни нехороша собой. Лицо ее часто преображалось: то в миловидной улыбке, то в непривлекательной вытянутости. Роста она была выше сред-него, но узка, хрупка, а походка – такая легкая, будто Агния вовсе не нуждалась наступать на землю. И хотя Антон уже был довольно искушен и ценил в женском теле плоть, но чем-то, не телом, тянула его Агния – и, приобвыкнув, он уверил себя, что как женщина она тоже ему

нравится, что она разовьется.

Однако, с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, уходя с ним за много верст в зеленую глубь, лежа с ним бок о бок на лужайках, – она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спрашивала «зачем это?» и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людьми: возвращаясь в дачный поселок, она уступала его самолюбию и покорно шла под руку.

Рассудив с собой, что он любит ее, Антон объяснился в любви – припал к ее коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладело Агнией. «Как грустно, – говорила она. – Мне кажется, что я тебя обманываю. Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я бы должна только радоваться, – а мне не хочется жить...»

Она говорила так – но все же каждое утро тревожно ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отношении.

Она говорила так, но говорила и иначе: «В Москве много девушек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь.»

Она давала себя обнимать и даже целовать, но ее губы и руки были при этом безжизненны. «Как тяжело! – страдала она. – Я верила, что любовь – это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне никогда не встретить лучшего, чем ты – а мне не радостно, совсем не хочется жить.»

В ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него:

«А без этого нельзя?» – «Но это совсем, совсем не главное! – с воодушевлением отвечал ей Антон. – Это только дополнение к нашему духовному общению!» И тогда впервые ее губы слабо пошевелились в поцелуе, и она сказала: "Спасибо тебе. А иначе зачем было бы жить?"

Я думаю, что я уже начинаю тебя любить. Я постараюсь обязательно полюбить."

Той самой осенью под вечер они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лесным голосом, который трудно расслышивался в городском громоухании:

– Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве?

И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую и красную краску и обращенной алтарем в кривой безымянный переулок. Внутри ограды было тесно, шла только вокруг церковушки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом священник и дьякон. За обрешеченными окошками виделся из глубины мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же рос, в углу ограды, старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже желтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной.

– Это церковь Никиты Мученика, – сказала Агния.

– Но не самое красивое место в Москве.

– А подожди.

Она провела его между столпами калитки. На каменных плитах двора лежали желтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сени того же дуба стояла и древняя шатровая колоколенка. Она и прицерковный домик за оградой заслоняли закатное уже низкое солнце. В распахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора согбилась нищая старушка и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни.

– "Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию..." – почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу.

– Какого ж она века?

– Тебе обязательно век? А без века?

– Мила, конечно, но не....

– Так смотри! – Агния натянутой рукой быстро повлекла Антона дальше – к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где

обрывалась ограда и начинался просвет для ворот.

Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева лежало Замоскворечье, ослепляя желтым блеском стекол, впереди дымили по закатному небу черные трубы МОГЭСа, почти под ногами в Москва-реку вливалась блестящая Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный дом, за ним высились резные контуры Кремля, а еще дальше пламенели на солнце пять червленно-золотых куполов храма Христа Спасителя.

И во всем этом золотом осиянии Агния, в наброшенной желтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце.

– Да! Это – Москва! – захваченно произнес Антон.

– Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей, для монастырей! – говорила Агния прерывающимся голосом. – Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся – в самых величественных местах.

Архитекторы были богомольны, каменщики – праведники.

– Да-а, это – Москва...

– Но она – уходит, Антон, – пропела Агния. – Москва – уходит!..

– Куда она там уходит? Фантазия.

– Эту церковь снесут, Антон, – твердила Агния свое.

– Откуда ты знаешь? – рассердился Антон. – Это художественный памятник, его оставят. – Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки дуба.

– Снесут! – уверенно пророчила Агния, сидя все так же неподвижно, в желтом свете и в желтой шали.

Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот: мать ее и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь – не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тетки Агнии имели устойчивое свое исповедание: всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем умела. Ее дочери переняли за ней и прятали подпольщиков-эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее не секли. Но она росла – и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она – за церковь, потому что ее гонят.

Она настаивала, что теперь-то было бы низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений.

– Да в чем ты видишь, что ее гонят? – удивлялся Антон. – В колокола звонить им не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход – пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего.

– Конечно, гонят, – возражала Агния, как всегда тихо, малозвучно. – Раз на нее говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают – разве это не гонят?

– Где ты видела, что ссылают?!

– Этого на улицах не увидишь.

– И даже, если гонят! – наседал Антон. – Десять лет ее гонят, а она гнала? Десять веков?

– Я тогда не жила, – поводила узкими плечиками Агния. – Я ведь живу – теперь... Я вижу, что при моей жизни.

– Но надо же знать историю! Неведение – не оправдание! А ты никогда не задумывалась – как могла наша церковь пережить двести пятьдесят лет татарского ига?

– Значит, глубока была вера? – догадывалась она. – Значит, православие оказалось

духовно сильнее мусульманства?.. – Она спрашивала, не утверждала.

Антон улыбнулся снисходительно:

– Фантазерка ты! Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошел на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом! – вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх.

Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха.

– Вот на чем построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест! – громил Антон. – Да на сожженных раскольниках! Да на запоротых сектантах! Нашла ты, кого пожалеть – церковь гонят!..

Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:

– И вообще, ты не справедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они – за равенство! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв?

(Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее примкнуть, пока не поздно.) – А своим этим манерничаньем ты только сама же себе закроешь все дороги, и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Что ты можешь сделать?

– А что может женщина вообще? – Ее тонкие косички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли), ее косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь. – Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я ее терпеть не могу.

– За что? – поразился Антон.

– За то, что Пьера она не пустит в декабристы! – И слабый голос ее опять прервался.

Вот из таких внезапностей она была вся.

Прозрачная желтая шаль ее за плечами повисла на освобожденных полуопущенных локтях и была как тонкие золотые крылья.

Антон двумя ладонями облегал ее локоть, словно боясь сломать.

– А ты бы? Отпустила?

– Да, – сказала Агния.

Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела все вверх и вверх.

Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы.

Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых.

– Ты не боишься, что тебя увидят около церкви? – без насмешки спросила Агния, но получилась насмешка.

Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе.

– Берегись, Агния, – начиная раздражаться, внушал он ей. – Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит – отстанет безнадежно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить.

Остерегись. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь.

Агния поникла. Безвольно висела ее рука с золотым колечком Антона.

Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой.

– Да, да, – упавшим голосом подтверждала она. – Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я – лишние мы на свете...

У него оборвалось внутри. Она делала все, чтобы не завлечь его!

Мужество выполнить обещание и жениться на Агнии слабело в нем.

Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки.

«И некрасива все-таки она» – подумал Антон.

– Наверно, тебя ждет слава, удача, стойкое благополучие, – грустно сказала она. – Но будешь ли ты счастлив, Антон?.. Остерегись и ты.

Заинтересовавшись процессом жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе передать... – Она кончики пальцев терла в щепоти, ища слово, и лицо стало болезненно-беспокойно. – Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели – и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?.. – Еще искала. – А представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по православному обряду?..

Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было ее одну.

Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галлерей с оконцами, обрешеченными в древне-русском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галлерей под неф среднего храма.

Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилось золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.

Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворенно глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.

Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии, – и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полоненный монастырем; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.

\*\*\*

Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика.

Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но все так же был да-лек обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями...

\*\*\*

... Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не правда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного, его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от нее пострадает?

Заметка была напечатана.

Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку: «Митрополиту Кириллу».

А он испытал облегчение.

\*\*\*

Он встал и дотянувшись до решетчатого оконца галлерей, заглянул внутрь.

Оттуда пахло сырým кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри – кучи битого камня и мусора.

Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедления в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет.

Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова.

\*\*\*

Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умен, талантлив – и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена, розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная «победа» дожидалась его телефонного звонка.

А он стоял, локтями припав к мертвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было в его душе, что не имел он силы пошевелить ни рукой, ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра.

Светало.

Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решетки ее окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскреба.

## 26

Светало.

Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звездочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой.

Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как ее уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у нее вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошел чердынские леса, воркутские шахты, два следствия – полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было – подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптерке в ожидании худших времен. Денег он получал в месяц тридцать

рублей – на три килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши.

Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.

\*\*\*

Когда-то под следствием сухие веревочки, опять набухли и выросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.

Однако, топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооруженному восстанию, тем более, что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение: ставить в пяти шагах от работающего Сологодина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы, и само такое соотношение – один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛага. Но заупрямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при попке работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь: зэки занимались работой умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаемные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако, за годы службы в надзорсоставе они как бы разучились работать – у них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготовивали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдать: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключенным (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на ладони, да еще дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними.

В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.

Во всякое время от подъема до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулеметами, бесконвойно. Еще потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был – несколько соединенных дворов, общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо.

Главное – он здесь ел от пуза, хлеба черного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали.

Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от СевУралЛага – от трех зим лесоповала, да трех весен лесосплава, где много тысяч бревен он перенячил.

– Ну! Спиридон! – с нетерпением окликнул Сологдин.

– Что такоича?

Лицо Спиридона с усами седо рыжими, бровями седо-рыжими и кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку.

– Как что? Пила не тянет!

– С чего б эт не тянула? – удивился Спиридон. – За зиму кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнем разок!

И подал пилу одною ручкой.

Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулежно, потом въелась и пошла.

– Вы в руках-то ее больно крепко держите, – осторожно посоветовал Спиридон. – Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавненько... во... ну-ну!.. К себе-то когда волочете – не дергайте...

Каждый из них ощущал свое явное превосходство над другим: Сологдин – потому что знал теоретическую механику, сопромат и много еще наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь, Спиридон – потому, что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал.

Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.

Сологдин рассмеялся:

– Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развел!

Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:

– Жрет себе, жрет, мелко жует, сама не глотает, другим отдает...

И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.

– Ничуть я не точил, – повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. – Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня.

Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней сделал.

– Ну, давай, Спиридон, еще чурбачок.

– Не-е, – взялся Спиридон за спину. – Я заморился. Что деды, что продеды не доработали – все на меня легло. А вот ваши дружки подойдут.

Однако, дружки не шли.

Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.

– Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? – приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.

Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития.

– Да, – чмокнул Спиридон. – Вон вас каких ученых людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «стеклодув». Я, ить, и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер, на нашем заводе под Брянским. Да дело давнее, уж и глаз нет, и работа тая сюда не относится, тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всем заводе сроду не было. А все ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков, – хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял.

Из-за угла, со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания «тюремного штаба», показался Нержин. Он шел в незастегнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казенным (и потому до квадратности коротким) полотенцем на шее.

– С добрым утром, друзья, – отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь,

сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку.

– Глебчик, ты обезумел, где ты видишь снег? – покосился Сологдин.

– А вот. – мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погреба. Там был редко-пушистый нетронутый слой не то снега, не то инея, и собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случась поблизости, мешали этому.

– Эх тебя распарило, – покачал головой Спиридон.

– Письма-то все нет, Спиридон Данилыч? – откликнулся Нержин.

– Вот именно есть!

– Что ж читать не приносил? Все в порядке?

– Письмо есть, да взять нельзя. У Змея.

– У Мышина? Не дает? – Нержин остановился в растирании.

– Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать.

Пока я прохватился – а уж Змей прием кончил. Теперь в понедельник.

– Эх, гады! – вздохнул Нержин, оскаляя зубы.

– Попов судить – на то черт есть, – махнул Спиридон, косясь на Сологодина, которого знал мало. – Ну, я покати.

И в своем малахае со смешно спадающими набок ушами, как у дворняжки, Спиридон пошел в сторону вахты, куда эков кроме него не пускали.

– А топор? Спиридон! Топор где? – опомнился вслед Сологдин.

– Дежурняк принесет, – отозвался Спиридон и скрылся.

– Ну, – сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину, – не угодил я Антону. Отнесся я к Семерке, как к «трупам пьяницы под марфинским забором». И еще вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.

Сологдин повел головою, усмехнулся, скорее неодобрительно. При усмешке между его светло-русскими с приседью аккуратно подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы ядреных, не затронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов:

– Ты ведешь себя не как исчислитель, а как пиит. Нержин не удивился: и «математик», и «поэт» были заменены по известному чудачеству Сологодина говорить на так называемом Языке Предельной Ясности, не употребляя птичьих, то есть иностранных слов.

Все так же полуголый, неспеша дотираясь полотенечком, Нержин сказал невесело:

– Да, на меня это не похоже. Но вдруг так все опротивело, что ничего не хочется. В Сибирь, так в Сибирь... Я с сожалением замечаю, что Левка прав, скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм – это не только система взглядов, но прежде всего – характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть даже кому-нибудь... в морду дать.

Сологдин удобнее прислонился к козлам.

– Это глубоко радует меня, друг мой. Твое усугубленное неверие, – (то, что называлось «скептицизмом» на Языке Кажущейся Ясности), – было неизбежным на пути от... сатанинского дурмана, – (он хотел сказать «от марксизма», но не знал, чем по-русски заменить), – к свету истины. Ты уже не мальчик, – (Сологдин был на шесть лет старше), – и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. И должен – выбирать.

Сологдин смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился:

– А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой – слаб, и ты – «источник ошибок»? – И, как впервые, вскинулся и посмотрел на друга:

– Слушай, а в тебе все-таки... «Свет истины» – и «проституция есть нравственное благо»? И – в поединке с Пушкиным был прав Дантес?

Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов:

– Но кажется, я эти положения успешно защитил?  
– Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди...  
– Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я – как составное деревянное яйцо. Во мне – девять сфер.

– Сфера – птичье слово!

– Виноват. Видишь, как я неизобретателен. Во мне – девять... ошарий.

И редко кому я даю увидеть внутренние. Не забывай, что мы живем под закрытым забралом. Всю жизнь – под закрытым забралом! Нас вынудили. А люди и вообще, и без этого – сложнее, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца – а в жизни мы никогда до конца не узнаем. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! – что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь.

– Ставрогин – это, кстати, откуда?

– Из «Бесов»! Ты не читал? – изумился Сологдин. Мокроватое куцое вафельное полотенце Нержин по-весил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтную офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам.

– "Бесов"?.. Да разве мое поколение...? Что ты! Да где было их достать? Это ж – контрреволюционная литература! Да опасно просто! – Он надел и телогрейку. – Но вообще я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами – разве тут же, в первое мгновение, ты не даешь ему оценки в главном – враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно! А ты говоришь – так трудно понять человека? Да вот – как мы с тобой встретились? Ты приехал на шарашку еще когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь?

– Ну да.

– Я утром спускаюсь и насвистываю что-то, легкомысленное. А ты вытирался, и в полутьме поднял лицо из полотенца. И я – остолбенел! Мне показалось – иконный лик! Позже-то я доглядел, что ты – несколько не святой, не стану тебе льстить...

Сологдин рассмеялся.

– ... У тебя лицо совсем не мягкое, но оно – необыкновенное... И сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через пять минут рассказывал тебе...

– Я был поражен твоей опрометчивостью.

– Но человек с такими глазами – не может быть стукачом!

– Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным.

– И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик...

– ... Карамазовский.

– Да, ты помнишь! – что делать с урками? И ты сказал? – перестрелять! А?

Нержин и сейчас смотрел как бы проверяя: может, Сологдин откажется?

Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологодина. Картинно скрестив руки на груди – ему очень шло это положение – он произнес приподнято:

– Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием каст-ратов. Но христианство – это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. погоди, придешь к Богу и ты. Твое ни-во-что-не-верие – это не почва для мыслящего человека, это – бедность души.

Нержин вздохнул.

– Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет – я был бы менее морален?

– Без-условно!!

– Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие... А в чем пошатнется моя вера, мой философский деизм, если я узнаю,

что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чем!

Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:

– Нет другого пути! Если ты у су мнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания, – все разрушено!! ты – безбожник!

Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.

– Вот так вы и отталкиваете людей! все – или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загордиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.

Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.

– Ладно, об этом – не на дровах, – согласился тот.

Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но все же легко.

Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упреков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое дает неподневольный и не вызванный нуждою труд.

Только перед четвертым резом ярко раздумывавшийся Сологдин буркнул:

– Сучка бы не зацепить...

И после четвертого чурбака Нержин пробормотал:

– Да, сучковатое, падло.

Душистые, то белые, то желтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пыльщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.

Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание: он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих, – а будет медленно, со знанием жизненных глубин выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, тянуть резину весь двенадцатичасовой день – и так все пять лет, оставшиеся до конца срока.

Пять лет – это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятье, она и благословенье.

Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.

Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казенной работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своем мозге, истощенном столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишенном фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам – взлет жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.

## 27

А между тем они пилили и пилили, тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на бревна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел, – топора же все не было.

– А не хватит? – спросил Нержин. – Небось не переколем.

– Отдохнем, – согласился Сологдин, отставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.

Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редящих волос Сологодина пошел пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.

– Но если тебя сейчас отправят в лагерь, – спросил Сологдин, – как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило – по революции.) – Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?

– Ве-ли-ко-лепно!! – густым выдохом отдал Сологдин. – Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?

– Отчасти – да, отчасти – где ж я их возьму?

– Без «отчасти»! – предупредительно воскликнул Сологдин. – Ты пойми: мысль!! – он вскинул голову и руку. – Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть – своя! Мысль, как живое дерево, дает плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения – это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому – и только потом сверять с книгами.

Сологдин испытующе посмотрел на друга:

– А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?

– Да! Понять Ленина – это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе-читальне.

Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.

– Ты – безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг – предостеречь тебя.

Нержин тоже взял шапку с отрожка козел и присел на грудь чурбаков.

– Будь же достоин своей... исчислительной науки. примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по собым точкам?

– Уже ясно! – торопил Нержин, он не любил размазываний. – Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец полевые. И кривая – вся в наших руках.

– Так почему ж не применить этого к... бытийному лицу?! – (К историческому, перевел для себя Нержин на Язык Кажущейся Ясности.) – Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений – и прочти только то, что относится к ним. Как он вел себя в эти мгновения? Тут – весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.

– Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?

Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накиннул телогрейку, пересел на козлах иначе, но все так же неудобно.

– Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживем ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть... Хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень мешает мое косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу...

Это было в манере Сологдина! Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался.

– Ну да, твоя слабая память, – убыстрял и помогал Нержин. – И то, что ты – «сосуд ошибок»...

– Да, да, именно, – Сологдин подтвердил минующей улыбкой. – Так вот, зная свое несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волну. Эти правила – как бы общий огляд на пут подхода к работе.

Методика, привычно перевел Нержин с Языка Предельной Ясности. Плечи зябли, и он

тоже накинул телогрейку.

По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебного-обеленных марфинских лип мелькала утренняя арестантская прогулка.

Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашева-Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая – бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого, архитектора Мержанова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель уже его не пускал: поздно.

– Смотри, вон Левка с растрепанной бородой.

Засмеялись.

– Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?

– Давай. Попробуем.

– Ну, например: как относиться к трудностям?

– Не унывать?

– Этого мало.

Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опущенные инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологодина, собранное, худошавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами чем-то напоминало лик Александра Невского.

– Как относиться к трудностям? – вещал он. – В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета – это прекрасно!! – Слово розовая заря промелькнула по раздумянному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. – Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные – тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада!! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!

– Здорово! Сильно! – отозвался Нержин с чурбаков.

– Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий.

Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко-враждебной среде можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ!

– А с этим я бы... не согласился, – протянул Нержин. – Какая среда враждебней тюрьмы? Где недостаточней наши средства? А мы же свое ведем.

Отказаться сейчас – может быть и навеки отказаться.

Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.

Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. И опять стал как бы читать, слегка нараспев:

– Теперь послушай: правило последних вершков! Область последних вершков! – на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, все как будто совершенно и преодолено, но качество вещи – не совсем то! Нужны еще доделки, может быть еще исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества.

Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! И не откладывать ее, ибо строй мысли исполнителя уйдет из области последних вершков! И не жалеть времени на нее, зная, что

цель всегда – не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства!!

– Хор-рошо! – прошептал Нержин.

Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:

– Что же вы, младший лейтенант? Я вас не узнаю. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть.

Луноподобный младший лейтенант Наделашин еще недавно был старшиной.

После производства в офицеры, зэки шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в младшину.

Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:

– Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!

– Че-го? – фыркнул Нержин. – Работы? Младший лейтенант! Да разве вы – работаете?

Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмутив лоб, сказал по памяти:

– "Работа есть преодоление сопротивления." Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю. – И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном воздухе. – Так наколите, я прошу вас!

И, повернувшись, засеменял к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура ее начальника подполковника Климентьева.

– Глебчик, – удивился Сологдин. – Мне изменяют глаза? Климентиадис?

– (То был год, когда газеты много писали о греческих заключенных, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже женам и даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие – Мышинопуло, Климентиадис, Шикиниди.) – Зачем Климентиадис в воскресенье?

– Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут.

Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошел со времени его последнего свидания, восемь месяцев – с тех пор, как он подал заявление, – а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учебу жены в университетской аспирантуре, он не давал ее адреса в студенческом общежитии, а лишь «до востребования», – до востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной внутренней жизни был свободен от чувства зависти: ни зарплата, ни питание других, более достойных зэков, не мучили его спокойствия. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем – это сознание терзало его.

К тому же сегодня был его день рождения.

– Едут? Да-а... – с той же горечью позавидовал и Сологдин. – Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда...

(Сологдин не употреблял выражения «до конца срока», потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов.) Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделашиним, вошел в штаб.

И вдруг заговорил быстро:

– Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова, – (он взглянул на небо):

– любит! преклоняется! боготворит!

– Да отказали мне в свидании, что с тобой? – раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.

– А посмотри!

Нержин оглянулся. Младшина шел к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик.

Сологдин проследил, как младшина завел Нержина в штаб, потом поправил чурбак на-попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но еще вогнал топор в землю.

Впрочем, топор был казенный.

## 28

Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов в двое суток, – она была хлопотлива, полна беготней по этажам и в высокой степени ответственна.

Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в девять часов вечера, подсчитал, что все заключенные, числом двести восемьдесят одна голова, на месте, произвел выпуск их на вечернюю работу, расставил посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы), как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к еще не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину.

Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков (или, как их теперь называли – тюремных работников), но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, Наделашин и при простуде не глотал ее. В стране, где каждый второй прошел лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей (а детьми – в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но и в душевных беседах, Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как «черт» и «сволочь». Одной приго-воркой пользовался он в сердцах – «бык тебя забодай!», и то чаще не вслух.

Так и тут, сказав про себя «бык тебя забодай!», он поспешил к майору.

Оперуполномоченный Мышин, которого Бобынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом, – болезненно ожиревший фиолетоволицый майор, оставшийся работать в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание:

- проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества;
- переписать по группам всех, встречающих Рождество;
- проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют ли при этом вина, о чем между собой говорят и, главное, не ведут ли антисоветской агитации;
- по возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный разгул.

Не сказано было – прекратить, но – «по возможности прекратить».

Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло ее вынести.

Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского (они и русский-то знали плоховато).

Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова: «хальт!», «цурюк!» и «вэг!» – и сократил инструкцию.

Выслушав приказ и неумело откозыряв (с ними время от времени проходили и строевую подготовку), Наделашин пошел размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного: кого в какую комнату и на какую койку.

(Мышин придавал большое значение планово-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители.

Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном, самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели.) Потом Наделашин зашел исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество – будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.

Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес этот факт в папку.

Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.

Дальше было время отбоя, спора с Пряничковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который все не шел домой (дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать ее жалобы). Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования.

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в Органах. Если б он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осужден. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключенными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить – послаблял. За это заключенные его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нем в разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал все в особую записную книжечку – и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе.

Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил майору, что семнадцатого декабря шли заключенные гурь-бой по нижнему коридору с обеденной прогулки – и Наделашин след в след за ними. И заключенные бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьешься, а Рубин им сказал: «Да когда вы поймете, ребята, что этих гадов вы не разжалобите?»

– Так и сказал: «этих гадов»? – просиял фиолетовый Мышин.

– Так и сказал, – подтвердил луновидный Наделашин с незлобивой улыбкой.

Мышин опять открыл ту папку и записал, и еще велел оформить отдельным донесением.

Майор Мышин ненавидел Рубина и накапливал на него порочащие материалы.

Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на посадку, – Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о совместной работе в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:

– если вы советский человек – то вы нам поможете;

– если вы нам не поможете – то вы не советский человек;

– если же вы не советский человек, то вы – антисоветчик и достойны нового срока;

Но Рубин спросил: «А чем надо будет писать доносы – чернилами или карандашом?» – «Да лучше чернилом», – посоветовал Мышин. – «Так вот я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать – не нуждаюсь.»

Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и свое двуличие.

И еще раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился тем, что раз мол его посадили, значит ему оказали политическое недоверие, и пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу.

С тех-то пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог.

Разговор майора с младшим лейтенантом еще не окончился, как вдруг из министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным.

Используя такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дергал Наделашина и на всякий случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в дорогу не хорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку).

После отъезда Бобынина тотчас вызвали Пряничкова. Тем более майор не мог идти домой! Чтобы скрасить ожидание, кого еще вызовут и когда вернутся, майор пошел проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они лупились в домино), и стал экзаменовать их по истории партии (ибо нес ответственность за их политический уровень). Надзиратели, хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой.

Ответы их были самые плачевные: эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За все это Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.

Потом вернулись Бобынин и Пряничков вместе, в одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а еще больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы уже не ходили.

Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на вышках вокруг марфинского объекта. Начальник караула возбужденно передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом попытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.

Хотя Наделашин был твердо уверен, что все это померещилось часовому, что заключенные надежно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями «летучая мышь» поводит их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошел опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем свете видя недостаточно, – крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их – двести восемьдесят одна.

Тогда он пошел в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Климентьева.

И было уже утро, пора была проверять кухню, снимать пробу и делать подъем.

Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные – не роскошные, но мастеровитые,

обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог – он его заплатил. Через два дня принесли еще годовой – отец заплатил и его.

С совершенным бесстыдством через два дня принесли еще один годовой – уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звездочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключенные, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И еще, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.

С еще большей отчетливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из ее ста десяти камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены; впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры). И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год (когда его оттуда перевели в Марфино) – и знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде – только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфино, он и встретил некоторых старых своих подзамочных – разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких боксах площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырехсотграммовую сырую хлебную пайку; углубленными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладываящими руки за спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами – режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать.

Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы, но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыву послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца: как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чем попало: об итальянских художниках, о нравах пчел, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Кар-бу-зе – и дома-то строил он не им.

А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую дачу-безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощренным мучительством: арестантам не готовили, как везде, грубую тяжелую пищу, а приносили из

соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключенному приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, две стружки жареного картофеля. Не кормили – напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума.

Случилось, что этих двух арестантов в воронке не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофер ушел куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решетку в задней двери. Они ругали правительство и царя – но не нынешнее, и не Сталина – они ругали... императора Петра Первого. Чем он им помешал? – только разделявали его на все лады. Один из них ругал его между прочим за то, что Петр иска-зил и отнял русскую народную одежду, и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что еще и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил – они еще могли шутить! – что для этого нужно двух человек: гениального портного, который сумел бы все это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла.

Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина потому, что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накаленных безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему – считалось стыдно.

## 29

У подполковника Климентьева волосы были – то, что называется смоль: блестяще-черные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и будто слипались в круглых усах. Брюшка у него не было, и в сорок пять лет он держался стройным молодым военным. Еще – он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица.

Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нем – но не роняя своего чина, ни во что не вмешался, а вошел в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велел дежурному Наделашину вызвать заключенного Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни – пройти быстрее, другие – замедлиться, отвернуться, чтобы толь-ко не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти – истое пренебрежение его должностью, а больше – стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключенных, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решеткой содержались люди разные, и стояли они разно. Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своем праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внес в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную военную.

Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спертый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем неперевернутом листке календаря была запись:

«ілка?»

Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли еще только из железного шкафа с тюремными делами, полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Климентьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестеренок успешно управлял внешним ходом трех сотен арестантских жизней и службой пятидесяти надзирателей.

Несмотря на то, что он приехал в воскресенье (его он должен был отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.

Младший лейтенант Наделашин предстал, робея. На щеках его выступило по круглому румянному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение «смирно».

Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два: одно изложено в рапорте (он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул.

Наделашин кинулся за ним туда и снова принес на стол), второе же состояло в вызове заключенных Бобынина и Пряничкова к министру Госбезопасности.

Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная.

Быть начальником Спецтюрьмы № 1 значило – всегда быть на вулкане, и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдаленный лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Климентьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину или Пряничкову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же по долговому опыту службы он со стороны заключенных не опасался. Оклеветать могли сослуживцы.

Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что все – чушь. За то он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков.

Но сколько же у него было недостатков! Подполковник прочел ему выговор.

Он обстоятельно напомнил, какие были упущения еще в прошлое дежурство Наделашина: на две минуты был задержан утренний вывод заключенных на работу; многие койки в камерах были заправлены небрежно, и Наделашин не проявил твердости вызвать соответствующих заключенных с работы и перезаправить. Обо всем этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори – все как об стенку горох. А сейчас на утренней прогулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей – а ведь там местность пересеченная, идет овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок – двадцать пять лет, за спиной у него – подделка документов и всесоюзный розыск два года! И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом – где гулял Герасимович?

От всех отбившись, за большими липами в сторону мех-мастерских. А какое дело у Герасимовича? У Герасимовича – второй срок, у него «пятьдесят восемь один-А через девятнадцатую», то есть измена родине через намерение.

Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дожидаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключенных и непосредственным наблюдением и по личным делам? Наконец, какой вид у самого Наделашина? Гимнастерка не одернута (Наделашин одернул), звездочка на шапке перекосилась (Наделашин поправил), приветствие отдает, как баба, – мудро ли, что в дежурство Наделашина заключенные не заправляют коек? Незаправленные же койки – это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут.

Затем подполковник перешел к приказаниям: надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа.

Заклученный Нержин пусть еще постоит в коридоре. Можно идти.

Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упреков и указаний и зарекался их нарушать.

Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских волей, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь – авось, да пройдет незамеченным.

Климентьев взял ручку и зачеркнул запись «елка?» на календаре. Решение он принял вчера.

Елок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключенные – и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить елку. И Климентьев стал думать – а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от елки ничего худого не случится, и пожару не будет – по электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь.

Ему известно было, что предпраздничные вечера – самые тяжелые для заключенных, кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный.

И он звонил вчера в Тюремное Управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал елку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о елках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Климентьева. И еще вечером, на эскалаторе метро, по дороге домой, Климентьев решил – ладно, пусть елка будет!

И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь по сути он же умный деловой человек, не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а заключенные никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им елку, а кто разрешил.

Но самому Климентьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашел последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на свое мужественное неясно-отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносилась чернота туннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевел взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого: в черной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у нее лежал туго набитый портфель. Климентьев посмотрел на нее и подумал, что у нее приятное лицо, только утомленное, и необычный для молодых женщин взгляд, лишенный интереса к окружающему.

Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный неуверенный вопрос промелькнул в них. Климентьев, памятный по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал, она же заметила его колебание и, видно, утвердилась в догадке.

Это была жена заключенного Нержина, Климентьев видел ее на свиданиях в Таганке.

Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Климентьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на нее обернуться.

Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла.

Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро, и так это выглядело, будто она со своим тяжелым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жен политических заключенных, то есть жен врагов народа: к кому б они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество – они как бы влачили за собой несмыываемый позор мужей,

в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того черного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами враги народа-их обтерпевшиеся мужа, напротив, себя не чувствовали.

Приблизясь, чтобы пересилить гроыхание поезда, женщина спросила:

– Товарищ подполковник! Я очень прошу вас меня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не ошибаюсь?

Перед Климентьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме, – на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично.

– Вы... зачем же встали? Сидите, сидите, – смущенно говорил он, пытаясь за рукав посадить ее.

– Нет, нет, это не имеет значения! – отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника. – Скажите, почему уже целый год нет сви... не могу его увидеть? Когда же можно будет, скажите?

Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад из Тюремного Управления МГБ пришло между другими разрешение зэ-ка Нержину на свидание с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу «до востребования», как просил заключенный, посылать жене извещение о свидании запрещается.

Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климентьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключенным правды, не предполагал искренности и в них.

Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел – по тому самому, почему Тюремное Управление не разрешало адресов «до востребования»: извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось:

«Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ – министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтоб о женах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жены были выявлены, изолированы и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жены именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, свидания не будет. И не послал извещения.

А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унижительно встала и стояла перед ним.

– Нельзя писать до востребования, – сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна.

– Надо дать адрес.

– Но я уезжаю! – живо изменилось лицо женщины.

– Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса, – очевидно лгала она.

Мысль Климентьева была – выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве.

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине! Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, неменяемым взглядом. Климентьев поразился этому взгляду – какая сила приковала ее с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю ее жизнь?

– Мне это очень, очень нужно! – уверяла она с расширенными глазами, ловя колебание в лице Климентьева.

Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие «Постановления об укреплении тыла», наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключенным в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и может быть никогда.

Если же сейчас сказать ей, то формально извещения не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад.

Поезд сбавлял ход.

Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Климентьева. Он знал главного врага заключенных – это были сами заключенные. И знал главного врага всякой женщины – это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал – но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней.

Нельзя было проявлять уступчивости и теперь!

Однако, при смягченном грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Климентьев сказал женщине:

– Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте... – он не сказал «в Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом, – Лефортовский вал – знаете?

– Знаю, знаю, – радостно закивала женщина.

И откуда-то в ее глазах, только что сухих, уже было полно слез.

Оберегаясь этих слез, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы пересест в следующий поезд.

Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал.

Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался законов.

Расчет подполковника был верен: долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадежился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого.

Тем более он был поражен, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым – и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия. Но переход был столь резок, радость – так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника.

Напротив, подполковник не дрогнул в лице.

И тут же пошел инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание.

В инструктаж входили: напоминание о важности и сугубой секретности их объекта; разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание; об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жен – непосредственно в Соединенные Штаты Америки. (Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну.) Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приемов их обнаружения (одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания – особая, показная). Путем собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидующихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично-семейных.

Подполковник Климентьев знал устав и любил порядок.

Нержин, едва не сбив с ног в полутемном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Все так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце.

По удивительному свойству человека все мгновенно преобразилось в Нержине. Еще пять минут назад, когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его тридцатилетняя жизнь представлялась ему бессмысленной удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. И главные из этих неудач были – вскоре после женитьбы уход на войну, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их любовь ясно виделась ему роковой, обреченной на растоптание.

Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню – и в новом солнце предстала ему тридцатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь, осмысленная в мелком и в крупном; жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастье. Он испивал его, как родник, он визнавал тут тех людей и те события, о которых на Земле больше нигде нельзя было узнать, и уж конечно не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: не море топит, а лужа.

А к жене он вернется! Ведь связь их душ непрерывна! Свидание! Именно в день рождения! Именно после вчерашнего разговора с Антоном! Больше ему никогда здесь не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего! Мысли вспыхивали и пронеслись огненными стрелами: об этом не забыть! об этом сказать! об этом! еще об этом!

Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шумели, кто возвращался с завтрака, кто только шел умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло, и рассказывал, размахивая руками и хохоча, о своем разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, министром! Надо и Валентулю послушать! – была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку ребер, когда, кажется, ста лет мало, чтобы все переделать. Но нельзя было пропустить и завтрака: арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие как завтрак. К тому же рассказ Валентули подходил к бесславному концу: комната произнесла ему приговор, что он – дешевка и мелкота, раз не высказал Абакумову насущных арестантских нужд. Теперь он вырывался и визжал, но человек пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем из ложек.

На нижней койке лучевого прохода к центральному окну, под койкой Нержина и против опустевшей койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Андреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он смеялся до слез и вытирал их под очками. Кровать Потапова была еще при подъеме застелена в форме жесткого прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю он маслил очень тонким слоем: он не прикупал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зарабатываемые деньги своей «старухе». (Платили же ему по масштабам шарашки много – сто пятьдесят рублей в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так как был он незаменимым специалистом и на хорошем счету у начальства.) Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул ее к себе наверх, на еще не стеленную постель, и, приветствуя Потапова, но не дослышав его ответа, убежал завтракать.

Потапов был тот самый инженер, который признал на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на суде, что он лично продал немцам и притом задешево первенец сталинских пятилеток ДнепроГЭС, правда – уже во взорванном состоянии. И за это невообразимое, не имеющее себе равных злодейство, только по милости гуманного

трибунала, Потапов был наказан всего лишь десятью годами заключения и пятью годами последующего лишения прав, что на арестантском языке называлось "десять и пять по рогам".

Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму за политику. Друзья Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова была – только работа; даже трехдневные праздники томили его, а отпуск он взял за всю жизнь один раз – когда женился. В остальные годы не находилось, кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром – он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе еще одну дырочку, затягивался потуже и продолжал бодро заниматься единственным, что было интересного в мире – высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались не высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только кричал на собраниях или писал в газетах, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костер пятилеток.

В сорок первом году они уже строили другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав, что ДнепроГЭС, творение их молодости, взорван, он сказал жене:

– Катя! А ведь надо идти.

И она ответила:

– Да, Андрюша, иди!

И Потапов пошел – в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастерке и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице – на втором году хорошо подготовленной войны еще не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант – и так попал он в третий раз.

Он прошел каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек («вежливый, но сволочь»), прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора?

Схема эта когда-то была опубликована, и Потапов, не колеблясь, начертил ее. Об этом он сам же потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.

Это и называлось в его деле – выдачей тайны ДнепроГЭСа.

Однако, в дело не было включено дальнейшее: неизвестный русский, удостоверив таким образом личность Потапова, предложил ему подписать добровольное изъявление готовности восстанавливать ДнепроГЭС – и тотчас получить освобождение из лагеря, продуктовые карточки, деньги и любимую работу.

Над этим заманчивым подложенным ему листом тяжелая дума прошла по многоморщинному лицу робота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых слов, никак не претендуя стать посмертно героем Советского Союза, – Потапов своим южным говорком скромно ответил:

– Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал. А если это подпишу – вроде противоречие, а?

Так мягко, не театрально, Потапов предпочел смерть благополучию.

– Что ж, я уважаю ваши убеждения, – ответил неизвестный русский и вернул Потапова в каннибальский лагерь.

Вот за это самое советский трибунал Потапова уже не судил и дал только десять лет.

Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление подписал и пошел работать к немцам – и ему тоже трибунал дал десять лет.

Это был почерк Сталина! – то слепородное уравнивание друзей и врагов, которое

выделяло его изо всей человеческой истории!

И еще за то не судил трибунал Потапова, что в сорок пятом году, посаженный на советский танк десанником, он в тех же своих надколотых и подвязанных очечках с ав-томатом ворвался в Берлин.

Так Потапов легко отделался, получив только десять и пять по рогам.

\*\*\*

Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и взлез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему предстояло выполнить ежедневное акробатическое упражнение: застелить постель без помятостей, стоя на ней ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил портсигар из темно-красной прозрачной пластмассы, наполненный впритирочку в один слой двенадцатью папиросами «Беломорканал» и перевитый полоской простой бумаги, на которой чертежным шрифтом было выведено:

*Вот как убил он десять лет,  
Утрата жизни лучший цвет.*

Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей шарашке совмещал в себе способности к мастерским изделиям и к цитатам из «Евгения Онегина», вынесенным еще из гимназии.

– Андреич! – свесился Глеб головой вниз.

Потапов уже кончил пить чай, развернул газету и читал ее, не ложась, чтоб не мять койку.

– Ну, что вам? – буркнул он.

– Ведь это ваша работа?

– Не знаю. А вы нашли? – он старался не улыбаться.

– Андре-еич! – тянул Нержин.

Лукаво-добрая морщинистость углубилась, умножилась на лице Потапова.

Поправив очки, он отозвался:

– Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоем в камере, вынося, вы ж понимаете, парашу по четным числам, а он по нечетным, и обучал его русскому языку по «Тюремным правилам» на стене, – я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба – у него было все начисто обрезано, – и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.

Голос Потапова по «Классификации голосов» был определен как «глухой с потрескиванием».

Все так же свесясь вниз головой, Нержин приязненно смотрел на грубовато высеченное лицо Потапова. В очках он казался не старше своих сорока пяти лет и имел еще вид даже напористый. Но когда он очки снимал – обнажались глубокие темные глазные впадины, чуть ли не как у мертвеца.

– Но мне неловко, Андреич. Ведь я вам ничего подобного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как вы могли запомнить мой день рождения?

– Ку-ку, – ответил Потапов. – А какие ж еще знаменательные даты остались в нашей жизни?

Они вздохнули.

– Чаю хотите? – предложил Потапов. – У меня особая заварка.

– Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.

– Здорово! – обрадовался Потапов. – Со старушкой?

– Ага.

– Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом!

– А какое право имеет один человек издеваться над другим?..

– Что в газете, Андреич? – спросил Нержин.

Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецей, посмотрел вверх на свесившегося Нержина:

*Британской музы небылицы  
Тревожат сон отроковицы.*

Эти наг-ле-цы утверждают, что...

Тому уже шел четвертый год, как Нержин и Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполненной, даже в июльские дни полутемной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пестрые жизни и непохожие пути. Очередной тогдашний поток был – из Европы. Проходили камеру новички, еще уберегшие крошки европейской свободы. Проходили камеру ядреные русские пленники, едва успевшие сменить германский плен на отечественную тюрьму. Проходили камеру битые каленые лагерники, пересылаемые из пещер ГУЛага на оазисы шарашек. Войдя в камеру, Нержин вполз черным лазом под нары по-пластунски (так они были низки), и там, на грязном асфальтовом полу, еще не разглядысь в темноте, весело спросил:

– Кто последний, друзья?

И глухой надтреснутый голос ответил ему:

– Ку-ку! За мной будете.

Потом день ото дня, по мере того, как из камеры выхватывали на этап, они передвигались под нарами «от параша к окну», и на третьей неделе перешли назад «от окна к параше», но уже на нары. И позже по деревянным нарам двигались снова к окну. Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов.

Там-то, в затаившееся многомесячное размышление после суда, Потапов признался Нержину, что отроду бы он не заинтересовался политикой, если б сама политика не стала драть и ломать ему бока.

Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впервые стал недоуменным, что, как известно, противопоказано роботам. Нет, он по-прежнему не раскаивался, что отказался от немецких хлебов, он не жалел трех лет своих, погибших в голодном смертном плену. И по-прежнему он считал исключенным представлять наши внутренние неурядицы на суд иностранцев.

Но искра сомнения была заронена в него и затлелась.

Недоуменный робот впервые спросил: а на черта, собственно, строился ДнепроГЭС?..

## 31

Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы, со стоянием зэков на морозе, перегонном их с места на место и пересчетом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам, – здесь, на шарашке, проходила быстро и безболезненно: зэки пили чай у своих тумбочек, двое дежурных офицеров – сменный и заступающий, входили в комнату, зэки вставали (а иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы.

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям лубянской выучки. Вместе с Наделашиним он тоже был прислан в Марфино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков шарашки помнили их обоих по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым стертым ступенькам в междуэтажье четвертого

и пятого этажа (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключенных центральной тюрьмы: монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Кутепова, Местоблюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнева, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-известных ученых и едва вылезавших из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жен, потом их дочерей); подводили к женщине в мундире с Красной Звездой на груди, и у нее в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки как при воздушном полете в цирке; вели долгими-долгими коридорами лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов.

Но как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под срослых густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влек его, в задышке, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шел всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звездочки на погонах.

Наделашин объявил: едушим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался легкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

– И совсем не возите, чем такое говно, как «Кубанские казаки».

Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

– Все, в личное дело записано.

Хоробров с подергиванием верхней губы ответил:

– Да драть их вперегреб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

С верхней койки свесив еще голые волосатые длинные ноги, непричесанный и в белье, крикнул Двоетесов с хулиганским хрипом:

– Младший лейтенант! А что с елкой? Будет елка или нет?

– Будет елка! – ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость. – Вот здесь, в полукруглой, поставим.

– Так можно игрушки делать? – закричал с другой верхней койки веселый Руська. Он сидел там, наверху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой, она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно.

– Об этом спросим, указаний нет.

– Какие ж вам указания?

– Какая ж елка без игрушек?.. Ха-ха-ха!

– Друзья! Делаем игрушки!

– Спокойно, парниша! А как насчет кипятка?

– Министр обеспечит?

Комната весело гудела, обсуждая елку. Дежурные офицеры уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вятским говором:

– Причем доложите там, чтоб елку нам оставили до православного Рождества! Елка – это Рождество, а не новый год!

Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли. Говорили почти все сразу.

Хоробров еще не досказал дежурным и теперь молча, энергично, высказывал кому-то невидимому, двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в

тюрьме из духа противоречия стал их праздновать.

По крайней мере эти дни не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом. А на октябрьскую и на первое мая он придумывал себе стирку или шитье.

Сосед Абрамсон допил чай, утерся, протер вспотевшие очки в квадратной пластмассовой оправе и сказал Хороброву:

– Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся.

Хоробров очнулся от невидимого спора, резко оглянулся на Абрамсона, будто укушенный:

– Это – старая заповедь, гиблого вашего поколения. Были вы смиренные, всех вас и переморили.

Упрек был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Абрамсоном, устраивали на Воркуте забастовку и голодовку. Но конец был и у них тот же, все равно. А заповедь – сама распространилась. Реальное положение вещей.

– Будешь скандалить – ушлют, – только пожал плечами Абрамсон. – В каторжный лагерь какой-нибудь.

– А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его вперегреб, по крайней мере в веселую компанию попаду.

Может, хоть там свобода слова, стукачей нет.

Рубин, у которого чай еще был не допит, стоял со взъерошенной бородой около койки Потапова-Нержина и дружелюбно произносил на ее второй этаж:

– Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой несмышлениш пирронид...

– Я очень тронут, Левчик, но зачем...

Нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар. Бювар был арестантской частной работы, то есть самой старательной работы в мире – ведь арестанты никуда не спешат. В бордовом коленкоре изящно были размещены кармашки, застежки, кнопочки и пачки отличной трофейной немецкой бумаги. Все это было сделано, конечно, в казенное время и из казенного материала.

– ... К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносов...

– И желаю тебе... – большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой, – чтобы скептико-эклектические мозги твои осиял свет истины.

\*\*\*

– Ах, какой еще истины, старик! Разве кто-нибудь знает, что есть истина?.. – Глеб вздохнул. Лицо его, помолодевшее в предсвиданных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины. И волосы разваливались на две стороны.

На соседней верхней койке, над Пряничковым, плешивый полный инженер степенных лет использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув ее и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический звонок, он с досадой сложил газету как попало, заломавши углы:

– Да что это все, лети его мать, заладили про мировое господство, да про мировое господство?..

И оглянулся, куда бы поприличнее зашвырнуть газету.

Громадный Двоетесов, на другой стороне комнаты, уже натянув свой неряшливый комбинезон и выставив громадную же задницу, пока топтал и стелил под собою верхнюю постель, откликнулся басом:

– Кто заладил, Земеля?

– Да все они там.

– А ты к мировому господству не стремишься?

– Я-то? – удивился Земеля, как бы принимая вопрос всерьез. – Не-е-ет, – широко

улыбнулся он. – На хрена мне оно? Не стремлюсь. – И кряхтя стал слезать.

– Ну, тогда пойдем вкалывать! – решил Двоетесов и всю тушею своей гулко спрыгнул на пол. Он шел на воскресную работу непричесанный, неумытый и не достигнутый.

Звонок звенел продолжительно. Звенел, что поверка окончена и раскрыты «царские врата» на лестницу института, через которые зэки густой толпой успевали быстро выйти.

Большинство зэков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из «профессорской» камеры. Рубин, как всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил все недоеденное и недопитое в тумбочку (что-то там перевернулось) и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить ее так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.

А Нержин прилаживал маскарадный костюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные зэки ходили повседневно в хороших костюмах и пальто, ездили в них же и на свидания. Теперь для удобства охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы часовые на вышках ясно отличали зэков от вольных). На свидания же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки, могло статься, что и – конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним арестантам нравилось видеть себя хорошо одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платья мертвецов, но в комбинезонах на свидания наотрез не брали: родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме.

Отказаться же увидеть родственников – такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому – переодевались.

Полукруглая комната опустела. Остались двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и застланных больничным способом: с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Этот способ мог быть придуман только в казенной и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена изобретателя. Однако, так требовала инструкция тюремного санитарного надзора.

В комнате наступила хорошая, редкая здесь, тишина, которую не хотелось нарушать.

Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нержин, Хоробров, Абрамсон и лысенький конструктор.

Конструктор был из тех робких зэков, которые и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибалывал, специально запасаю от тюремного врача освобождением на выходной день, – и теперь на своей койке разложил множество рваных носков, нитки, самодельный картонный гриб, и, напрягши чело, соображал, с чего начинать.

Григорий Борисович Абрамсон, законно оттянувший уже одну десятку (не считая шести лет ссылки перед тем) и посаженный на вторую десятку, – не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить.

Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два, и все пойдет великолепно, и начнется всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пыльные воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья все не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. В долголетних тюрьмах, наблюдением и размышлением, Абрамсон пришел к обратному выводу: что человек по природе враждебен труду и ни за что бы не работал, если б не заставляла его палка или нужда. И хотя из соображений общих, соотнося с неутраченной и единственно-возможной коммунистической целью человечества, все эти усилия и даже воскресники были несомненно нужны, – сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички, – а это полные десять, и двенадцать, и пятнадцать изнурительных лет человеческой

жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье – это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.

Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лег под одеяло, обернулся конвертиком, протер очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраса какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности обернутую. Только смотреть на него со стороны – и то было уютно.

Хоробров, напротив, томился. В невеселом бездействии лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По характеру он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других.

Каждую субботу, по известному принципу пол-ной добровольности, всех заключенных, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье – и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме.

Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать воскресенье в закрытом теплом помещении, но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.

Решительно нечем было заняться! Все газеты, какие были, он прочел еще вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая – сборник статей маститых писателей. Хоробров поколебался, но все-таки открыл статью того Толстого, который, будь посовестливей, не посмел бы этой фамилией и подписываться. Статья была от июня сорок первого года, а в ней: «немецкие солдаты, гонимые террором и безумием, напоролись на границе на стену железа и огня». Хоробров шепотом выматерился, захлопнул и отложил. В какую б книгу он ни заглядывал, всегда ему попадало по больному месту, потому что все вокруг было больное место. На хорошо оборудованных подмосковных дачах эти властители умов слушали только радио и видели только свои цветники.

Полуграмотный колхозник знал о жизни больше них.

Остальные книги в кучке были художественные, но читать их было Хороброву так же мерзко. Одна – боевик «Далеко от Москвы», которой зачитывались теперь на воле. Но сколько-то прочтя вчера и сейчас попытавшись, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была – пирог без начинки, вытекшее яйцо, чучело убитой птицы: в ней говорилось о строительстве руками зэков, о лагерях – но нигде не названы были лагеря, и не сказано, что это – зэки, что им дают пайку и сажают в карцер, а подменили их комсомольцами, хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевленными. И тут же чувствовалось опытному читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть даже – был в лагере оперуполномоченным, но со стеклянными глазами брешет.

Те же три слова того же ругательства, хотя в другом порядке, легли привычно, и Хоробров откинул боевик.

Еще книга была – «Избранное» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то все-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Все, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война – писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдували они какие-то небылые конфликты – вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учете ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

Еще раз переставил Хоробров то же ругательство – и опять легло.

И еще была книга на табуретке – «Американские рассказы», прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор: в каждом рассказе обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядоносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы еще не разбежались или не перевешались.

Нечего было читать!

Хоробров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал ее разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папироса, выкуренная лежа – на своей полоске нар, на своей вагонке, – неторопливая папироса со взором, уставленным в потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего.

Но лысый конструктор не курил и не любил дыму, а Абрамсон, хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. В тюрьме усвоив прочно, что свобода начинается с уважения прав других, Хоробров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом он увидел толстенную книгу в руках Абрамсона и сразу же определил, что такой книги в тюремной библиотеке нет, значит, она с воли, а оттуда плохую не попросят.

Но Хоробров не спросил вслух, как фраер: «Что читаешь?» или «Откуда взял?» (ответ Абрамсона мог услышать конструктор или Нержин). Он подошел к Абрамсону вплотную и сказал тихо:

– Григорий Борисыч. Дай на оголовочек зирнуть.

– Ну, зирни, – нехотя позволил Абрамсон.

Хоробров раскрыл титульный лист и прочел, потрясенный: «Граф Монте Кристо».

Он только свистнул.

– Борисыч, – ласково спросил он. – За тобой никого? Я – не успею?

Абрамсон снял очки и подумал.

– Подывымось. А ты меня сегодня подстрижешь?

Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой.

– А у кого ножницы возьмем?

– У Зяблика достану.

– Ну, так подстригу.

– Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.

Заметив, что Абрамсон читал на сто десятой, Хоробров уже совсем в другом, веселом настроении вышел курить в коридор.

А Глеб все больше наполнялся праздничным чувством. Где-то – наверно, в студенческом городке на Стромынке, этот последний час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить (бумажку с собой взять нельзя), и только пом-нить: восемь пунктов, восемь – о том, что возможен отъезд; о том, что срок не кончится на сроке – еще будет ссылка; о том, что...

Он сбегал в каптерку, разгладил манишку. Манишка была изобретение Руськи Доронина и принята многими. Это был белый лоскуток (от простыни, разодранной на шестнадцать частей, но каптер этого не знал) с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распах комбинезона покрыть нижнюю сорочку с черным штампом « МГБ-Спецтюрьма №1 ». И еще были две тесемки, которые перебрасывались на спину и там завязывались.

Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия.



Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно же отличал его дважды захлестнутый вокруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже отчасти похожий на теплый женский платок.

Однако, этот плед и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и еще тот едва голубоватый свет выцветших глаз, который дается только абстрактным умам, – все это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на Архимеда.

В Марфино Челнов был прислан для разработки математических оснований абсолютного шифратора, то есть, прибора, который своим механическим вращением мог бы обеспечить включение и переключение множества реле, так запутывающих порядок посылки прямоугольных импульсов изуродованной речи, чтобы даже сотни людей, поставив аналогичные приборы, не могли бы расшифровать разговора, идущего по проводам.

В конструкторском бюро своим чередом шли поиски конструктивного решения подобного шифратора. Этим занимались все конструкторы, кроме Сологодина.

Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут, Сологдин сразу же заявил всем, что память его ослаблена длительным голоданием, способности притуплены, да и от рождения ограничены, и что выполнять он в состоянии только подсобную работу. Так смело он мог сыграть потому, что на Инте был не на общих, а на хорошей инженерной должности и не боялся возврата туда.

(Именно поэтому он на шарашке в служебных разговорах с начальством мог разрешить себе подыскивать заменители иностранных слов, даже таких, как «инженер» и «металл», заставляя ждать, пока придумает. Это было бы невозможно, если б он стремился выслужиться или хотя бы получить повышенную категорию питания.) Его, однако, не отослали, – на пробу оставили. Из главного русла работы, где царили напряжение, спешка, нервность, Сологдин таким образом выбился в тихое боковое русло. Там, без почета и без укора, он контролировался начальством слабо, располагал достаточным свободным временем и – безнадзорно, тайно, по вечерам, – стал по своему разумению разрабатывать конструкцию абсолютного шифратора.

Он считал, что большие идеи могут родиться только озарением одинокого ума.

И действительно, за последние полгода он нашел такое решение, которое никак не давалось десяти инженерам, специально на то назначенным, но непрерывно погоняемым и дергаемым. (А уши его были открыты, он слышал, как ставится задача, и в чем их неуспех.) Два дня назад Сологдин дал свою работу на просмотр профессору Челнову – тоже неофициально. Теперь он поднимался по лестнице рядом с профессором, почтительно поддерживая его под локоть и ожидая приговора своей работе.

Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.

Тот недолгий путь, который они прошли по коридорам и лестницам, он ни слова не проронил об оценке, жадно ожидаемой Сологдиным, а беззаботно рассказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным. После того, как Рубина не пустили «на дрова», он читал Челнову свое стихотворение на библейский сюжет.

В ритме стихотворения всего один-два срыва, есть свежие рифмы, например «Озирис – озарись», и вообще стихотворение надо признать недурным. По содержанию же – это баллада о том, как Моисей сорок лет вел евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обетованную. Рубин особенно подчеркивал слушателю, что сорока лет ведь еще нет!

Что же ответил Челнов?

Челнов обратил внимание Рубина на географию моисеева перехода: от Нила до Иерусалима евреям никак не нужно было идти более четырехсот километров и, значит, даже отдыхая по субботам, свободно можно было дойти за три недели!

Не следует ли предположить поэтому, что остальные сорок лет Моисей не вел, а водил их по Аравийской пустыне, чтобы вымерли все, кто помнил сытое египетское рабство, а уцелевшие лучше бы оценили тот скромный рай, который Моисей мог им предложить?..

У вольнонаемного дежурного по институту перед дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял ключ от своей комнаты. Такое доверие оказывалось еще только Железной Маске – и больше никому из эков. Никакой эк не имел права ни секунды оставаться в своем рабочем помещении без присмотра со стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что эту безнадзорную секунду заключенный обязательно употребит на взлом железного шкафа при помощи карандаша и фотографирование секретных документов с помощью пуговицы от штанов.

Но Челнов работал в комнате, где стоял только несекретный шкаф и два голых стола. И вот решились (согласовав, разумеется, в министерстве) санкционировать выдачу ключа лично профессору Челнову. С тех пор его комната стала предметом постоянных волнений оперуполномоченного института майора Шикина. В часы, когда арестантов запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот высокооплачиваемый товарищ с ненормированным рабочим днем собственноручно приходил в комнату профессора, выстукивал стены, плясал на половицах, заглядывал в пыльную промежность за шкафом и хмуро качал головой.

Впрочем, получение ключа – это было еще не все. После четырех-пяти дверей третьего этажа в коридоре находился контрольный пост Совсекретного отдела. Контрольный пост был – тумбочка и стул около нее, а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы подметать пол или кипятить чай (на то были другие) – уборщица особого назначения: проверять пропуска у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпечатанные в главной типографии министерства, были трех родов: постоянные, разовые и недельные по образцам, разработанным майором Шикиным (ему же принадлежала и сама идея сделать тупик коридора Совсекретным).

Работа контрольного поста не была легкой: люди проходили редко, но вязать носки категорически было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неоднократно изустными указаниями майора товарища Шикина. И уборщицы (их сменялось в сутки две) в продолжение дежурства мучительно боролись со сном. Самому полковнику Яконову так же очень неудобен был этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали подписывать пропуска.

Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть оплату этих уборщиц, – вместо трех дворников, положенных по штату, держали одного, того самого Спиридона.

Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас на посту женщина звалась Марья Ивановна, а она пропускала этого седого старика много раз на дню, – теперь она, вздрогнув, спросила:

– Пропуск.

И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный.

Миновав пост, еще пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты Железной Маски, они отперли дверь Челнова.

Тут была уютная комнатка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкroила в зону, охраняемую автоматным огнем. Удлиненные высокие овершья лип были все в том же щедrom инее.

Мутно-белое небо осеняло землю.

Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от времени, а сейчас убеленный тоже, двухэтажный с кораблевидной кровлей старинный домик когда-то жившего подле семинарии архиерея, по которому и подходящая сюда дорога называлась Владыкинской. Дальше

проглядывали крыши деревушки Марфино, потом разворачивалось поле, а еще дальше, на линии железной дороги, в мутности поднимался хорошо заметный ярко-серебряный парок паровоза, идущего из Ленинграда.

Но Сологдин и не посмотрел в окно. Не следуя приглашению сестры, гибкий, чувствуя под собой твердые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.

Челнов попросил открыть форточку. Сел в жесткое кресло с прямой высокой спинкой; поправил плед на плече; открыл тезисы, написанные на листке из блокнота; взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копыю; строго посмотрел на Сологдина – и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между ними.

Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате.

Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть.

Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провел теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далекий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:

- продумать, как сделать ее нечувствительной к импульсам неполной энергии;
- уточнить значения наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов.

– И потом... – Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда, – потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший – есть уже система.

Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос еще хаотически менялся.

Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий.

Еще при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу.

... Он происходил из старинной дворянской семьи, уже и без того таявшей как восковая, а в полуме революции разбрызнутой без остатка – одних расстреляли, другие эмигрировали, третьи схоронились, даже кожу се-бе сменив. Юношей Сологдин долго колебался, не понимая сам, как ему отнестись к революции. Он ненавидел ее как бунт раззадоренной завистливой черни, но в ее беспощадной прямолинейности и не устающей энергии он чувствовал себе родное.

С древнерусским пыланием глаз он молился в угасающих московских часовенках.

В юнгштурмовке, как все носили, с пролетарски расстегнутым воротом поступал в комсомольскую ячейку. Кто мог бы сказать ему верно: искать ли обрез на эту шайку или пробиваться в комсомольские главари? Он был искренне набожен и захваченно тщеславен. Он был жертвенен, но и сребролюбив. Где то сердце молодое, которому не хочется земных благ? Он разделял убеждение безбожника Демокрита: «Счастлив тот, кто имеет состояние и ум.» Ум у него всегда был, – не было состояния.

И восемнадцати лет отроду (а был это последний год НЭПа!) Сологдин положил себе как первую несомненную задачу: приобрести миллион, именно, обязательно и точно – миллион, во что бы то ни стало – миллион. Дело даже не в богатстве, не в свободных средствах: нажить миллион – это экзамен на делового человека, это докажет, что ты не пустой фантазер, а дальше можно ставить себе следующие деловые задачи.

Он предполагал найти этот путь к миллиону через какое-нибудь ослепительное изобретение, но не отказался бы и от другого остроумного пути, пусть не инженерного, зато короче. Однако, нельзя было выискать более враждебной обстановки для задачи о миллионе, чем сталинская пятилетка. Из конструкторской доски выколачивал Сологдин только

хлебную карточку да жалкую зарплату. И если бы завтра он предложил государству изумительный вездеход или выгодную реконструкцию всей промышленности, – это не принесло бы ему ни миллиона, ни славы, а пожалуй даже – недоверие и травлю.

Но дальше все решилось тем, что Сологдин по размеру стал больше стандартной ячейки невода, и захвачен был в одну из ловель, получил первый срок, а в лагере еще и второй.

Уже двенадцать лет он не выходил из лагеря. Он должен был забросить и забыть задачу о миллионе. Но вот каким странным петлистым путем снова был выведен к той же башне и дрожащими руками уже подбирал из связки ключ к ее стальной двери!

Кому? Кому?? – неужели ему этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова?!..

Челнов свернул листок тезисов вчетверо, потом ввосьмеро:

– Как видите, работы еще тут немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит – так и кусок сталинской премии.

Челнов улыбнулся. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица.

Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о мерзкой гадине – и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без надежды.

Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:

– Владимир Эрастович! Вы дали мне опору и уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я – ваш должник!

Но рассеянная улыбка уже играла на его губах. Возвращая Сологдину рулон, профессор еще вспомнил:

– Однако, я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но вчера случилось так, что он вошел в комнату в мое отсутствие, развернул по своему обычаю – и, конечно, сразу понял, о чем речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито...

Улыбка сошла с губ Сологодина, он нахмурился.

– Это так существенно для вас? Но почему? Днем раньше, днем позже...

Сологдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону?

– Как вам сказать, Владимир Эрастович... Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность?.. Ведь это – не мост, не кран, не станок. Это заказ – не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только... для проверки своих сил. Для себя.

Для себя.

Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще это была высшая форма исследования.

– Но в данных обстоятельствах... это не слишком большая роскошь для вас?

Челнов смотрел бледными спокойными глазами.

– Простите меня, – подобрался и исправился Сологдин. – Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чем. Я вам благодарен и благодарен!

Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном подмышкой ушел.

В эту комнату он только что вошел еще свободным претендентом.

И вот выходил из нее – уже обремененным победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду.

А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном остроконечном колпачке.

Все с тем же ликованием, с несоразмерной силою распахнув дверь, Сологдин вошел в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдья в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна.

– Вы одна, Лариса Николаевна? – удивился Сологдин, проходя через комнату быстрым шагом.

Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет тридцати, обернулась от окна, где стоял ее чертежный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.

– Дмитрий Александрович? А я думала, мне целый день скучать одной.

Сологдин обежал взглядом ее избыточную фигуру в ярко-зеленом шерстяном костюме – вязаной юбке и вязаной кофте, четкой походкой прошел, не отвечая, к своему столу, и сразу, еще не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертеж к подвижной наклонной доске «кульмана».

Конструкторское бюро – просторная светлая комната третьего этажа с большими окнами на юг, была, вперемежку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закрепленных то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развернут гак, чтобы отгораживать Сологдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи.

Наконец, Сологдин сухо спросил:

– Почему ж никого нет?

– Я хотела об этом узнать у вас, – услышал он певучий ответ.

Быстрым движением отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой:

– У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных зэ-ка, зэ-ка, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардовича – латышское Рождество, я – здесь, а Иван Иванович отпросился штопать носки. Но мне, встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать вольных – то есть, товарищей, значительно более ответственных, чем мы?

Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой.

– Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антон Николаичем – и конструкторское бюро сегодня выходное? А я, как на зло, дежурная...

– Выходное? – нахмурился Сологдин. – По какому же случаю?

– Как по какому? По случаю воскресенья.

– С каких это пор у нас воскресенье – и вдруг выходной?

– Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы.

Сологдин резко повернулся в сторону Еминой.

– У нас нет срочной работы? – едва ли не гневно воскликнул он. – Ничего себе! У нас нет срочной работы! – Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина. – А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы все шестнадцать будете сидеть здесь – и день и ночь копировать? Хотите?

Эти «все шестнадцать» он почти прокричал со злорадством.

Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к ее покойной крупной красоте. Сегодня она еще даже не подняла кальки, прикрывавшей чуть наклонный ее рабочий стол, так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно облокотясь о стол (обтягивающий вязанный рукав очень передавал полноту ее предплечья), Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами:

– Бож-же упаси! И вы способны на такое злодейство?

Глядя холодно, Сологдин спросил:

– Зачем вы употребляете слово «Боже»? Ведь вы – жена чекиста?

– Что за важность? – удивилась Емина. – Мы и куличи на Пасху пекем, так что такого?

– Ку-ли-чи?!

– А то!

Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зеленый ее вязаного костюма был резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облекая, выявляли раздобрившее тело. На груди кофточка была расстегнута, и воротник легкой белой блузки выложен поверх.

Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал:

– Но ведь ваш муж, вы говорили, – подполковник МВД?

– Так то муж!.. А мы с мамой – что? бабы! – обезоруживающе улыбалась Емина. Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом вокруг головы. Она улыбалась – и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской.

Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол, – так, чтобы не видеть Еминой, и шурясь, стал ог-лядывать наколотый чертеж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа, они как будто еще держались на его плечах, на груди, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности.

Когда-то же надо начинать настоящую большую Жизнь.

Именно теперь.

Дуга зенита...

Хотя застряло какое-то сомнение...

А вот какое. Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов были обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьем, хотя нужно будет, разумеется, везде досчитать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порок работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный «последний вершок». Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чем он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.

Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Еминой и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению – копировщица при нем, она по общественному положению была дама из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность.

Сологдин смотрел на чертеж, а Емина, все так же чуть покачиваясь на локте, – на него. И вдруг прозвучал вопрос:

– Дмитрий Александрович! А – вам? Кто вам штопает носки?

У Сологодина поднялись брови. Он даже не понял.

– Носки? – Он все так же смотрел на чертеж. – А-а. Иван Иванович носит носки потому, что он еще новичок, трех лет не сидит. Носки – это отрывка так называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово) ...капитализма. Носков я просто не ношу. – И поставил палочку на белом листе.

– Но тогда... что же вы носите?

– Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна, – не мог не улыбнуться Сологдин. – Я ношу гордость нашего русского убранства – портянки!

Он произнес это слово смачно, отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Емину.

– Но ведь их... солдаты носят?

– Кроме солдат еще два разряда: заключенные и колхозники.  
– И потом их тоже надо... стирать, латать?  
– Вы ошибаетесь! Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, от начальства новые получают.

– Неужели? Серьезно? – Емина смотрела почти испуганно.

Сологдин молодо беспечно расхохотался.

– Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки? Вот вы, прозрачно-обводчица МГБ – сколько вы получаете в месяц?

– Полторы тысячи.

– Та-ак! – торжествующе воскликнул Сологдин. – Полторы тысячи! А я, зиждитель-(на Языке Предельной Ясности это значило – инженер) – тридцать рубляшек! Не разгонишься? На носки?

Глаза Сологдина весело лучились. Это совсем не относилось к Еминой, но она рдела.

Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены – принадлежностью квартиры. Придя с работы он долго, с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приемник (приемники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки). Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за «Динамо», вызывал в нем возбуждение и даже страсть. Во всем он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин ее окружения досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать.

Сологдин опять устался в свой чертеж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, еще и еще раз на его усы, на бородку, на сочные губы.

Об эту бородку хотелось уколоться и потереться.

– Дмитрий Александрович! – опять прервала она молчание. – Я вам очень мешаю?

– Да есть немножко... – ответил Сологдин. Последние вершки требовали ненарушимой углубленной мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертеж, развернулся к столу, тем самым и к Еминой, и стал разбирать незначительные бумаги.

Слышно было, как мелко тикали часы у нее на руке.

По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней Семерки раздался немного шепелявый голос Мамурина: «Ну, скоро там трансформатор?» и раздраженный выкрик Маркушева: «Не надо было им давать, Яков Иваныч!..»

Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологдина.

А он – читал.

– Каждый день! каждый час! – почти шептала она, благоговейно. – В тюрьме и так заниматься!.. Вы – необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!

На это замечание Сологдин сразу поднял голову.

– Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в это не верю. Обязательно еще набавят.

У меня пройдет в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно.

– У вас все по системе!

– На свободе или в тюрьме – какая разница? – мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму. Из лагерных лет я семь провел на баланде, моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать...

Но кому это было доступно из непереживших?

Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И кум-старший лейтенант Камышан, одиннадцать месяцев крестивший Сологдина на второй срок, на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом (он хорошо сидел в седле) – в этот день бил рукояткой хлыста.

Шла война. Даже на воле нечего было есть. А – в лагере? Нет, а – в Горной закрытке?

Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку все равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обреченное распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг – разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он – пошевелился...

– Расскажите!..

– Нет, Лариса Николавна! Это решительно невозможно описать! – легко, радостно уверял теперь Сологдин.

И оттуда! – и оттуда! – о, сила обновления жизни! – через годы неволи, через годы работы! – к чему он взлетел?!

– Расскажите! – клянчила раскормленная женщина все так же снизу вверх, со скрещенных рук.

Разве только вот что было ей доступно понять: в той истории замешалась и женщина. Выбор Камышана ускорился оттого, что он приревновал Сологдина к медицинской сестре, зэчке. И приревновал не зря. Ту медсестру Сологдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, получив из-за нее срок.

Было и сходство той медсестры и этой копировщицы: они обе – колосились. Женщины маленькие и худенькие были для Сологдина уроды, недоразумение природы.

Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бес-цельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Сологдину крутой венец могучих кос.

– Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович...

– В чем же?

– Один раз я стояла у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо... Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно... И в другой раз...

– ... Вы опять совершенно случайно скосили глаза...?

– И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое...

– Ах, вы даже различили, что – то же самое?! И еще в третий раз?

Было?

– Было...

– Та-ак... Если, Лариса Николавна, это будет продолжаться, мне придется отказаться от ваших услуг как прозрачно-обводчицы. А жаль, вы неплохо чертите.

– Но это было давно! С тех пор вы не писали.

– Однако, вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди?

– Почему – Шикиниди?

– Ну, Шикину. Донесли?

– Как вы могли это подумать!

– А тут и думать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями? – Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе. – Ведь поручал? Говорите честно!

– Да... поручал...

– И сколько вы написали доносов?

– Дмитрий Александрович! Я, наоборот, – самые лучшие характеристики!

– Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение мое остается в силе.

Очевидно, здесь непроступный случай чисто-женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене.

– Вот это я и хотела спросить: у вас есть жена? Она ждет вас? Вы пишете ей такие длинные письма?

– Жена у меня есть, – медленно углубленно ответил Сологдин, – но так, что как будто ее и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал – нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николавна, это очень трудное

искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма – единственная связь, через которую я держу ее вот уже двенадцать лет.

Емина подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологодина и оперлась так, обжав ладонями свое бесстрашное лицо.

– Вы уверены, что держите? А – зачем, Дмитрий Александрович, зачем?

Двенадцать лет прошло, да пять еще осталось – семнадцать! Вы отнимаете у нее молодость! Зачем? Дайте ей жить!

Голос Сологодина звучал торжественно:

– Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это – подруги викингов, это – светлоликие Изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать, вы жили в пресном благополучии.

Она жила среди чужаков, среди врагов.

– Дайте ей жить! – настаивала Лариса Николаевна.

Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какую она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она сидела, прильнув к столу Сологодина, слышно дышала, и – в заботе о неведомой ей жене Сологодина? – разгоряченное лицо ее стало почти деревенское.

Сологдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин: острое чутье на мужской взлет, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждой. Ничего не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы – но чувствовала все. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима.

Сологдин покосился в глубину ее разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе.

– Дмитрий Александрович! И вот это. Я уже много недель мучаюсь – что за палочки вы ставите? А потом через несколько дней зачеркиваете? Что это значит?

– Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности. – Он взял в руки белый лист. – Но извольте: палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи.

Счет этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово «капитализм», которое я не нашелся сразу заменить «толстосумством», и за слово «шпионить», которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать», – я и поставил себе две палочки.

– А на розовом? – добивалась она.

– А вы заметили, что и на розовом?

– И даже чаще, чем на белом. Это тоже – мера вашего несовершенства?

– Тоже, – отрывисто сказал Сологдин. – На розовом я ставлю себе пеневые, по-вашему будет – штрафные, палочки и потом наказываю себя по их числу. Отрабатываю. На дровах.

– Штрафные – за что? – тихо спросила она. Так и должно было быть!

Раз он вышел на зенитную дугу – в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или все отнять, или все дать, у судьбы так.

– А зачем вам? – еще строго спрашивал он.

– За что?.. – тихо, тупо повторяла Лариса.

Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание – они в чем-то сходятся.

– А вы замечали, когда я их ставлю?

– Замечала, – как выдох ответила Лариса.

Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, с выбитым номером комнаты лежал на ее застилающей кальке.

И – большой зеленый шерстяной теплый ком дышал перед Сологдиным.

Ждал распоряжения.

Сологдин сощурился и скомандовал:

– Пойди запри дверь! Быстро!

Лариса отпрянула от стола, резко встала – и с грохотом упал ее стул.

Что он наделал, зарвавшийся раб! Она идет жаловаться?  
Она сгребла ключ и с перевалкою пошла запирать.  
Торопливой рукой Сологдин поставил на розовом ли-сте пять палочек кряду.  
Больше не успел.

## 34

Никому не хотелось работать в воскресенье – и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера.

Но воскресный день выдался тревожной буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснеженным гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института.

Изо всех трех стали выходить большие чины, блеща золотом погонов, – и не медля, и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж, в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронесся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе.

Правда была наполовину: приехал только замминистра Селивановский и с ним четыре генерала.

Но случилось небывалое – инженер-полковника Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив) звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет, – заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нем португею и цепляясь за ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из Акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтоб успеть отстоять интересы возглавляемой им внутри-институтской оппозиции: Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Пряничкова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние вокодера не так безнадежно, как, скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройтман был уже лауреатом сталинской премии – и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод.

Его стали слушать до десятка прехавших, из которых Двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако, вызванный Осколуповым желтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Невдолге прибыл и Яконов – с подведенными впальми глазами, с лицом, побелевшим до голубизны, – и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие.

И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института – оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость – не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. (Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе – присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно.) Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя

он оставил телефоны и побегал по лабораториям, шепотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придавал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбежать в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина и из вольных больше не было сегодня никого.

Начальники лабораторий в свою очередь ничего не объявили вслух, – ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства, но обошли все столы и стыдливым шепотом предупреждали каждого в отдельности.

Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в Семерку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в Акустическую: чтоб избавиться еще от этой новой заботы, Яконов порекомендовал Акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина.

– Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека? – спросил по дороге Селивановский Ройтмана.

Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении пять минут назад: подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить.

– Видите ли, – говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, – у нас ведь есть прибор видимой речи – ВИР, печатающий так называемые звуковиды, и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин.

– Заключенный?

– Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковиды индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...

– Гм... Придется этого филолога еще согласовывать с Абакумовым, – покачал головой Селивановский.

– В смысле секретности?

– Да.

В Акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаемные девушки сбились в кучку и шепотом сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на ее счастье, на работе не было – она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка.

Нержин чувствовал себя именинником, в Акустическую заходил уже третий раз, без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка.

Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алеше Карамазове – одновременно в шинели юнкера отстаивающем Перекоп и в шинели красноармейца берущем Перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя тоже, что ждать и верить сорок лет – разумно, нужно, необходимо.

Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли, – уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники – друзьями.

Итак, никто еще в Акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Пряничков, уже одолевший в себе воспоминание о ночной

Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая:

*Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,  
Бендзи – бендзи – бендзи – ба – ар...*

И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал:

– На этих звуковидах речь развертывается сразу в трех измерениях: по частоте – поперек ленты, по времени – вдоль ленты, по амплитуде – густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть все сказанное.

Вот... – он вел Селивановского вглубь лаборатории, – ... прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории (Ройтман и сам уже забывал, что прибор ткнули из американского журнала), а вот... – он осторожно развернул замминистра к окну, – ... кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. (Рубин встал и молча поклонился.) Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довел Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только экам, уже поняли, что сейчас будет смотр – как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из «эталонных» дикторов – а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплющить, а сплющить нельзя – это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

И обо всем этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

– Если – ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.»

А Нержин шепнул:

– Если фраза его – угадывай по звукам. Глажу волосы – верно, поправляю галстук – неверно.

И тут-то Рубин встал и молча поклонился.

Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку:

– Вот нам сейчас Лев Григорьич и покажет свое умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб Викентьич... прочтет в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР ее запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.

Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом:

– Фразу – вы придумаете? – спросил он строго.

– Нет, нет, – отводя глаза, вежливо ответил Селивановский, – вы что-нибудь там сами сочините.

Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман.

«Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.»

– И это действительно так? – удивился Селивановский.

– Да.

– Читайте, пожалуйста.

Загудел ВИР. Нержин ушел в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных

полосок и мазаных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила работу и напряженно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиним.

Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.

– Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчетливо видно – два раза "р". В первом слове ударный звук "и" и перед ним смягченный "в" – здесь твердого быть и не может. Еще ранее – форманта "а", но следует помнить, что в первом предударном слоге как "а" произносится так же и "о". Зато "у" сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно "у". А за ним глухой взрывной, скорей всего "к", итак имеем:

«укови» или «укави». А вот твердое "в", оно заметно отличается от мягкого, нет в нем полоски свьше двух тысяч трехсот герц. «Вукови...» Затем новый звонкий твердый взрывок, на конце же – редуцированный гласный, это я могу принять за «ды». Итак, «вуковиды». Остается разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за "с", если бы смысл не подсказывал мне, что здесь – "з". Итак, первое слово – «звукониды»! Пойдем дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два "р" и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает», а раз множественное число, значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»... сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, для понта, и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы.

Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский пораженно шептал:

– Это удивительно... это удивительно...

Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрей, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками.

Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвертое.

Ройтман светился – не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.

И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый исподлобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: «Сам заправишь!»

– Последнее слово – «по телефону», это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и все.

– Поразительно! – повторял Селивановский. – Вас, простите, как по имени-отчеству?

– Лев Григорьич.

– Так вот, Лев Григорьич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидях?

– Мы называем это – индивидуальный речевой лад. Да! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.

– Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание.

И Шустерман вышел на цыпочках.

Испортился мотор у воронка, который имел наряд везти заключенных на свидание, и пока созванивались и выясняли, как быть, – вышла задержка.

Около одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из Акустической, пришел на шмон, – шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошманивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях – кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою шмона.

На самой этой черте у стены стоял подполковник Климентьев – весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его черных слитых усов и от черной головы сильно пахло одеколоном.

Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.

На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей – Красногубенький, и сразу спросил:

– В карманах – что?

Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом необычном для него шевиотовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лазить по карманам.

После пяти лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков, Нержину совсем не казалось, как кажется понову, что это – грубое насилие, что грязные пальцы шарят по израненному сердцу, – нет, его нарастающе-светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом.

Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них; поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними; проверил рубчики носового платка, не зашито ли что – и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и расстегнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух горстей провел сверху вниз по одной ноге Нержина, затем по другой. Когда Красногубенький присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравера-оформителя – и он догадался, почему тот так волнуется: в тюрьме гравер открыл в себе способность писать новеллы и писал их – о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибуналах. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там – кому их покажешь? Их и там надо прятать. Их и здесь не оставишь. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увезти с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочел и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв сильно подбодрил гравера.

Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла – как ему казалось, великолепная. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на которую новелла была вписана микроскопическим почерком, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что он съел новеллу – может быть мог и пронести?

Красногубенький сказал Нержину:

– Ботинки – снимите.

Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С

тем же невозмутимым лицом Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли что носки были в больших дырках, Красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано и не потребовал их снять.

Нержин обулся. Красногубенький закурил.

Подполковника косо передергивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей – арестанты сядут на голову и администрации тюрьмы. Климентьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придрататься и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, а даже как бы упивается им.

– Внимание! – сурово заговорил он, и семеро заключенных и семеро надзирателей повернулись в его сторону. – Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи – только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что все хорошо и ни в чем не нуждаетесь.

– О чем же говорить? – крикнул кто-то. – О политике?

Климентьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несурово.

– О своей вине, – мрачно посоветовал другой из арестантов. – О раскаянии.

– О следственном деле тоже нельзя, оно – секретное, – невозмутимо отклонил Климентьев. – Расспрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.

И Нержин, остававшийся вполне равнодушным и к шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти, – при запрещении поцелуев почувствовал темный взлет в глазах.

– Раз в год видимся... – хрипло выкрикнул он Климентьеву, и Климентьев обрадованно повернулся в его сторону, ожидая, что Нержин выпалит дальше.

Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас:

– Лишаю свидания!!

И задохнулся.

Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишить...

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость.

Старый арестант, он должен был быть господином своему гневу.

Не встретив бунта, Климентьев бесстрастно и точно довесил:

– В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения, – свидание немедленно прекращается.

– Но жена-то не знает! Она меня поцелует! – запальчиво сказал гравер.

– Родственники также будут предупреждены! – предусмотрел Климентьев.

– Никогда такого порядка не было!

– А теперь – будет.

(Глупцы! И глупо их возмущение – как будто он сам, а не свежая инструкция придумала этот порядок!) – Сколько времени свидание?

– А если мать придет – мать не пустите?

– Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.

– А дочка пяти лет?

– Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.

– А шестнадцати?

– Не пропустим. Еще вопросы? Начинаем посадку.

На выход!

Удивительно! – везли не в воронке, как все последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров.

Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в

гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имели вид не то боксеров в отставке, не то гангстеров. Очень хороши были на них пальто.

Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели.

Семеро заключенных поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.

Зашли четыре надзирателя в форме.

Шофер захлопнул дверцу и завел мотор.

Подполковник Климентьев сел в легковую.

## 36

К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было – он был в Семерке занят «венчанием» клиппера и вокодера (идея соединить эти две установки в одну родилась сегодня утром у корыстного Маркушева и была подхвачена многими, у каждого был на то свой особый расчет; сопротивлялись только Бобынин, Пряничков и Ройтман, но их не слушали).

А в кабинете сидели: Селивановский, генерал Бульбанюк от Рюмина, здешний марфинский лейтенант Смолосидов и заключенный Рубин.

Лейтенант Смолосидов был тяжелый человек. Даже веря, что в каждом живом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая – чуть старше радиомонтажника, получал он как последняя девченка – меньше двух тысяч в месяц, правда, еще на тысячу воровал из института и продавал на черном рынке дефицитные радиодетали, – но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим.

Вольные на шарашке боялись его – даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вообще был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно о его прошлой жизни, кроме трех боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну маршал Рокоссовский не произнес ни единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у маршала личным радистом.

И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с обжигающе-таинственной лентой, из канцелярии министра скомандовали:

Смолосидову.

Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:

– Вы – заключенный, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

«Я и сейчас коммунист!» – хотелось воскликнуть Рубину, но было унижительно доказывать это Бульбанюку.

– Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой. Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?

– Ясно, – отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты.

Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, еще не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание.

И в тишине кабинета прозвучал с легкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского.

Рубин впился в пеструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремленно смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

После слов:

– А кто такой ви? Назовите ваш фамилия, – Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нем самом давно не горят майорские звезды. Он поджег погасшую папиросу и коротко приказал:

– Так. Еще раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный – вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведется посильно поработать на старуху-Историю. Он снова – в строю! Он снова – на защите Мировой Революции!

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпер свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней.

Когда и как они распленились, эта самодовольная непробиваемая порода? – из лопуха ком-чванства, что ли? Какие были раньше живые сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь аппарат, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что объективно на данном перекрестке истории они представляют собою ее положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им – помочь!

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десятков жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать – идею.

Спасать – знамя. Служить передовому строю.

Лента кончилась.

Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал:

– Хорошо. Попробуем. Но если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?

Бульбанюк успокоил:

– Четверых мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд ли это они. А из министерства иностранных дел могли знать вот эти пять. Я не беру, конечно, Громько и еще кое-кого. Этим пять я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись, обвинить кого.

Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано:

1. Петров.

2. Сяговитый.

3. Володин.

4. Щевронок.

5. Заварзин.

Рубин прочел и хотел взять список себе.

– Нет-нет! – живо предупредил Селивановский. – Список будет у Смолосидова.

Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! – Сяговитый!

– Володин! – Щевронок! – Заварзин! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолетно отметил происхождение фамилий: «сяговитый» – далеко прыгающий, «щевронок» – жаворонок.

– Попрошу, – сухо сказал он, – от всех пятерых записать еще телефонные разговоры.

– Завтра вы их получите.

– Еще: проставьте около каждого возраст. – Рубин подумал. – И – какими языками владеет, перечислите.

– Да, – поддержал Селивановский, – я тоже подумал: почему он не перешел ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?

– Он мог поручить какому-нибудь простачку! – шлепнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.

– Такое – кому доверишь?..

– Вот это нам и надо поскорей узнать, – толковал Бульбанюк, – преступник среди этих пяти или нет? Если нет – мы еще пять возьмем, еще двадцать пять!

Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:

– Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.

– Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.

– Ее уже освобождают, – сказал Смолосидов.

Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова «когда?», чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь – на неделю и на две, а если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, если же спросить начальство «когда надо?» – скажут: «завтра к утру». Он осведомился:

– С кем еще я могу говорить об этой работе?

Селивановский переглянулся с Бульбанюком и ответил:

– Еще только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром.

Бульбанюк спросил:

– Вы мое предупреждение все помните? Повторить?

Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.

– Я должен идти думать, – сказал он, не обращаясь ни к кому.

Никто не возразил.

Рубин с затененным лицом вышел из кабинета, прошел мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт исследователя загорался в нем.

По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.

До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.

А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), фоноскопия. И создать ее придется в несколько дней.

Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.

На мягком сиденьи, опираясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчеркнуто-интеллигентским лицом, да еще в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.

– Вот, кажется, ко всему я привык, – негромко поделился с ним Нержин.

– Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы – ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю еще вот эта одна живая струнка, никак не отомрет – любовь к жене. Не могу, когда ее касаются. В год увидеться на полчаса – и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют, гады.

Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными даже когда он просто задумывался над физическими схемами.

– Вероятно, – ответил он, – есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.

Герасимович был на шарашке Марфино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.

Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание – слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы влить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.

Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель еще прежде того расписался на вахте за семь голов). Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там минуты), ушел на вахту – и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришепывая веселыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.

Глубокотайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света, – они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них все есть и им ничего не надо.

Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стелл – плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мертвого, а мертвый смотрел в Аид, смотрел не веселым и не грустным – прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, темно-кирпичное здание семинарии с шаровым темно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и еще выше – шестериком, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семерка, конструкторское бюро и кабинет Яконова – ровные ряды безоткрытых окон выглядели равномерно-бесстрастно, и окраинные москвичи и гуляющие Останкинского парка не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметенных страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и

докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах – о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание, – как эти женщины не знали друг о друге и как могло знать о них одно небо, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь себе потаенную привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьей.

Открыв темно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажженные в нерядовые минуты жизни.

И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль, – его телу, наслажденному необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать...

Чтобы время остановилось, а шел бы автобус, шел бы и шел, по этой оснеженной дороге с проложенными черными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавевших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.

Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год – на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.

Потом сразу пришла война.

И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши.

А у них – нет...

Один малышок хотел перебежать шоссе. Шофер резко вильнул, чтоб его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил рученку в синей варежке к покраснелому лицу.

И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе – тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И – поздно для ребенка...

Оставив слева Останкинский дворец, а справа – озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.

В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас – в серенькой методичности недель? В том, что забываешь: единственная жизнь, данная тебе на земле – изломана. И готов это простить, уже простил тупорылым. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню нервное и немаленькое белье.

Это все надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать

*Сижу за решеткой, в темнице сырой*

Или – отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу – почти и в тюрьме сидеть не надо, легко все вообразить. Но это – примитив. Только непрерывными бесконечными годами воспитывается подлинное ощущение тюрьмы.

Надя пишет в письме: «Когда ты вернешься...» В том и ужас, что возврата не будет. Вернуться-нельзя. За четырнадцать лет фронта и потом тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придет новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, прежняя жена увидит, что того, ее первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись, – того человека уже нет, он испарился – по молекулам.

Хорошо, если в новой, второй, жизни они еще раз полюбят друг друга.

А если нет?..

Да через столько лет захочется ли самому тебе выйти на эту волю – оголтелое внешнее коловращение, враждебное человеческому сердцу, противное покою души? На пороге

тюрьмы еще остановишься, прижмуришься – идти ли туда?

Окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся – блещет, что она – ослепительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные давно не отремонтированные, с облезлой штукатуркой дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки, где иностранцев не возят, там триста верст проезжай – одни подгнившие соломенные крыши.

Прислонясь головой к запотевающему, подрагивающему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, Глеб в четверть голоса нашептывал:

*Русь моя... жизнь моя... долго ль нам маяться?..*

Автобус выскочил на обширную многолюдную площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди, – но кричащий цвет был один: яркие красно-фиолетовые мундиры, каких никогда еще не видел Нержин.

Герасимович среди своих дум тоже заметил эти попугайские мундиры и, вскинув брови, сказал на весь автобус:

– Смотрите! Городовые появились! Опять – городовые.

Ах, это они?.. Вспомнил Глеб, как в начале тридцатых годов кто-то из комсомольских вожаков говорил:

«Вам, товарищи юные пионеры, никогда уже не придется увидеть живого городского.»

– Пришлось... – усмехнулся Глеб.

– А? – не понял Герасимович.

Нержин наклонился к его уху:

– До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи «долой тирана! да здравствует свобода!» – так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой еще свободе речь.

Герасимович прогнал морщины по лбу снизу вверх.

– А вы уверены, что вы, например, понимаете?

– Да полагаю, – кривыми губами сказал Нержин.

– Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно-построенному обществу – это очень плохо представляется людьми.

– А разумно-построенное общество – представляется? Разве оно возможно?

– Думаю, что – да.

– Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это еще никому не удалось.

– Но когда-то же удастся, – со скромной твердостью настаивал Герасимович.

Испытно они посмотрели друг на друга.

– Послушать бы, – ненастойчиво выразил Нержин.

– Как-нибудь, – кивнул Герасимович маленькой узкой головой.

И – опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались перебойчатым мыслям.

... Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать? Ходить среди этой суетливой, все что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды – и никогда не покачнуться сердцем? Глеб представлял, что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был бы на воле – он и года, может быть, не выдержал бы. Как же бы он мог миновать всех этих женщин?..

Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Первый, и второй, и третий год тюрьмы он уверен был, что Надя сменится, перебросится, рассеется, отойдет. Но этого не случилось. И вот уже Глеб стал понимать ее ожидание как единственно-возможное. Так ощущал, будто для Нади стало ждать уже и нетрудно.

Еще с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо, – обломком грифеля на истрепанной оберточной бумаге, сложенной треугольником, без марки, Глеб написал:

«Любимая моя! Четыре года войны ты ждала меня – не кляни, что ждала напрасно: теперь будут еще десять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня. Нет нужды, чтобы гибли и твоя жизнь. Выходи замуж.»

Но изо всего письма Надя поняла только одно:

«Значит ты меня разлюбил! Как ты можешь отдать меня другому?»

Он вызывал ее к себе даже на фронт, на заднепровский плацдарм – с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денечки своего разворованного счастья.

Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой – опять в той же неуклюжей гимнастерке, с тем же поддельным красноармейским билетом. Полуторка увозила ее по лесной просеке, и она из кузова еще долго-долго махала мужу.

... На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:

– На Котельническую набережную идет? На Котельническую?!..

– Нельзя! Нельзя! – махал ему рукой надзиратель.

– Иде-от! Садись, паря, подвезем! – кричал Иван-стеклодув и громко смеялся. Иван был бытовик, и на свидание запросто ездил каждый месяц.

Засмеялись и все эки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя – и соскочил. И тогда отхлынул пяток еще набежавших пассажиров.

Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит, ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.

... Идя на запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разоренных городских книгохранилищах, в каких-то сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещенные, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат.

Это в «Девяносто третьем», у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них – смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он – безмолвие.

Так каким-то странным слухом еще с отрочества слышал Нержин этот немой набат – все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей.

В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те годы, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чье-то большое дорогое тело.

Но еще было теплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не возложенное, Нержин принял на себя бремя: по этим еще не улетевшим частицам тепла воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был.

Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал – почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что все это – ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях – и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.

И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился

читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвертого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год.

Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчишке остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочел, что убили Кирова.

И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова – Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи!

И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо калялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край – что в ухе визжало!

Но со столба перекатывал актерский голос диктора – и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами.

А русские писатели, смеявшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножью трона свои угодливые песнопения.

Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат!

– и неисторжимо укоренялось в нем решение: узнать и понять! откопать и напомнить!

И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздохнуть о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны – и там найдет следы умерших и ключ к разгадке.

Провинциал, он еще не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка.

И что если желание наше велико – оно обязательно исполнится.

Шли годы. Все сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен – именно туда, и встретил тех самых, еще уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать.

Все сбылось и исполнилось, но за этим – не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни даже – любви к жене. Ему казалось – лучшей жены не может быть для него на всей земле, и вместе с тем – вряд ли он любил ее.

Одна большая страсть, занявши раз нашу душу, жестоко измещает все остальное.

Двум страстям нет места в нас.

... Автобус продребезжал по мосту и еще шел по каким-то кривым неласковым улицам.

Нержин очнулся:

– Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.

Герасимович, отрываясь от таких же невеселых мыслей, ответил:

– Подъезжаем к Лефортовской.

Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Климентьев – молодо, без шинели и шапки.

Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростерлась безветренная зимняя хмурица.

По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком (только двое в задних углах все так же сидели с пистолетами в карманах) – и арестанты, не имея времени оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в пристройку.

Там оказался длинный узкий коридор, а в него – семь распахнутых дверей. Подполковник шел впереди и распоряжался решительно, как в сражении:

– Герасимович – сюда! Лукашенко – в эту! Нержин – третья!..

И заключенные сворачивали по одному.

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер.

Все как одна комнатки были – следственные кабинеты: и без того дававшее мало света еще обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна; маленький столик и табуретка подследственного.

Кресло следователя Нержин перенес ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить.

На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.

Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали легкие каблучки жены, раздался ее милый голос:

– Вот в эту?

И она вошла.

## 38

Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнаженных корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта – а Глеб стоял вдаль на просеке, и просека, все длиннее, темнее, уже, поглощала его – кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается?

Ждать мужа с войны – всегда тяжело, но тяжелее всего – в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоевано человеком.

Именно тут и прекратились письма от Глеба.

Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам – все молчали, как заговоренные.

Но и похоронное извещение не приходило.

Весной сорок пятого года что ни вечер – лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали города – Кенигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу.

А писем – не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вернется – он упрекнет ее в упущенном времени! И всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и диалектический материализм – и только ночью плакала.

Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату.

Это должно было значить – убит.

И тотчас же кончилась четырехлетняя война! И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной.

В военкомате ей не сказали – убит, сказали – пропал без вести. Смелое на аресты, государство было стыдливо на признания.

И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы – может быть заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет спецзадание? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было.

Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове.

А она все так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернется.

И прошло четыре месяца после войны. И пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришел потрепанный треугольник с Красной Пресни:

"Единственная моя!

Теперь будет еще десять лет!"

Близкие не все могли ее понять: она узнала, что муж в тюрьме – и осветилась, повеселела. Какое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать!

Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются! В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую студенческую женитьбу.

Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее – новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве – значит, надо было ехать в Москву и спасти его! (Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасти.) Но – ехать? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно – в Москву. Сперва, как и в тридцатые годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплеванном полу или совать пугливую взятку у задних дверей кассы.

Надя изобрела – поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив на билете втрое, самолетом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.

Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и все нам удается. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка...

Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все каналы ГУЛага были перенапряжены – лился из Европы поток арестантов, поражающий воображение.

Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветленным загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала:

Глеб – здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстается со своей «вольной» одеждой и вживается в серо-черную трепаную одежду зэка. У каждого оставалось еще что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звездочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шелковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом – она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шел с расстегнутым воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди – невылинявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по сторонам – на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же желтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа – седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа – но он не слышал за разговором и залившимся лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы еще и еще впитьвать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниет в темных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И прозрела боль за себя – что он ее обездолил, что жертва – не он, а она.

И все это был один только миг!.. На нее закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми

глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск – и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещенное пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны – та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.

Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбой за свободу, не могли того видеть, – эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Сов-Гавань, в Норильск, в иркутские, читинские, красноярские, новосибирские, среднеазиатские, карагандинские, джезказганские, прибалхашские, иртышские, тобольские, уральские, саратовские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и еще многие безымянные мелкие лагеря.

Маленькими же партиями, по сто и по двести человек, их отвозили днем в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами – во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплеткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы.

Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве – в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД – полукруглый дом на Калужской заставе.

Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание, – ей было так, будто уже наполовину его освободили.

По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы останавливались у конца решетки Нескучного Сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительства; высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде – но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это – ээки.

А кто догадывался – тот молчал.

Стояло время дешевых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали не часто: Глеб не вырабатывал нормы.

На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами ее глаз. Это была ему не тюрьма! Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая все, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вел себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял:

– Милая! Ты не знаешь, за что берешься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять – но чем ближе будет конец, тем трудней тебе будет его дожидаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет. Так не губи свою молодость – оставь меня! Выходи замуж.

Он предлагал, не вполне веря. Она отрицала, веря не вполне:

– Ты ищешь предлога освободиться от меня?

Заклученные жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбуса, видели поверх забора два-три окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин. Иногда там вперемешку с мужчинами показывались лагерные шалашовки. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене:

– Хватит тебе шлаться, проститутка! Отдавай последнюю передачу – и уваливай! Еще раз на вахте тебя увижу – морду расцарапаю!

Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно, словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать

Пятьдесят Восьмую статью в Москве и хотелось (работники были хороши) и кололось (притуплялась бдительность). Чтоб напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на Север. Заключение пекли в дорогу картошку, у кого была.

Оберегая энтузиазм избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нем зашитую записочку:

«Возлюбленный мой! Сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами (Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу „статью“ отправят. Ты будешь в далеких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкой брошенных через проволоку. Если в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души – что ж, я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю – изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость! Я не боюсь: ведь все равно ты вернешься ко мне, правда?»

### 39

Еще не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем – эту горестную географию русских женщин. Тюрьмы оказались в Москве во множестве и расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидания, Надя постепенно научилась распознавать всесоюзную Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и называются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не написано на их маршрутных табличках) идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой Матросская Тишина, в революцию упраздненной, а потом восстановленной и укрепленной, она и сама жила рядом.

С тех пор, как Глеба вернули из далекого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение – спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками, – Надя опять стала изредка видаться с мужем. Но не полагалось женам знать, где именно содержатся их мужья – и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы.

Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жены сторожили на тротуаре, и еще до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около нее, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринужденно, сидели рядышком, и слушать разговоры четырех пар приходился один надзиратель.

Бутырки – эта, по сути, тоже мягкая веселая тюрьма, казалась женам леденящей. Заключение, попадавшим в Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под намордники, днем лежать на нарах, а под нарами даже спать. Еще было мягко в Бутырках: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросины табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

Жены не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому ж ворота необычайные:

медленно-раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронок. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку двухметровой толщины и вели меж стен в несколько человеческих ростов в обход страшной Пугачевской башни. Свидания давали: обыкновенным зэкам – через две решетки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга, шарашечным, – через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкоснуться ногами и сигналить, а у торца стоял надзиратель, недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчаса они как бы выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живется им хорошо, ничего им не надо – и опять уходили в эти стены.

В Лефортове же свидание было сегодня первый раз. Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на здание пристройки.

В голой комнате с двумя длинными скамьями и голым столом уже ожидало несколько женщин. На стол были выставлены плетеная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно полные все-таки продуктами. И хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым «хворостом» в кулечке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусеньким.

Этот хворост, рано вставши, когда в общежитии еще спали, она жарила из оставшейся у нее белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа – а подарить было нечего!

Хорошую книгу? но невозможно и это после прошлого свидания: тогда Надя принесла ему чудом достанную книжечку стихов Есенина. Такая точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе:

*«Так и все утерянное к тебе вернется.»*

Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого текста в передачах быть не может, текст должен идти отдельно через цензуру. Узнав, Глеб проскрежетал и попросил не передавать ему больше книг.

Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна молодая с трехлетней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжали оживленно разговаривать.

У другой же стены на короткой скамье отдельно сидела женщина лет тридцати пяти-сорока в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс начисто вытерся, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом и напряженно смотрела в пол перед собой. Вся поза ее выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у нее не было ни в руках, ни около.

Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним – она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидящей женщине, она спросила ее, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль:

– Вы разрешите?

Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания – о чем спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо нее.

Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый воротник. И тоже замерла.

Она хотела бы сейчас ни о чем другом не слышать, и ни о чем другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она – вместе он и она, и называлось по обычаю затертым словом «любовь».

Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей – что утром дают, что вечером, как часто стирают им в тюрьме белье – откуда-то все это знали! неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и по сколько грамм или килограмм принесли в передачах. Во всем этом была та цепкая женская забота, которая делает семью – семьей и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала: как это оскорбительно – обыденно, жалко разменивать великие мгновения! Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше – а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы быть и не за решеткой и не нуждаться в этой тюремной еде!

Ждать пришлось долго. Назначено им было в десять, но и до одиннадцати никто не появлялся.

Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала ее по одному из прошлых свиданий – то была жена гравера, его третья и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю: мужа она всегда боготворила и считала великим талантом. Но как-то он заявил, что недоволен ее психологическим комплексом, бросил ее с ребенком и ушел к другой. С той, рыжей, он прожил три года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена, его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит, что просит передач, но рыжая сказала: «лучше б он изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его простить!» Тогда он взмолился к ней, к первенькой – и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания – и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви.

Наде отозвалось, как при этом рассказе жена гравера с горечью предсказывала: должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то вернее всего – изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать – мы никому не были нужны это время, нас просто никто не взял.

Отозвалось, потому что сама Надя думала так иногда.

Пришедшая и сейчас повернула разговор за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консультации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась «Образцовой». Адвокаты ее брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем положении. Наконец в чем-то они где-то не угодили. Их всех арестовали, всем нарезали по десять лет, сняли вывеску «Образцовая», но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами, и те опять начали брать многие тысячи, и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут не только себе, что дела проходят через много рук. Перед бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили как перед четырехростовой стеной Бутырок – взлететь и перепорхнуть через нее не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход судебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой – вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и государства, могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.

Жена гравера неуклонно верила в конечный успех. Из ее слов было понятно, что она собрала тысяч сорок за продажу комнаты и пожертвований от родственников, и все эти деньги переплатила адвокатам; адвокатов сменилось уже четверо, подано было три просьбы о помиловании и пять обжалований по существу, она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилиям знала всех дежурных прокуроров трех главных прокуратур и дышала атмосферой приемных Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадеживающего замечания и каждого невраждебного взгляда.

– Надо писать! Надо всем писать! – энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по ее пути. – Мужья наши страдают. Свобода не придет сама. Надо писать! И этот рассказ тоже отвлек Надю от ее настроения и тоже больно задел.

Стареющая жена гравера говорила так воодушевленно, что верилось: она опередила и обхитрила их всех, она непременно добудет своего мужа из тюрьмы!

– И рождался упрек: а я? почему я не смогла так? почему я не оказалась такой же верной подругой?

Надя только один раз имела дело с «образцовой» консультацией, составила с адвокатом только одну просьбу, заплатила ему только две с половиной тысячи – и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.

– Да, – сказала она негромко, как бы почти про себя, – все ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?

За столом ее не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула ее или оскорбила.

– А что можно сделать? – враждебно отчетливо произнесла она. – Ведь это все бред! Пятьдесят Восьмая это – хранить вечно! Пятьдесят Восьмая это – не преступник, а враг! Пятьдесят Восьмую не выкупишь и за миллион!

Лицо ее было в морщинах. В голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание.

Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тонем, извинительным за возвышенность своих слов, она возразила:

– Я хотела сказать, что мы не отдаем себя до конца... Ведь жены декабристов ничего не жалели, бросали, шли... Если не освобождение – может быть можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за Полярный круг – я бы поехала за ним, все бросила...

Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:

– У вас есть еще силы ехать в тайгу?? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись меня взять замуж – и я бы пошла.

– И вы могли бы бросить?.. За решеткой?..

Женщина взяла Надю за рукав:

– Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жены декабристов – разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров – вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать свое замужество как заразу? – чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире – их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой – шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сестры – толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества! Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах.

Уезжая в Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и черного хлеба нет!.. Это красиво сказать – в тайгу! Вы, наверно, еще очень недолго ждете!

Ее голос готов был надорваться. Слезы наполнили на-дины глаза от страстных сравнений соседки.

– Скоро пять лет, как муж в тюрьме, – оправдывалась Надя. – Да на фронте...

– Эт-то не считайте! – живо возразила женщина. – На фронте – это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут – все. Тогда можно открыто говорить, читать письма! Но если ждать, да еще скрывать, а??

И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснить не надо.

Уже наступила половина двенадцатого. Вошел, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая

фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчетливо:

– Внимание! Порядок известен? Свидание – тридцать минут. Заключенным ничего в руки не передавать. От заключенных ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключенных о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Кроме того с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении – свидание немедленно прекращается.

Присмирившие женщины молчали.

– Герасимович Наталья Павловна! – вызвал Климентьев первой.

Соседка Нади встала и, твердо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

## 40

И все-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника.

Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался.

Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг ее, но все взликовало в ней: он показался так же бли-зок! он к ней не изменился!

Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться.

– Да дайте, я хоть за руку! – возмутился Нержин.

– Не положено, – ответил надзиратель, свою тяжелую челюсть для выпуска слов приспуская лишь несколько.

Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустила в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезало мочало. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами.

– Ну, так поздравляю тебя! – сказала Надя, стараясь казаться оживленной.

– Спасибо.

– Такое совпадение – именно сегодня!

– Звезда...

(Они привыкали говорить.) Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защемляла его.

Маленький столик подследственного был между мужем и женой.

– Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла погрызть немного, хвороста, знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше.

– Глупенькая, и этого не нужно! Все у нас есть.

– Ну, хворосту-то нет? А книг ты не велел... Есенина читаешь?

Лицо Нержина омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещен.

– Читаю.

(Всего полчаса, разве можно уходить в подробности!) Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее – нетоплено, Надя расстегнула и распахнула воротник – ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, еще и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки ожи-вил ее лицо, наверно землистое в здешнем тусклом освещении.

Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену – лицо, и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом – самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему.

– На тебе кофточка новая. Покажи больше.

– А шубка? – состроила она огорченную гримаску.

– Что шубка?

– Шубка – новая.

– Да, в самом деле, – понял, наконец, Глеб. – Шуба-то новая! – И он обежал взглядом черные завитушки, не ведая даже, что это – каракуль, там уж поддельный или истинный, и будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублевую шубу от пятидесятирублевой.

Она полусбросила шубку теперь. Он увидел ее шею, по-прежнему девически-точеную, неширокие слабые плечи, и, под сборками блузки, – грудь, уныло опавшую за эти годы.

И короткая укорная мысль, что у нее своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, – при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и ее жизнь.

– Ты – худенькая, – с состраданием сказал он. – Питайся лучше. Не можешь – лучше?

«Я – некрасивая?» – спросили ее глаза.

«Ты – все та же чудная!» – ответили глаза мужа.

(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом...) – Я питаюсь, – солгала она. – Просто жизнь беспокойная, дерганая.

– В чем же, расскажи.

– Нет, ты сперва.

– Да я – что? – улыбнулся Глеб. – Я – ничего.

– Ну, видишь... – начала она со стеснением.

Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидующихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих.

Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамеков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон.

– А костюм – твой? – перепрыгнула она. Нержин прижмурился и комично потряс головой.

– Где мой? Потемкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.

– Не могу, – по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу.

– Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.

Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула.

– А мы – нет.

Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал:

– Вот так – всюду препоны.

«Ты – моя? Моя?» – спрашивал его взгляд.

«Я – та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь!» – лучились ее серые глаза.

– А на работе с препонами – как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?

– Нет.

– Так защитила диссертацию?

– Тоже нет.

– Как же это может быть?

– Вот так... – И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени

уже ушло. – Диссертацию никто в три года не защищает.

Продляют, дают дополнительный срок. Например одна аспирантка два года писала диссертацию «Проблемы общественного питания», а ей тему отменили...

(Ах, зачем? Это совсем не важно!..) – ... У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные...

(Борьба с низкопоклонством-но разве тут объяснишь?..) – ... и потом светокопии, фотографии... Еще как с переплетом будет – не знаю. Очень много хлопот...

– Но стипендию тебе платят?

– Нет.

– На что ж ты живешь?!

– На зарплату.

– Так ты работаешь? Где?

– Там же, в университете.

– Кем?

– Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьих права... У меня и в общежитии птичьих права. Я, собственно...

Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции ее давно должны были выписать со Стромьинки и совершенно по ошибке продлили прописку еще на полгода. Это могло обнаружиться в любой день! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ...

– ... Я ведь и сегодняшнее свидание получила... это случилось так...

(Ах, да в полчаса не расскажешь!..) – Подожди, об этом потом. Я хочу спросить – препон, связанных со мной, нет?

– И очень жесткие, милый... Мне дают... хотят дать спецтему... Я пытаюсь не взять.

– Это как – спецтему?

Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц.

Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило: новая, еще более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: «муж осужден по пятьдесят восьмой статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать – «муж пропал без вести», все равно надо будет написать его фамилию – и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения ее будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но убегая сейчас от нее под внимательным взглядом Глеба, стала оживленно рассказывать:

– Ты знаешь, я – в университетской самодеятельности. Посылают все время играть в концертах. Недавно играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковом Заком.

Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить.

– В общем, был вечер профсоюзов, так случайно получилось, – ну, а все-таки... И ты знаешь, смех какой – мое лучшее платье забраковали, говорят на сцену нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое, чудное, до пят.

– Поиграла – и сняли?

– У-гм. Вообще, девочки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться чем-нибудь, чем кем-нибудь...

Это – не между прочим было, это звонко она сказала, это – был удачно сформулированный ее новый принцип! – И она выставила голову, ожидая похвалы.

Нержин смотрел на жену благодарно и беспокожно. Но этой похвалы, этого подбадривания тут не нашлось сказать.

– Подожди, так насчет спецтемы...

Надя сразу потупилась, обвисла головой.

– Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу – nicht wahr! – ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись... – совсем тихо закончила она.

(Это и была та третья возможность, – одна, дающая путь в жизни!.. – чтобы в анкете стояло не «разведена», потому что анкета все равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, – а чтоб стояло «не замужем». А для этого – провести развод, и тоже таясь, в другом городе.) Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на ее пальце нет.

– Да, конечно, – очень решительно подтвердил он. Этой самой рукою, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепешку черствое тесто.

– Так вот... ты не будешь против... если... придется... это сделать?..

– Она подняла голову. Ее глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз светилась просьбой о прощении и понимании. – Это – псевдо, – одним дыханием, без голоса добавила она.

– Молодец. Давно пора! – убежденно твердо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убежденности, ни твердости – отталкивая на после свидания все осмысление происшедшего.

– Может быть и не придется! – умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной. – Я – на всякий случай, чтобы договориться. Может быть не придется.

– Нет, почему же, ты права, молодец, – затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было в пору опрокинуть на нее. – Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!

Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чем нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас.

Но на лице Нади появилось боязливое выражение.

– Срок – это условность, – объяснял Глеб жестко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать. – Он может быть повторен по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится – не надо думать, что мы вернемся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще, пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я – не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таежном поселке, в красноярской тайге, в низовьях Ангары! К этой жизни одной только и надо готовиться.

Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносившимся фразам.

Но Глеб забыл – нет, не забыл, он не понимал (как все они не понимали), что привыкшим ходить по теплой серой земле – нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изошренно, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был – светлая холодная бесконечность, для нее же – оставалось двести шестьдесят четыре недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим – уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушел на войну и не вернулся.

По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх.

– Нет, нет! – скороговоркой воскликнула она. – Не говори мне этого, милый! – (Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась.) – Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?!

Ее верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.

– Я верю, я верю, Надюшенька! – переменялся в голосе Глеб. – Я так и понял.

Она смолкла и осела после напряжения.

В раскрытых дверях комнаты стал молодежавый черный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.

Гангстер с шеей пикадора нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырех шагах от надиной спины, они обменялись фразой-двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить:

– Сологдину, жену – знаешь?

Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:

– Да.

– И где живет?

– Да.

– Ему свиданий не дают, скажи ей: он...

Гангстер вернулся.

– ...любит! – преклоняется! – боготворит! – очень отдельно уже при нем сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми.

– Любит-преклоняется-боготворит, – с печальным вздохом повторила Надя. И пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблюденного с женским тщанием, еще по молодости не полным, когда-то как будто известного – она увидела его совсем новым, совсем незнакомым.

– Тебе – идет, – грустно кивнула она.

– Что – идет?

– Вообще. Здесь. Все это. Быть здесь, – говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель: этому человеку идет быть в тюрьме.

Но такой ореол не приближал его к ней. Отчуждал. Она тоже оставляла все узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что выведется из всего, но опережающим сердцем искала в нем сейчас – слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи, – того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть еще вторые десять лет и приехать к нему в тайгу.

Но он улыбался! Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне! Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьем сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины?

Впрочем, Надя еще не подумала этого всего.

А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила.

– Пора кончать! – сказал в дверях Климентьев.

– Уже? – изумилась Надя.

Глеб собрал лоб, сился припомнить, что же еще было самого важного в том списке «сказать», который он вытвердил наизусть к свиданию.

– Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.

– А могут? Куда?? – вскричала Надя. Такую новость – и только сейчас!!

– Бог знает, – пожав плечами, как-то значительно произнес он.

– Да ты уж не стал ли верить в бога??!

(Они ни о чем не поговорили!!) Глеб улыбнулся:

– А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...

– Кому было сказано – фамилий не называть! – гаркнул надзиратель. – Кончаем, кончаем!

Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве еще через год, чтоб их еще раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:

– Делай во всем, как тебе лучше. А я...

Не договорил.

Они смотрелись глаза в глаза.

– Ну, что это? что это? Лишаю свидания! – мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.

Нержин оторвался.

– Да лишай, будь ты неладен, – еле слышно пробормотал он.

Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.

И так скрылась за дверным косяком.

## 41

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень.

Надзиратель им попался смиренный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.

Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свиданцы поцеловались, он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдет. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключенных: кой-кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Климентьева же капнуть.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха – бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне.

И – сели, разделенные столиком подследственного с покоробленной фанерной столешницей.

Этот неуклюжий маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали и млели от ужаса, боролись с опустошающей бессонницей, говорили гордые слова или подписывали маленькие доносы на ближних арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев – разве только для редких собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покоробленной поверхности стола свои метки – те странные волнистые или угольчатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души.

Герасимович смотрел на жену.

Первая мысль была – какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ – морщины, кожа лица – дряблая, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была еще довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника проредился, полег, а платок – платок был с незапамятных времен, кажется еще в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру – и в Ленинграде она ходила в нем к Невке по воду.

Но подлую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось все, что носила его память. Какая милостивая свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом – могла бы заслонить жену?

Наташе еще не было восемнадцати лет, когда они познакомились в одном доме на

Средней Подъяческой, у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать лет с тех пор.

Теперь, обернувшись, ясно видно, что были для России год Девятнадцатый или Тридцатый. Но всякий Новый год видишь в розовой маске, не представляешь, что свяжет народная память со звучаньем его числа. Так верили и в Тридцатый.

А в тот-то год Герасимовича первый раз и арестовали. За – вредительство...

Началом своей инженерной работы Илларион Павлович застиг то время, когда слово «инженер» равнялось слову «враг» и когда пролетарской славой было подозревать в инженере – вредителя. А тут еще воспитание заставляло молодого Герасимовича кому надо и кому не надо предупредительно кланяться и говорить «извините, пожалуйста» очень мягким голосом. А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.

Но как ни выкраивали ему дела, едва-едва натянули на пять лет. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой.

Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград.

И вот они собрались уже вернуться – в тридцать пятом. А тут как раз повалили навстречу, Кировский поток...

Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На ее глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, а то и жестокие вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить «извините». Его все время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на должность не по образованию – и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына. И, уже на все рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это – в июне сорок первого года...

Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем.

Но, призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал – могильщиком.

Зловещая эта профессия в осажденном городе была самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в последний раз уходящих, остальные в живых отдавали нищий кубик хлеба.

Нельзя было без содрогания есть этот хлеб! Но оправданье Илларион видел такое: сограждане нас не жалели – не будем жалеть и мы!

Супруги выжили. Чтобы еще до конца блокады Иллариона арестовали за намерение изменить родине. В Ленинграде и многих брали так – за намерение, потому что нельзя было прямо дать измену тому, кто не был даже под оккупацией. А уж Герасимович, в прошлом лагерник, да приехал в Ленинград в начале войны – значит, с намерением попасть к немцам. Арестовали бы и жену, да она при смерти была тогда.

Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа – но, странно, не видела на нем следов тяжелых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щеки были не впалые, морщин – никаких, костюм – дорогой, галстук – тщательно повязан.

Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.

И первая ее недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живется, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.

Но она подавила в себе эту злую мысль.

И слабым голосом спросила:

– Ну, как там у тебя?

Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить:

– Ну, как там у тебя?

И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:

– Ничего...

Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струей просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб, – а Наталья Павловна спросила:

– Ты о свидании – когда узнал?

– Позавчера. А ты?

– Во вторник... Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.

– По отчеству?

– Да.

Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже, – их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами.

Илларион Павлович спросил:

– Как на работе?

– Почему ты спрашиваешь? – встрепелась она. – Ты знаешь?

– А что?

Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что знала она.

Он знал, что вообще на воле арестантских жен притесняют.

Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещенная о свидании, она не искала новой работы – ждала встречи, будто могло совершиться чудо, и свидание светом бы озарило ее жизнь, указав как поступать.

Но как он мог дать ей дельный совет – он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам?

И решать-то надо было: откаться или не откаться...

В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна – свидание проходило, и надежда на чудо погасала.

И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью – и все равно ничего не поймет, и лучше даже его не расстраивать.

А надзиратель отошел в сторону и рассматривал штукатурку на стене.

– Расскажи, расскажи о себе, – говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для нее и в самые ожесточенные месяцы блокады.

– Ларик! у тебя... зачетов... не предвидится?

Она имела в виду зачеты, как в приамурском лагере – проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

– Откуда зачеты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное – ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние... – он покосился на полу отвернувшегося надзирателя, – ... свойства... весьма нежелательного...

Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка терся о них.

Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам будет нуждаться в похоронах.

А теперь бы вот – не мог...

– Грустно тебе одной? Очень грустно, да? – ласково спрашивал он у жены и терся щекою о ее руку.

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвется, она выйдет ничем не обогащенная на Лефортовский вал, на безрадостные улицы – одна, одна, одна... Оступляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни

горького, – жизнь как серая вата.

– Наталочка! – гладил он ее руки. – Если посчитать, сколько прошло за два срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

– Только три?! – с негодованием перебила она, и почувствовала, как голос ее задрожал, и она уже не владела им. – Только три?! Для тебя – только! Для тебя прямое освобождение – «свойства нежелательного»! Ты живешь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за черной кожей! А я – уволена! Мне на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше – умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали – они знают, что я слова не смею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сестрам, к тете Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой – я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил, Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрази им что-нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спа-си ме-ня!!..

Она совсем не хотела этого говорить, сокрушенное сердце!.. Трясаясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, выдавшему много этих слез.

– Ну, успокойтесь, гражданочка, – виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.

Лицо Герасимовича перекошено застыло и слишком заблестало пенсне.

Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.

По прямому тексту инструкции слезы не запрещались, но в высшем смысле ее – не могли иметь места.

## 42

– Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведешь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только знать надо, сколько минут держать – и смывай.

– Ну, а потом?

– А высохнет – ни следа не остается, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай – Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криуши.

– И ни разу не попадались?

– На этом деле? Клара Петровна... Или может быть... вы разрешите..?

– ?

– ... звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой?

– ... Зовите...

– Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз – хо-го! И держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок пятого по конец сорок седьмого, – это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину! И еще я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал – и продавал их, и на то жил.

– Но это же... очень нехорошо!

– Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал.

– Но вы могли просто работать.

– "Просто" много не наработаешь. От трудов праведных – палат каменных, знаете? И кем бы я работал? Специальности получить мне не дали...

Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка... только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, знаете, эти ЖЩ, ЛХ – скрыто указывается, что я был под оккупацией.

– Но вы же не были!

– Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! И пришлось из-за этого новый покупать.

– Где??

– Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете – где! Я еще и орден Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он уперся – двадцать и двадцать.

– А зачем вам орден?

– А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас...

– Откуда вы взяли, что у меня холодная?

– Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.

– Ну, вот!..

– Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.

– За-чем?

– Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.

– Ну, рассказывайте, прошу вас.

– Так на чем я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки – меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват – десять в зубы, пять по рогам – и в лагерь.

– Что значит – по рогам?

– Ну, намордник пять лет.

– А что значит – намордник?

– Боже мой, какая вы необразованная. А еще дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? «Намордник» значит – кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным.

– Подождите, кто-то подходит...

– Где? Не бойтесь, это Земеля. Сидите, как сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки – с кем из ребят буду встречаться, не поеду ли опять к американцам на дачу, да вообще жизни не будет, посадят все равно. И я их – надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушел – и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. И два года за Ростиславом Дорониным гнали всесоюзный розыск! А я под чужими именами – в Среднюю Азию, на Иссик-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток... Потом – по маме очень соскучился. Но домой являться – никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод каким-то петрушкой, подсобником, мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там недель несколько – проспал, на работу опоздал. В суд! Суди-ли меня!

– Открылось?!

– Ничего не открылось! Под чужой фамилией осудили на три месяца, сижу в колонии, стриженный, а всесоюзный розыск гудит: Ростислав Доронин! волосы русые пышные, глаза голубые, нос прямой, на левом плече родинка. В копейку им розыск обошелся! Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальничка паспорт – и жиманул на Кавказ!

– Опять путешествовать?

– Хм! Не знаю, можно ли вам все...

– Можно!

– Как это вы уверенно говорите... Вообще-то нельзя. Вы – совсем из другого общества, не поймете.

– Пойму! У меня жизнь была нелегкая, не думайте!

– Да вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите... Правда, хочется вам все рассказать... В общем, я удрапать хотел. Совсем из этой лавочки.

– Какой лавочки?..

– Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!

– От социализма?!..

– Да раз справедливости нет – на кой мне этот социализм?

– Ну это с вами так получилось, обидно очень. Но куда ж бы вы поехали?

Ведь там – реакция, там – империализм, как бы вы там жили?!

– Да, верно, конечно. Конечно, верно! Да я серьезно и не собирался. Да это и уметь надо.

– И как же вы опять..?

– Сел? Учиться захотел!

– Вот видите, значит – вас тянуло к честной жизни! Учиться – надо, это – важно. Это – благородно.

– Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На гуманитарном-то факультете? Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились?

– Я и на гуманитарном...

– Ушли? Расскажите потом. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не труд-но его и купить, но – беспечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на свое имя аттестат – и подал в университет, только уже в ленинградский, и на факультет – географический.

– А в Москве были на историческом?

– К географии от этих скитаний привязался. Чертовски интересно!

Наездишься – насмотришься... Ну, и что ж? Только походил на лекции с неделю, меня – хоп! – и опять на Лубянку! И теперь – двадцать пять лет! И – в тундру, я еще не был – практику проходить!

– И вы об этом рассказываете – смеясь?

– А чего ж плакать? Обо всем, Клара, плакать – слез не хватит. Я – не один. Послали на Воркуту – а там уж таких молодчиков! уголь долбят! Вся Воркута на зэках стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.

– Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.

– Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» написал. Он имел совесть признать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо-тяжелые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить?

Подумал Мор и догадался: да ведь и при социализме будут нарушители порядка.

Вот им, мол, и поручим! Таким образом современный ГУЛаг придуман Томасом Мором, очень старая идея!..

– Я никак не одумуюсь. В наше время – и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус... Людей, подобных вам, я нигде в жизни не видела.

– Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас черта!

Вы же знаете – бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова «Луч света в темном царстве». Если милиционер манил меня пальцем – во мне падало сердце. Во все это вырастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику – пока меня второй раз возьмут?

– Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я представляю, как это тягостно: вы –

постоянно вне общества! вы – какой-то лишний гонимый человек...

– Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно.

Потому что как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена продают и к ним удостоверения незаполненные, так это – где продажный человек работает, а? В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам – только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? – чтобы все до одного!

– Но если все будут ждать от других, так никогда и не начнется. Каждый должен...

– Каждый должен, но не каждый делает! Слушайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произошла революция? Против привилегий! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие – в соболя, одни пешкодралом – другие на фазтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?

– Конечно.

– Правильно. Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается?

Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жены местных начальников бывают в магазине? Да никогда! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день...

– Да, это ужасно! Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите?

– Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить? Скорей поверю, чем книжке в миллион экземпляров... И вот эти привилегии – они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все – обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике – обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине – обязательно поедет. Если только где-нибудь медом помазано и туда по пропускам – обязательно будет этот пропуск выхлопывать.

– Это – да! Это ужасно!

– Если забором может отгородиться – обязательно отгородится. И сам же сукин сын был мальчишкой – лазил через купеческий забор, яблоки рвал – и тогда был прав! А теперь ставит забор в два роста, да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно оказывается! – и думает, что опять же он прав! А в Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым обеды одни достались, играют в решку – медалью Победы. Бросят вверх и кричат: «Морда – или Победа?»

– Как это?

– Ну, там с одной стороны написано «победа», а с другой – Изображение. Посмотрите у отца.

– Ростислав Вадимыч...

– Какой я к чертям Вадимыч? Просто – Руся.

– Мне трудно вас так называть...

– Ну, я тогда встану и уйду. Вон, на обед звонят. Я для всех – Руся, а для вас... особенно... Не хочу иначе.

– Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно – бороться! Но не вашим способом, конечно.

– Да я же еще и не боролся! Я просто так рассуждал: если равенство – так всем равенство, а если нет – так к ядреной фене... Ох, простите меня, пожалуйста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с детских лет такое дело: в школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата, а нигде нельзя без лапы – так и мы растем продувные, нахальство – второе счастье!

– Нет! Нет! Так нельзя! В нашем обществе много справедливого. Вы берете через край! Так нельзя! Вы много видели, правильно, много пережили, но «нахальство второе счастье» – это же не жизненная философия! Так нельзя!

– Руська! На обед звонили, слышал?

– Ладно, Земеля, иди, я сейчас... Клара! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я

всей душой был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был друг... с холодной головой... подруга... Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. В общем я – это ведь только внешне, что я – как будто арестант и на двадцать пять лет. Я... О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую!.. Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца... Но это потом... Клара! Я хочу сказать: во мне – вулканические запасы энергии! Двадцать пять лет – ерунда, я могу шутя когти оторвать...

– Ка-ак?

– Ну, это... у махнуть. Я даже сегодня утром присматривал, как бы я это из Марфина сделал. От того дня, когда невеста моя – если б только она у меня появилась – сказала бы: Руся! Убегги! Я жду тебя! – клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал – не подкопаешься! Увез бы ее в Читу, в Одессу, в Великий Устюг! И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь!

– Хорошенькая жизнь!

– Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот через двадцать лет! через тридцать лет! через двести лет! Нароботаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему! О чем мечтали!.. Нет, это я все шучу! Я вполне серьезно! Я совершенно серьезно хочу учиться, хочу трудиться! Только не один! Клара! Посмотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг – хотите? Это – памятник седой старины. Я там еще не был.

– Какой вы поразительный человек.

– Я искал ее в ленинградском университете. Но не думал, где найду.

– Кого?..

– Кларочка! Из меня еще кого угодно можно вылепить женскими руками – великого проходимца, гениального картежника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите – стану?

– Диплом подделаете?

– Нет, правда стану! Кем назначите, тем и стану. Мне только – вы нужны! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите...

## 43

Генерал-майор Петр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по спецделам, то есть, делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому производились скрытно. (Все миллионы политических дел были такими.) К этим делам, наблюдать за правильностью следствия и всего хода и поддерживать обвинение, – не всякие прокуроры допускались, и допускались самим следствием, то есть ревизуемым МГБ. Но Макарыгин всегда был допущен: помимо давних там знакомств он еще с большим так-том умел совмещать свою неуклонную преданность законам и понимание специфики работы Органов.

У него было три дочери – все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется хорошая мать.

Дочерей звали: Динэра, Дотнара и Клара. Динэра значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара – ДОчь Трудового НАРода.

Дочери шли ступеньками по два года. Средняя, Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динэру, на месяц раньше ее вышла замуж. Отец посердился, что рановато, но правда, зять попался хороший – выпускник Высшей Дипшколы, способный и покровительствуемый молодой человек, сын известного отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя – Иннокентий Володин.

Старшая дочь Динэра, пока мать ездила в школу улаживать ее двойки по математике,

болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актерский факультет института кинематографии, со второго курса вышла замуж за довольно известного режиссера, эвакуировалась с ним в Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на фронт – не на фронт, а в тот самый третий эшелон, лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают тяжести тыла. Там Динэра познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, вернула генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву.

Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара.

Две старших сестры разобрали на себя всю красоту, и Кларе не осталось ни красоты, ни даже миловидности. Она надеялась, что это с годами исправится – нет, не исправилось. У нее было чистое прямое лицо, но слишком мужественное. По углам лба, по углам подбородка сложилась какая-то твердость – и Клара не могла ее изгнать, да уж и не следила за этим, примирилась. И руками она двигала тяжеловато. И смех у нее был какой-то твердый. Оттого она не любила смеяться. И танцевать не любила.

Клара кончала девятый класс, когда посыпались все события сразу: замужество обеих сестер, начало войны, отъезд ее с мачехой в эвакуацию в Ташкент (отец отправил их уже двадцать пятого июня) – и уход отца в армию прокурором дивизии.

Три года они прожили в Ташкенте, в доме старого приятеля их отца – заместителя одного из Главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около окружного дома офицеров, на втором этаже, с надежно зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но вдесятеро наехало их сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было неконтролируемое ощущение, будто сток нечистот омывал ее здесь, чистота же подвига и вершина духа – вся ушла за пять тысяч верст.

Действовал извечный закон войны: хотя не по волеизъявлению люди уходили на фронт, а все же все горячие и все лучшие находили дорогу туда, да и там, по тому же отбору, их же больше всего и погибало.

В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать.

Как-то никуда особенно ее не тянуло, ничто не определилось в ней ясно. Но из такой семьи нельзя же было не поступать! Решила выбор Динэра: она очень, очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом, – чтобы Клареныш поступала на литературный.

Так и пошла, хотя по школе знала, что скучная эта литература: очень правильный Горький, но какой-то неувлекательный; очень правильный Маяковский, но непроворотливый какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерешь, пока дочитаешь; потом ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства (романов Толстого учительница не советовала им читать, так как они очень длинные и только затемняют ясные критические статьи о нем); и еще потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухова-Кобылина, правда у них и названий запоминать не надо было. Во всем этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял как солнышко.

И вся-то литература состояла в школе из усиленного изучения, что хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли все писатели эти и еще потом советские русские и братских народов. И до самого конца Кларе и ее подругам так и непонятно осталось, за что вообще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики, и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуждые влияния – и все-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за

каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать.

Вот у Динэры с литературой получалось как-то все иначе – остро, весело. Уверяла Динэра, что в институте такая и будет литература. Но Кларе не оказалось веселей и в университете. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологическая, сравнительно-историческая и все это вроде бы пальцами по воде, а на кружках толковали о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара все ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

Брата Клариной соученицы по десятому классу зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел стащить на ходу ящик... В коридоре университета Клара как-то выбросила в урну недоеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошел студент ее же курса и этого же самого арагоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман... Одна студентка водила Клару советовать о покупке на знаменитый Тезиков базар – первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ и особенно много было калек, уже этой войны – они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали, безногие, на дощечках, они продавали, гадали, просили, требовали – и Клара раздавала им что то, и сердце ее разрывалось. Самый страшный инвалид был самовар, как его там звали: без обеих рук и без обеих ног, жена-пропойца носила его в корзине за спиной, и туда ему бросали деньги. Набрав, они покупали водку, пили и громко поносили все, что есть в государстве. К центру базара – гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекулянтток. И никого не удивляли, всем были понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины города, но все можно было достать здесь, все, что можно проглотить, что можно надеть на верхнюю или нижнюю часть тела, все, что можно изобрести – до американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников черной и белой магии.

Но нет, об этой жизни на литфаке не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто все было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами.

И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдет в школу и будет задавать девченкам нелюбимые сочинения и педантично выискивать в них запятые и буквы, – Клара стала больше всего играть в теннис: в городе были хорошие корты, а у нее развился верный сильный удар.

Теннис оказался для нее счастливым занятием: он приносил радость движения телу; уверенность удара отдавалась уверенностью и других поступков; теннис отвлек ее и от всех этих институтских разочарований и тыловых запутанностей – ясные границы корта, ясный полет мяча.

Но еще важнее – теннис принес ей радость внимания и похвал окружающих, которые совершенно необходимы девушке, особенно некрасивой. У тебя, оказывается, есть ловкость! реакция! глазомер! У тебя многое есть, а ты думала – нет ничего. Часами можно прыгать по корту неутомимо, если хоть несколько зрителей сидят и смотрят за твоими движениями. И белый теннисный костюм с короткой юбочкой наверняка Кларе шел.

Вообще это в страдание для нее превратилось: что надевать? Несколько раз в день приходится переодеваться и каждый раз мучительная головоломка: что надеть на твои крупные ноги? и какая шляпка тебе не смешна? и какие цвета тебе идут? и какой рисунок ткани? и какой воротник к твоему твердому подбородку? Клара была обделена способностью это знать, и при средствах одеваться – всегда была одета дурно.

Вообще: как это – нравятся? как это – нравиться? почему ты – не нравишься? Ведь с ума сойдешь, никто тебе не поможет и не выручит никто. В чем это ты не такая? Что это в тебе не то? Один, два, три эпизода можно объяснять случайностями, несовпадениями,

неопытностью – но наконец этот невидимый горький стебель все время попадает тебе между зубами, в каждом глотке. Как побороть эту несправедливость? Ты же не виновата, что такая уродилась!

А тут еще эта литературная трепотня так надоела Кларе, что на втором году Клара забросила литфак, просто перестала ходить.

А со следующей весны фронт пошел уже в Белорус-сию, все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в Москву.

Но и тут не сумела Клара верно решить, в какой же ей институт идти.

Искала она, где меньше говорят, а больше делают, значит – технический. Но чтобы не с тяжелыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи.

Никем не руководимая, она опять совершила ошибку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придется.

Впрочем, среди однокурсниц (мальчиков было мало) не одна она оказалась случайная, век такой начинался: ловили синюю птицу высшего образования, и не попавшие в авиационный институт переносили документы в ветеринарный, забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами.

В конце войны у отца Клары было много работы в Восточной Европе. Он демобилизовался осенью сорок пятого и сразу получил квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повез жену и дочь смотреть квартиру.

Автомобиль прокатил их мимо последней решетки Нескучного сада и остановился, не доезжая моста через окружную железную дорогу. Было предполуденное время теплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета. И мать и дочь были в легких плащах, отец – в генеральской шинели с распахнутой грудью, с орденами и медалями.

Дом строился полукруглый на Калужскую заставу, с двумя крылами: одно – по Большой Калужской, другое – вдоль окружной. Все делалось в восемь этажей, и еще предполагалась шестнадцатизэтажная башня с солярием на крыше и с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был еще в лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости заказчика (Госбезопасности), строительная контора скороспешно сдавала со стороны окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами.

Строительство было обнесено, как это всегда бывает на людных улицах, сплошным деревянным забором, – а что сверх забора была еще колючая проволока в несколько рядов и кое-где высились безобразные охранные вышки, из проносившихся машин замечать не успевали, а жившим через улицу было привычно и тоже как будто незаметно.

Семья прокурора обошла забор вокруг. Там уже снята была колючая проволока, и сдаваемая секция выгорожена из строительства. Внизу, у входа в парадное, их встретил любезный прораб, и еще стоял солдат, которому Клара не придала внимания. Все уже было окончено: высохла краска на перилах, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протерты оконные стекла, и только грязно одетая женщина, наклоненного лица которой не было видно, мыла ступени лестницы.

– Э! Але! – коротко окликнул прораб, – и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.

Прошел прокурор.

Прошел прораб.

Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

И женщина, не выдержав ли этого шелка и этих духов, – оставаясь низко склоненной, подняла голову посмотреть, много ли их еще.

Ее жгучий презирующий взгляд опалил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо.

Не только стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол, –

но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то еще высший стыд и страх! – и замерла – и открыла сумочку – и хотела вывернуть ее всю, отдать этой женщине – и не посмела.

– Ну, проходите же! – зло сказала женщина. И придерживая подол своего модного платья, и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх.

В квартире не мыли полов – там был паркет.

Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трех клепках и обещал устранить.

– А кто здесь все это делает? строит? – резко спросила Клара.

Прораб улыбнулся и промолчал. Отец буркнул:

– Заключенные, кто!

На обратном пути женщины на лестнице уже не было.

И солдата не было снаружи.

Через несколько дней они переехали.

Но шли месяцы, и годы шли, а Клара почему-то все не могла забыть той женщины. Она помнила точно ее место на предпоследней ступеньке отметного удлиненного марша, и каждый раз, если не в лифте, вспоминала на этом месте ее серую нагнутую фигуру и вывернутое ненавидящее лицо.

И всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку. Это было непонятно и – непобедимо.

Однако, ни с отцом, ни с матерью она никогда этим не поделилась, не напомнила им, не могла. С отцом после войны ее отношения вообще установились нескладистые, недобрые. Он сердился и кричал, что она выросла с испорченной головой, если вдумчивая – то навыворот. Ее ташкентские воспоминания, ее московские будние наблюдения он находил нетипичными, вредными, а манеру искать из этих случаев вывод – возмутительной.

О том, что поломойка и сегодня стоит на их лестнице – никак нельзя было ему признаться. Да и мачехе. Да и вообще – кому?

Вдруг однажды, в прошлом году, спускаясь по лестнице с младшим зятем, Иннокентием, она не удержалась – невольно отвела его за рукав в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий спросил, в чем дело.

Клара замаялась, могло показаться, что она сумасшедшая. К тому же Иннокентия она видела очень редко, он постоянно жил в Париже, франтовски одевался, держался с постоянной насмешечкой и снисходительно к ней, как к девочке.

Но решилась, остановилась – и тут же рассказала, все руками развела, как было тогда.

И без всякого франтовства, без этого ореола вечной европейской жизни, он стоял все на той же ступеньке, где их застигло, и слушал – совсем попростевший, даже потерянный, почему-то шляпу сняв.

Он все понял!

С этой минуты у них началась дружба.

До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя, знаменитого Галахова, Клара привычно называла Колей и на «ты», – а Иннокентия стеснялась, сбивалась.

Прошлым летом они приехали надольше, стала часто Нара бывать у родных и жаловаться приемной матери на мужа, на порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор

такой счастливой. С Алевтиной Никаноровной они долгие веди об этом разговоры, Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаенно слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни эта и была: отчего любят и отчего не любят?

Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчетах Иннокентия, что он переменялся, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры она оказывалась во всем права, и во всем не прав муж. Но Клара сделала для себя противоположный вывод: что Нара не умела ценить своего счастья; что пожалуй она сейчас Иннокентия не любила, а любила себя; она любила не работу его, а свое положение в связи с его работой; не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а свое владенье им, утвержденное в глазах всех. Клару удивляло, что главные обиды ее были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчеркивал ее особое значение и важность для себя.

Неволею младшей незамужней сестры мысленно при-меряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела.

Как же можно удовлетворяться чем-то, отдельным от его счастья?.. Тут еще запутывалось и обострялось, что не было у них детей.

После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видеться еще, обязательно. И, главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить!

Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому.

И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денек за город, она толчком сердца сразу же согласилась, еще и подумать, еще и понять не успев.

– Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин, – слабо улыбался Иннокентий.

– Я тоже не люблю! – определенно отвела Клара. Оттого что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала ее сочувствием.

– Обалдеешь от этих Швейцарии, – извинялся он, – хоть по России простенькой побродить. Найдем такую, а?

– Попробуем! – энергично кивнула Клара. – Найдем!

Все-таки прямо не договорились – втроем или вдвоем они едут.

Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только, что – вдвоем, но и родителям, пожалуй, знать не нужно.

По отношению к сестре Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили – это был законный родственный налог. А так, как жили они – была виновата Нара.

Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня Кларе – но и самые мучительные приготовления: как же одеться?! Если верить подругам, ей не шел ни один цвет – но какой-то цвет надо же выбрать! Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой. А больше всего промучалась с вуалеткой – два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала...

Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить. Кларе отчаянно нравились вуалетки, особенно в кино: они делают женщину загадочной, поднимают ее выше критического разглядывания. Но все ж она отказалась: Иннокентию надоели всякие французские выдумки, да и будет солнечный день. А черные сетчатые перчатки все же надела, сетчатые перчатки очень красиво.

Им сразу попался дальний малоярославецкий поезд, паровичок, вот и хорошо, они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было и станций они не знали.

До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию Нара! Иннокентий, если бы знал, может выбрал бы другой вокзал? А Клара совсем забыла.

И еще много раз в пути повторяли эту Нару. Так и висела над ними...

Августовское утро было прохладное. Они встретились оба бодрые, веселые.

Сразу установился разговор несвязный, оживленный, только несколько раз ошибались оба на «вы», и тут же смеялись, и от этого еще проще становилось.

Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из «рабочей одежды».

Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его расспрашивать, сбивчиво – то о Европе, то – как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять. Но что-то нужно было! Ей искренне хотелось поумнеть! Ей так необходимо было разобраться!

Иннокентий шутливо крутил головой:

– Вы думаете... ты думаешь, я сам что-нибудь понимаю?

– Но вы же дипломаты, вы нас всех ведете – и вдруг ничего не понимаете?

– Да нет, все мои коллеги понимают, это только я ничего не понимаю. И даже я все понимал примерно до прошлого, до позапрошлого года.

– Что же случилось?

– И вот этого – тоже не понимаю, – смеялся Иннокентий. – И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойдешь научиться грамоте. Потом – арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там еще?

– Ну, не знаю... магнетизму...

– Вот, и ты не знаешь; а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе все за пять минут и объясню, да ты и сам уже будешь знать.

– Ну, хорошо, я готова учиться, но где учиться? С чего начинать?

– Ну... хоть с наших газет.

По вагону шел с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него «Правду».

Еще при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неудобную двухместную скамью у двери:

Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней.

– Ну, давай учиться читать, – развернул газету Иннокентий. – Вот заголовок: «Женщины полны трудового энтузиазма и перевыполняют нормы».

Подумай: а зачем им эти нормы? Что у них, дома дела нет? Это значит: соединенной зарплаты мужа и жены не хватает на семью. А должно хватать – одной мужской.

– Во Франции так?

– Везде так. Вот дальше, смотри: «во всех капиталистических странах, вместе взятых, нет столько детских садов, сколько у нас». Правда? Да, наверно правда. Только не объяснена самая малость: во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны.

Дребезжали. Ехали. Останавливались.

Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при грохоте объяснял к уху:

– Бери дальше, самые ничтожные заметки: «Член французского парламента имя рек заявил...» и дальше о ненависти французского народа к американцам.

Сказал так? Да наверно сказал, мы правду пишем! Только пропущено: от какой партии член парламента? Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценней его высказывание! Значит, коммунист. Но – не написано! И так все, Клярэт. Напишут о небывалых снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие! А хитрость в том, что автомобилей так много, что для них даже гаражей не строят... Все это – свобода от информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста:

«встреча принесла заслуженную победу...», дальше не читай, ясно: нашему. «Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем...»

– ясно: не нашего.

Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест! И так уж на них оглядывались. Клара отняла газету и держала.

– Вообще, спорт – опиум для народа, – заключил Иннокентий.

Это было неожиданно и очень обидно. И совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека.

– Я – в теннис много играю и очень его люблю! – тряхнула головой Клара.

– Играть – ничего, – сразу исправился Иннокентий. – Страшно – на зрелища кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков.

Дребезжали. Ехали. Смотрели в окно.

– Значит, у них там – хорошо? – спросила Клара. – Лучше?

– Лучше, – кивнул Иннокентий. – Но не хорошо. Это разные вещи.

– Чего ж не хватает?

Иннокентий серьезно не нее посмотрел. Того первого оживления не стало в нем, очень спокойно смотрел.

– Так просто не скажешь. Сам удивляюсь. Чего-то нет. И даже многого нет.

А Кларе так с ним было хорошо, по-человечески хорошо, не от какой-нибудь игры прикосновений, пожатий или тона, их не было, – и хотелось отблагодарить, чтоб ему тоже было хорошо, крепче.

– У вас... у тебя такая интересная работа, – утешала она.

– У меня? – поразился Иннокентий, и притом, что он был худ, еще впали его щеки, он показался замученным, будто недоедающим. – Служить нашим диплома-том, Кларочка, это иметь две стенки в груди. Два лба в голове. Две разных памяти.

Больше не пояснял. Вздыхнул, смотрел в окно.

А понимала ли это его жена? А чем она его укрепила, утешила?

Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица: отдельно верх его лица выглядел довольно жестко, отдельно низ – мягко. От лба, свободно развернутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности.

Разгорался день, весело мелькали леса, много лесу было по дороге.

Чем дальше шел поезд, тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее среди всех – они оба, будто разряженные для сцены. Клара сняла перчатки.

На лесном полустанке они выскочили. Кроме них еще несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего вагона, больше никого не осталось на перроне.

Молодые люди собирались в лес. И по ту и по другую сторону тут был лес, правда густой, темный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Иннокентием тоже пошли за ними.

Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо. Потом тропка нырнула сквозь несколько рядов березовой посадки. Там дальше было выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной веревкой к колышку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правой, прямо на солнце, где еще за рядами кустов открывался обширный простор.

И молодые люди согласно решили, что в лес – успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти.

Туда выводила полевая дорога – плотная, травяная. От нее ближе к линии золотилось хлебное поле – тяжелые колосья на коротких крепких стеблях, а что за хлеб – они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше – и на таком большом пространстве ничего не росло.

Их полустанок был в углу, теперь только они выходили на этот простор – такой объемный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы.

И далеко вокруг и тут за линией сразу, все обмыкалось лесом сплошным с мелко зазубристым издали верхом.

Вот кажется этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долгой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности темно-кирпичная церковь с колокольней. И еще бабы удалялись впереди, а больше на всем просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего – теплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.

В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот.

– Так это – Россия? Вот это и есть – Россия? – счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел на Клару. – Слушай, я ведь представляю Россию, но я ведь ее не-пред-став-ляю!

– каламбурил он. – Я никогда по ней вот так просто не ходил, только самолеты, поезда, столицы...

Он взял ее вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у нее сумочка.

– Слушай, сестра! – говорил он. – Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. И чтоб дышалось легко!

– А тебе – неужели не видно? – Его жалоба так тронула ее – свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.

– Нет, – качал он, – нет. Было когда-то видно, а сейчас все запуталось.

Что запуталось? Если уж так запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если б он еще немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться, и открыла бы, как она за него, и как он прав, и не надо отчаиваться!

– Так надо бывает поговорить! – отзывалась она.

Но он на том и кончил. Он уже смолк.

Жарчело. Сняли плащи.

Никто больше не появлялся во всем окоеме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движеньи.

Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой: по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.

Тропа шла к той деревне с церковью, но еще раньше в середине простора она подходила к удивительно тесной, особой кучке деревьев. Куца стояла посреди полей, далеко отступя от всякого леса, и от деревни изрядно – странная бодрая свежая куца крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть?

Отчего и зачем среди полей?

Свернули туда и они.

Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шел позади Клары.

Идет позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры. То ли брат тебе. То ли...

Теперь чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:

– А как ты будешь меня звать? Не зови «Клярэт».

– Не буду. Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.

– Я буду тебя «Инк» звать, ладно?

– Ладно. Очень хорошо.

– Тебя так никто не зовет?

Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять.

Теперь уже видно было, что это – березы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине еще. Как удивительно стояла эта куща, ни к чему не относясь, сама по себе.

– А у тебя когда это все началось? – спрашивала Клара.

Что – это? Тут много вкладывалось.

Но он не затруднился:

– Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а все-таки, когда я стал разбирать шкафы.

– Это уже после смерти?

– Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает...

(А я пойму!.. Больше, больше о Дотти, мы так разговоримся сейчас! Тебе будет легко!..) – ... Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на ее похороны... Слушай, а это не кладбище?

Остановились. И вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! И как же они раньше..? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень.

Хотя еще не было видно крестов, ни могил. Они еще переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть). Еще поднимались, и неожиданно круто.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом, – ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровну эти старые березы, соединясь в верхах, а земля поля ровно и открыто, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хотя не топтанную и не стриженную.

Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.

Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всем охвате распланированной местности!

Вокруг иных могилки были ограды. А то – просто безымянные пирамидальные травяные холмики. И даже свежие.

– Как просторно! – удивлялся Иннокентий. – Тут сто могил, не больше, и можно еще пятьдесят разместить свободно. И, наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и еще перекапывают старые под новые.

Вот эти старые березы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.

Сами плащи на землю бросились, само как-то селось – лицом к Простору.

Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далекая, будка полустанка. И поверх линейной посадки переползал дымок.

Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восставленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. И Кларе открылся его затылок: как у мальчика слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.

– Какое чистое кладбище! – удивлялась Клара. – Скотом не загажено, мазута не налито.

– Да, – с наслаждением выдохнул Иннокентий. – Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолет совать, потом в автобусе куда-нибудь...

– Рано об этом думать, Инк!

– Когда, Кларонька, все ложь – очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрее. –

Он и говорил слабым усталым голосом.

Это могло быть о его работе. А может – обо всей жизни. А может – только о жене.

Доспрашивать Клара не могла.

– И что же – в шкафу?

– В шкафу? – сосредоточил Иннокентий свой всегда не беспечный, всегда озабоченный взгляд. – В шка-фу вот что... – Но, кажется, только представив этот подробный рассказ, он уже устал от него. – Да нет, это долго... Я как-нибудь потом...

Если уж сейчас – долго, то когда ж и рассказывать?.. Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз?

На каком же тогда лету у него все перехватывать?

– Значит, у тебя никого родных не осталось?

– Представь себе – дядя, мамин брат! Причем я о нем тоже ничего не знал до прошлого года.

– Никогда не видел?

– То есть, видел маленьким, но совершенно не запомнил.

– Где же он?

– В Твери.

– Где?

– В Калинин. Два часа езды – а никак не соберусь. Да когда мне, если я и в России не бываю?.. Написал ему, старик обрадовался.

– Слушай, Инк, надо поехать! Ведь потом тоже будешь жалеть!

– Да я и думаю поехать, думаю! Да просто вот на днях поеду. Вот слово даю.

Уже отошел Иннокентий в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей.

Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища – подсолнухи, за другим – свекла. Только и оставалась им тропка – та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.

Иннокентий снял и куртку, остался в легкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, негладкой спины. А шляпу снова надел от солнца.

– Ты знаешь, на кого похож? – смеялась Клара. – Есенин, воротясь в родную деревню после Европы. Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:

– Ах, родина, и что ж я тут нашел?.. Какой я стал чужой... Косить разучился, пахать разучился...

Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков изрыта, искромсана гусеницами и скатами, местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета, – что двум сторонам улицы сноситься было как через реку.

Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.

По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетеной кошелкой.

– Дево... – начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше, – девушка! – Но она быстро приближалась, и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться. – Эта деревня – как называется?

– Рождество, – мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.

– Рождество? – удивились между собой молодые люди. – Необычное какое название. – Вдогонку крикнули:

– А почему?

– Назвали. Откуда я знаю? – отозвалась та через плечо. И спешила дальше.

И куда растеклись все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких окон тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно,

ни домашней птицы.

Лишь убогие тряпки да одеяла, развешенные в одном дворе на веревках доказывали, что кто-то здесь утром был.

Солнце полно наливало собой тишину.

В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посуху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.

– Мамаша!

Не слышала.

– Мамаша!

Подняла голову.

– Слышу плохо, – высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза ее совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.

Нельзя ли молока у вас купить? – спросила Клара.

Молоко им не нужно было, а – лучший способ разговориться, как она знала по поездкам в колхоз.

– Коров – нету, – с достоинством ответила старуха.

В руке у нее был покойный желто-белый цыпленочек, он не выбивался и не дергался.

– Мамаша, эта церковь как называлась? – спросил Иннокентий.

– Что это – называлась? – посмотрела она на него как через пленку. В обвисшем лице ее была самистая важность.

– Ну, у каждой церкви... название же есть?

– Только что звание, – сказала старуха. – А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была – пленные разобрали.

– Какие пленные?

– Немцы.

– А зачем?

– Кирпичи в Нару отправляли. Вот цыплята у менядохнут. Четвертый уже.

Отчего это?

Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.

– Или приминает она их? – размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.

И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха – кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперед, на главную улицу, такую же мертвую, куда упиралась эта.

На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его – колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или еще даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только ребра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было никого.

Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках – и тоже не было никого.

Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось – а с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней все было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрячь, как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада – и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.

Церковь была – вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко вбок пришлось отойти и там еще повилять и попрыгать.

В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки – белого, розового и желтого мрамора.

Иннокентий разогрелся от солнца, но не раздурманился, а чуть побледнел.

Под краем шляпы у него взмокли волосы.

Подошли к церкви. Тяжелой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе – от застойной ли воды, или от скотских трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью, был спуск, а внизу – много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, побег.

Но их окликнули:

– Закурить не будет, граждане?

Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.

Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто все же имел надежду найти там пачку:

– Не курю, товарищ.

– Жа-аль, – огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.

– Эта церковь – как называлась?

– Рождества, – уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову и так же быстро ушел за угол, как и появился.

Но там, куда идти им, ниже, они заметили еще и одноногого, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубаше с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.

– Откуда мрамор? – спросил Иннокентий.

– Чего? – отозвался латаный мужик.

– Ну вон, камень цветной.

– А-а-а... Алтарь разбили. – Думал. – Иконостас.

– А зачем?

Думал.

– Дорогу гатить.

– Отчего это у вас так... пахнет? – спросила Клара.

– Чего? – удивился одноногий. Думал. – А-а, это вам наверно от скотного. Скотный вон у нас, рядом.

Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться – туда, к ивам, вниз.

– А что там? – спросили они.

– Там? Ничего нет. – Думал. – А, речка.

Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегать, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.

– После такой деревни действительно на то кладбище потянет, – крутила она головой. – А ты – хромаешь?

– Да что-то трет.

В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись.

Теперь, когда не воняло, а зеленая влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки металась и плавали вокруг колокольни – смотреть отсюда было приятно.

– Ты очень устал! – тревожилась Клара. – Тебе на-до отдохнуть. И ногу посмотреть.

Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыв глаза. Откинутый, смотрел вверх, на церковь.

– Вот тебе, Кларочка, два Рождества...

– Почему – два?

– Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное – все небо в рекламах, все улицы – в заторе машин, душатся в магазинах, подарки – каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой затертой витринке – ясли и Иосиф с ослом.

– А какой Иосиф с ослом?

Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип – пропущенную ими могилу с обелиском.

– Жалко, не посмотрели.

– Давай я сбегаю! – взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала.

Она бежала как веселая, но совсем не весело было ей.

Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.

– Ну, кто ты думаешь?

– Священник?

– "Вечная слава воинам Четвертой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее... от министерства финансов."

– Финансов? – поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах. – Даже и финансов! Бедные клерки... Сколько ж их тут легло?.. И на сколько человек была одна винтовка? Четвертая дивизия ополчения?

– Да.

– Дивизия безоружных! – и четвертая... Вот дикость этой войны – народное ополчение...

– А почему – дикость? – онедоумела Клара.

Иннокентий вздохнул и свесил голову.

– Тебе плохо?... Инк, может вернемся? Не надо дальше?

Он еще вздохнул.

– Да нет, ничего. Жару я плохо переношу. И обулся неудачно, не сообразил.

– Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трет? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.

Мастерили.

А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.

– Ну что ж, Инк, пойдём дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдём вдоль реки, там тоже тень будет.

Он уже отошел и улыбался:

– Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях... А ты молодец. Пойдем, пойдём. По какому берегу?

Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой прикрученный от наводнения к низам ив.

Перейти? Не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговоры будут разные, и вся прогулка. Перейти?.. Не перейти?..

Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъеме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, еще были посажены березы рядком и ели. И заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями – наверно вырытый, такой правильный. Что это было все? Зброшенное ли именье? Не у кого спросить.

Отсюда, между шарами ив, еще красивее казалась церковь, почти на горе – и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку.

Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки.

Тут очень бы приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду – беготня водопеших стрекоз, а наверно есть и рыба и раки. Тут надо бы разуться по колена и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк.

Толстенная причудливая ива выростала на их берегу, а гнутым стволом перекидывалась на тот берег – как мост, и с поручнями таких же крученых изогнутых ветвей.

– Баобаб! – всплеснула Клара. – Вот красавец! А давай по нему на тот берег! Там, кажется, лучше идти.

Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косой ствол и протянула ему сильную руку:

– Пойдем!

Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка.

Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть.

Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут еще ветка, за которую он держался, пересекала их путь, надо было через нее же и перелезть. Все это делал он с лицом сосредоточенного думанья, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода Инк не получил.

И ничто не стало лучше на новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарыхтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды. И пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий все явнее хромал.

И вышли они – на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг: «Вперед, к победе коммунизма!», все же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зеленых машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с подпертыми или опущенными дышлами – все было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе все бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.

Да на холме работал один трактор.

И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пе-ресекали они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.

А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе.

– Подловим попутную? – сказал Иннокентий. – Не возвращаться ж на станцию опять.

День был в середине, а прогулка при конце.

Отчего натягивается между людьми вот эта препонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг Другу.

Но не дано было этому быть. Этого быть не могло.

Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть.

Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу.

По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками «огнеопасно» или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать – и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофером еще сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные: в откидные окошки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.

От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло.

И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.

Иннокентий опустился на камень у родничка и сказал потерянно:

– Жизнь – распалась.

– Но в чем? но в чем распалась, Инк? – с отчаянием вырвалось у Клары.

– Но ты же все обещал мне объяснить – и ничего не объясняешь!

Он посмотрел на нее большими глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

– Вот видишь – круг? Это – отечество. Это – первый круг. А вот – второй. – Он захватил шире. – Это – человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже – колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества – нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...

\*\*\*

Чуть ли не в те самые дни спеццать предложила Кларе анкеты. Она с легкостью заполнила их: происхождение ее было безупречно, жизнь – не протяженна, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков, порочащих гражданина.

Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены. Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Марфина.

## 45

С другими своими подругами, выпускницами института связи, Клара прошла пугающий инструктаж у темнолицего майора Шикина.

Она узнала, что работать будет среди крупнейших агентов – псов мирового империализма и американской разведки, нипочем продававших свою родину.

Клара была назначена в Вакуумную лабораторию. Так называлась лаборатория, изготовлявшая множество электронных трубок по заказам остальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в соседней маленькой стеклодувной; а затем в собственно-вакуумной, большой полутемной комнате, обращенной на север, откачивались тремя гудящими вакуумными насосами. Насосы, как шкафы, перегораживали комнату. Даже днем здесь горели электрические лампы. Пол был выложен каменной плиткой – и постоянно стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У каждого насоса сидел или похаживал свой вакуумщик, заключенный. В двух-трех местах за столиками еще сидели заключенные. А извольных были только одна девушка Тамара, да начальник лаборатории, капитан.

Этому своему начальнику Клара была представлена в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой еврей с каким-то налетом равнодушия. Ничем уже больше не страшая Клару, он кивнул ей идти за собой, а на лестнице спросил:

– Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете?

Клара ответила невнятно. Еще ко всему страху не хватало позора – сейчас разоблачат, что она невежда, и будут над ней смеяться.

Как в клетку со зверьми, она вступила в лабораторию, где обитали чудовища в синих комбинезонах. Она даже глаза поднять боялась.

Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов – у них был срочный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но у среднего насоса арестант лет за сорок, с плешинной, запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыбке и сказал:

– Во-о! Пополнение!

И сразу страх сняло. Столько доброты и простоты было в этом восклицании, что Клара только усилием лица удержалась от ответной улыбки.

Младший вакуумщик – у него был самый маленький из насосов, тоже остановился. Это был совсем юноша с веселым, чуть плутоватым лицом и невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох. Таким взглядом еще никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел.

Зато старший вакуумщик Двоетесов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел, – высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушел за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости.

Позже Клара узнала, что это не обидно, что таков он бывал со всеми вольными, при входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, еще висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить:

– А я – у себя на Родине! В своем отечестве – чего мне стесняться?

Среднего вакуумщика заключенные, даже и молодые, звали просто Земеля, на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют «солнечными натурами», а в народе говорят – «рот до ушей, хоть завязки пришей». В последующие недели наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чем пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был всамделишный хороший инженер, только моторист-авиационник, в Марфино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше.

Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь:

– Бывало, возьми пяточок и иди, чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют, – широко улыбался он. – Дерьмом никто не торговал.

Сапоги – так сапоги, десять лет без починки носишь, а с починкой – пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтобы под ногой круговую сходилась. Еще эти были... как они назывались?... красные расписные на спиртовой подошве – это ж не сапоги, это душа вторая! – Весь он растаивал в улыбке и жмурился как на слабое теплое солнышко. – Или, например, на станциях... Никогда на полу не лежали, по суткам никогда за билетами не душились. Приходи за минуту, покупай, садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли – не экономили... Вообще – просто, очень просто жилось...

Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из темного угла, где его письменный стол был надежно укрыт от начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глазами, а очки были спущены на нос:

– Земеля! Да ты разве царя помнишь?

– Помню немножко, – извинялся улыбкой Земеля.

– На-прас-но, – качал головой Двоетесов. – Забывай. А то социализм нужно качать.

– Да ведь, Костя, – робко возражал Земеля. – Социализм-то вроде построен, говорят.

– Ну-у-у? – вылупливался старший вакуумщик.

– Да-а. Еще с тридцать третьего, что ль, года.

– Это когда на Украине голод был? Так подожди, подожди, а что ж мы теперь вот день и ночь откачиваем?

– Теперь? Коммунизм наверно, – сиял Земеля.

– Да-а?!.. Вон она-а!.. – придурковато гундосил старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой угол.

Для себя или для Клары они такой разговор вели, – но Клара докладывать не ходила.

Обязанности Клары оказались несложны: ей надо было, чередуясь с Тамарой,

приходить один день с утра и быть до шести вечера, а другой день после обеда и – до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днем его могло требовать начальство; вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была – дежурство, то есть, слежка за заключенными. Помимо того, «для развития», начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего часа два в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключенными непринужденно. Кларе даже показалось, что с одним из них она довольна коротка и носит ему книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода) – заключенные. Тамара быстро рассеяла страхи Клары, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное.

Наконец, и сама Клара разговорилась с одним из заключенных. Правда, это был преступник не государственный, а всего-навсего бытовик, каких в Марфине содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув, великий мастер, на свою беду. Старуха теща говорила о нем, что работник он золотой, а пьяница еще золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но все было бы ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом три тысячи рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сделными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответственный собеседник добавил двести, Иван уперся на своем. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буяннить во дворе, но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же начальнику без знаков, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь.

Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась, и, чтоб не выслали из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на полтора тысячах.

Никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом – на шарашке были люди, по пятьдесят суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие папу римского и Альберта Эйнштейна. Но Клару эта история потрясла. Получалось, как сказал Иван, – «что хотят, то и делают».

Политических она дичилась, держала их от себя в осторожно-официальном отдалении. Но и от рассказа стеклодува вдруг осветилась подозрением ее голова, что среди этих синих комбинезонов могут встретиться и другие вовсе невинные. А если так – то не осудил ли и ее отец когда-нибудь тоже невинного человека?..

Однако опять же некому было задать этот вопрос: в семье – некому, и на работе – некому. Та дружба с Иннокентием и та прогулка не получили продолжения – может быть потому, что вскоре они с Нарой опять уехали за границу.

Однако, в этом году у Клары появился, наконец, друг – Эрнст Голованов.

Тоже не на работе она его нашла, он был литературный критик, и как-то Динэра привез-ла его к ним в дом. Не ахти какой он был кавалер, ростом только-только не ниже Клары (а когда отдельно стоял, то казался и ниже), прямоугольные у него были лоб и голова на прямоугольном туловище. Лишь немного старше Клары, он выглядел уже как будто средних лет, с брюшком и спортивно совсем не развит. (Откровенно говоря, и фамилия его была по паспорту Сауныкин, а Голованов – псевдоним.) Зато человек начитанный, развитый, интересный, и уже кандидат Союза Писателей.

Как-то была она с ним в Малом театре. Шла «Васса Железнова». Спектакль производил унылое впечатление. Он шел при зале, заполненном меньше, чем наполовину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение,

и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, и роли казались забавой, не достойной взрослого человека. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно, хватит кривляться!» – и спектакль разрушится. Унижение актеров передалось и зрителям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полупшепотом и беззвучно ходили по фойе.

Клара с Эрнстом тоже прошагали так первый антракт. Эрнст оправдывался за Горького и возмущался за Горького, что недостойно так его играть, бранил откровенно-халтурившего сегодня народного артиста Жарова, но еще смелее – общую рутину в министерстве культуры, которая подрывала и наш театр с его замечательными реалистическими традициями и доверие к нему зрителя. Эрнст не только писал складно, но и правильно, складно говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился.

Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Она сказала:

– Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения, старый женится на молодой. Мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят лет, уже сто лет прошло, а мы все машем руками, все разоблача-ем, чего давно нет. А о том, что есть – пьесы не увидишь.

– Отчасти верно. – Эрнст с благожелательной улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта никак не поражала наружностью, но с ней не соскучишься. – О чем же, например?

Никого не было ни в соседних ложах, ни под ними в партере. Снизив голос и стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, Клара рассказала Эрнсту, что работает с заключенными, разрисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими; И мучил ее вопрос, пусть скажет Эрнст – ведь среди них есть и невиновные?

Эрнст обстоятельно выслушал и ответил солидно, как обдуманно уже:

– Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе.

Клара не поняла, какая система, и в ответ не вдумалась, а хотелось ей кончить выводом стеклодува:

– Но тогда, Эрнст! Ведь это получается – что хотят, то и делают! Это же ужасно!

Сильная рука теннисистки сжалась в кулак на красном бархате барьера.

Свою короткопалую кисть Голованов плоско положил на барьер точно рядом, но не поверх клариной руки, этих вольностей незначай он не применял.

– Нет, – мягко, но уверенно объяснил он, – не «что хотят, то и делают». Кто это – «делает»? Кто это – «хочет»? История. Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон больших чисел. Чем на большем материале разворачивается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок – судебных ли, тактических, идеологических, экономических. Мы охватываем процесс только в его основных определяющих чертах, и главное – убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает.

Не всегда по заслугам. А убитые на фронте? А совсем бессмысленно погибшие от Ашхабадского землетрясения? от уличного движения? Растет уличное движение – должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать ее в ее развитии и с ее неизбежными ступеньками жертв.

Что ж, в этом объяснении был резон. Клара задумалась.

Уже дали два звонка, и зрители сходились в зал. В третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы, и стала вытягивать весь спектакль.

По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал ее не какой-то где-то невинный человек, который может быть уже давно сгнил за Полярным Кругом по Закону больших чисел, – а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смугло-золотистым отливом щек, почти мальчишка, несмотря на двадцать три года. С первой же встречи в его взгляде не гасло радостное преклонение перед Кларой, постоянно ее будоражившее. Она не могла расчесть и сопоставить, что Ростислав приехал из лагеря, где два года не видел женщин.

Она только первый раз в жизни чувствовала себя предметом восхищения.

Впрочем, восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролет при электрическом свете, в полутемной лаборатории, какой-то своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то мастерил; то украдкой учил в служебное время английский язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто, и всегда, в каждую минуту, а особенно в эту минуту казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение Кларой было одним из таких бурно интересных его занятий.

При этом он не забывал следить и за своей наружностью, из-под комбинезона у него под пестроватым галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно белое. (Клара не знала, что это и была манишка – изобретение Ростислава, шестнадцатая часть казенной простыни.) Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, и особенно Эрнст Голованов, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что легчает, что и ей хочется озорнуть. Все с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушный Земеля есть те самые цепные псы империализма, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать именно о Ростиславе – за какое злодейство он наказан? долго ли ему еще сидеть? (Что он не женат – было ясно.) Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны травмировать человека, возрождая перед ним его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться.

Прошло еще месяца два. Клара уже вполне обвыкла со всеми, множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключенных Клара оставалась в лаборатории одна, и неизменно стал приходить в это время – то за оставленными вещами, то позаниматься в тишине.

В эти его вечерние приходы Клара забыла все предупреждения оперуполномоченного...

Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.

Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать.

У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел.

Оказалось, он жил с матерью в подмосковной деревне, у канала. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу.

Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу. Все сошло как будто благополучно, Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали – тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Оказывается, МГБ всегда старается арестовать человека так, чтоб он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак.) Его посадили на Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине).

Началось следствие.

От Ростислава добивались – какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был

еще теленок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво: с Лубянки, откуда никого добром не выпускают, – Руську выпустили.

Это было еще в сорок пятом году. На этом он остановился вчера.

Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днем, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса – и беседа их возобновилась.

К обеденному перерыву они были уже как дети, по очереди кусающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая ее в нетерпении, он уже касался ее рук – и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв – вдруг новый смысл снизошел на то, что плечо у них было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в нее ярко-голубые глаза.

Срывающимся голосом Ростислав говорил:

– Клара! Кто знает – когда еще мы будем так сидеть? Для меня это – чудо! Я поклоняюсь вам! (Он уже сжимал и ласкал ее руки.) – Клара! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!

Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Ростислав притянул ее и отпечатлел на ее губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему...

Наконец, она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясенная...

– Уйдите... – попросила она.

Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.

– Сейчас пока – уйдите! – требовала Клара.

Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару – и его как укачнуло туда, за дверь.

Вскоре все вернулись с перерыва.

Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось – но не стыд совсем, а если радость – то не покойная.

Она услышала разговоры, что арестантам разрешена елка.

Она недвижно просидела три часа, шевеля только пальцами: плела из разноцветных хлорвиниловых проводков – корзиночку, подарок на елку.

А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул двух смешных стеклянных чертиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позвенивающий ясный месяц.

## 46

Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро заключенных ступили из голубого автобуса на прогулочный Дворик шарашки, – первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной.

Такая снеговинка, шестигранная правильная звездочка, упала и Нержину на рукав старой фронтальной порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и глубоко заглывал воздух.

Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.

Это было досадно. Не хотелось, да просто невозможно было никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничего участия. Ни говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя все это внутреннее, что он привез, пока оно еще не расплылось, не стало воспоминанием.

Но именно одиночества – не было на шарашке, как и во всяком лагере.

Всегда везде были камеры, и купе вагон-заков, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больниц – и всюду люди, люди, чужие, и близкие, тонкие и грубые, но всегда люди, люди.

Войдя в здание (для заключенных был особый вход – деревянный трап вниз и потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался – куда ж идти?

И придумал.

Черной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа.

Эта площадка была отведена подателью художнику-зэку Кондрашеву-Иванову. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве крепостного живописца: вестибюли и залы Отдела Спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами.

Менее просторны, зато более многочисленны были собственные квартиры замминистра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним работников, и еще более настоятельной необходимостью было – украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами.

Правда, Кондрашев-Иванов плохо удовлетворял этим запросам: картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но не красивые. Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золоченые рамы, картины эти выигрывали.

Нержин, миновав на востоке большой уже законченный заказ для вестибюля Отдела Спецтехники – «А.С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф», вывернул на последний марш лестницы и, еще прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком – «Изувеченный Дуб», двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.

По стенам лестничного пролета висели и другие полотна. Кое-какие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна – одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходило решеткой и розовой занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до божьего света.

Ничего более не было здесь, ни даже стула. Вместо того – два чурбачка стойком, повыше и пониже.

Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашева-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезавший руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнувшийся, и как будто не мерз. Большие очки, укрупнявшие и устрашавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашева. Взгляд его был уперт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках.

Услыша осторожные шаги, оглянулся.

Они встретились глазами, еще продолжая каждый думать о своем.

Художник не был рад посетителю – он нуждался сейчас в одиночестве и молчании.

Но более того – он был рад ему. И, не лицемеря ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:

– Глеб Викентьич?! Милости прошу!

И гостеприимно развел руками с кистью и палитрой.

Доброта – обоюдное качество для художника: она питает его воображение, но и разрушает его распорядок.

Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шепотом, будто еще кого-то третьего боялся здесь разбудить:

– Нет, нет, Ипполит Михалыч! Я пришел, если можно?.. помолчать здесь...

– Ах, да! ах, да! ну, разумеется! – так же тихо закивал художник, быть может уже по

глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание.

И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок.

Подобрав полы шинели, которые в лагере он уберег от обрезания, Нержин опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил и – очень ему хотелось закурить! – не закурил.

Художник устался в то же место картины.

Замолчали...

В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное чувство к жене.

Как будто в драгоценной пылице были те места пальцев, которыми он на прощанье касался ее рук, шеи, волос.

Годами живешь без того, что отпущено на земле человеку.

Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя). Убеждения (если ты до них созрел). И по самое горлышко – забот об общественном благе. Кажется – афинский гражданин, идеал человека.

А косточки – нет.

И одна эта женская любовь, которой ты лишен, словно перевешивает весь остальной мир.

И простые слова:

– Любишь?

– Люблю! А ты? – сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном.

Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она казалась сплетенной из одних достоинств. Из верности.

Жаль, не решился поцеловать ее еще в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.

Губы у жены – развыклые, слабые. И как утомлена! И как затравленно сказала о разводе.

Развод перед законом? Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел?

Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот – Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали ее за бесценок, – но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты.

Вот и Надя. Разводится, чтоб избежать преследований. А разведется – и сама не заметит, как выйдет замуж.

Почему-то от ее последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда...

Нержин сидел и сидел в молчании – и избыток послесвиданной радости, который еще распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.

«Тебе идет здесь» – сказала она.

Ему идет быть в тюрьме!

Это правда.

По сути вовсе не жаль пяти просиженных лет. Еще даже не отдалясь от них, Нержин уже признал их для себя своеобразными, необходимыми для его жизни.

Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?

Или где лучше узнать людей, чем здесь?

И самого себя?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его

железная предуказанная единственная тропа тюрьмы!

Как Спиридон говорит: «Своя воля клад, да черти его стерегут».

Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам века, – что потерял он, севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмоскovie. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их устраивать, и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жилье его, и мастерская была там – узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и посетители спрашивали: «Вы переезжаете?» Стол был у них единственный, и когда на нем разворачивался натюрморт – до окончания картины они с женой обедали на стульях.

В войну не стало масла для красок – он брал пайковое подсолнечное и разводил на нем. За карточки надо было служить, его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки.

Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну и изводил ее долгими сеансами. Однако, рисовал ее совсем не так, как надо было командованию – и никто потом не хотел брать этого портрета, названного:

«Москва, сорок первый год».

А сорок первый год на этом портрете – явился. Это была девушка в противоопридном костюме. Медно-рыжие буйные волосы ее выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура! Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоопридный черно-серый костюм ломался острыми жесткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости – и виделся как латы рыцарских времен. Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашев-Иванов увидел Орлеанскую Деву!

Очень, кажется, близко это все получилось к «не забудем! не простим!», но переходило за край, показывало что-то уже не управляемое – и картины испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде, она годы стояла в комнатенке художника, отвернутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста.

Сын Леонида Андреева Даниил написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот роман обошелся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашев-Иванов, правнук декабриста Кондрашева, приговоренного за восстание к двадцати годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его гувернантки-француженки.

Правда, в лагерь Кондрашев-Иванов не попал, а пря-мо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашев писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли еще второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других.

Здесь он лишен был встречаться и беседовать с другими художниками. И смотреть картины других. И по альбомам репродукций, просочившимся через таможенную, узнавать, как там и куда растет западная живопись.

А куда б она ни росла – это никак не могло влиять и отношения не имело к работе Кондрашева-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где все открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда: две вершины – рисунок и цвет, как

мог увидеть только он, две вершины – мировое Добро и мировое Зло, а пятая – сам художник.

Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел, и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к истинным их цветам он прозрел в камерах, полутемных от намордников, – и теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи.

Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата, четыре к пяти (Кондрашев первейшее значение придавал соотношению сторон) и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя, ребром – ярко-начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался он как доблестно горящий щит! И стоял рядом темно-металлический кувшин, в мелких углубинах вороненый – не для вина, скорей для свежей воды. А еще по задней стене спадала желто-золотая парча (всеми оттенками желтого особенно увлекался сейчас Кондрашев) и воспринималась как накидка Невидимого. Что-то было в сочетании этих трех предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступить.

(Никто из полковников не брал этого натюрморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз.) Кондрашев писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довел до той ступени, которая дает мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень.

Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом все меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет.

Он оставлял их – отворачивал к стене, задергивал. Картины от него отделялись, отдалялись, – а когда он снова свежо взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, – прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но все-таки он их написал!

... Уже полный внимания, Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашева.

Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тек ручей – почти нельзя было понять: он не тек вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок – это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в вытаинах между ними торчала желкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосвязаемо-дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а – в глубине: густою грудью леса стояли оливково-черные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная береза. От ее желтого нежного огня еще мрачней и сплоченней стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадежных пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но и не это еще было главное, а – стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже еще какое-то другое равновесие.

В эту картину сейчас и устался автор.

Был неотклонимый закон у творчества, Кондрашев хорошо и давно его знал, пытался остояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был – что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счет, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось сегодня, только оно было средоточие всего его жизненного опыта, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.

А оно не удавалось!

Каждое из прежних до того, как удался, тоже не удавалось, но прежнее отчаяние было все забыто, а теперь вот это единственное – первое, на котором он учился писать по-настоящему! – оно не удавалось – и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было

никогда никакого!

Вот эта вода – она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна – но все это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы.

Этого синтеза – понимания, успокоения, всесоединения – сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашев никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее успокоение – передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять – передавала или нет?

– А вы знаете, Ипполит Михалыч. Я, кажется, начинаю с вами соглашаться: все эти места – Россия.

– Не Кавказ? – быстро обернулся Кондрашев-Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые.

Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишен важности.

Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашева: они казались им не русскими, а кавказскими, что ли – слишком величественными, слишком приподнятыми.

– Вполне могут быть такие места в России, – все уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошелся, рассматривая «Утро необыкновенного дня» и другие пейзажи.

– Ну, разумеется! ну, разумеется! – волновался художник и крутил головой. – Не только могут быть в России – но и есть! Я бы вас повез, если бы без конвоя! Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, – скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Петр Первый? декабристы? народовольцы?

– У-у, – понравилось Нержину. – Это верно. Но все-таки, Ипполит Михалыч, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот, изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним конечно – бездна, меньше вы не принимаете. И небо – не только грозное, но оно вообще никогда не знало солнца, такое небо. И все ураганы, какие за двести лет где-нибудь дули – все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист, вам если злодейство – то самое непомерное. Но это устарело, в статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом...

– Да это слышать невозможно!! – разгневался художник и потрясал длинными руками. – Что устарело?! Злодейство устарело??? Да только в нашем веке оно и проявилось впервые, при Шекспире были телячьи забавы! Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над Злом и Добром, и чтоб мигали как маяки! А то мы заблудились в нюансах! Статистически редко? А – каждого из нас? А – сколько нас миллионов?

– Вообще-то да... – покачал головой и Нержин. – Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за двести грамм черняшки... Но это как-то беззвучно делается, как-то непоказно...

Кондрашев-Иванов еще выпрямился, еще воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он еще вверх и вперед, как Эгмонт, ведомый на казнь:

– Но никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека!

Нержин усмехнулся со злою трезвостью:

– Не должен, может быть, – но сламывает! Вы еще не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят – если выходят – неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание.

– Н-нет!! – Кондрашев-Иванов расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром. – Нет! Нет! Нет! Да это было бы унижительно! Да для чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте – бывают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие требует, чтоб они изменили! А почему бывают разными люди, попавшие в одинаковые условия, хоть и в тот же лагерь? Еще неизвестно, кто кого формирует: жизнь – человека или сильный благородный человек – жизнь!

Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями:

– В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы – ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить! И еще каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнен, а иногда так явно выступает! И напоминает ему его рыцарский долг!

– Да, и вот еще, – почесал в затылке Нержин, тем временем опять осевший на чурбак. – Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя конечно, Мите Сологдину это нравится. Девченка-зенитчица у вас – рыцарь, медный поднос у вас – рыцарский щит...

– Ка-ак? – изумился Кондрашев. – Вам это не нравится? Перехожу меру!

Ха! ха! ха! – грандиозным хохотом обгремелся он, и по всей лестнице, как по скалам, раздалось эхо от его хохота. И как пикою с коня поражая Нержина, ткнул в его сторону руку, заостренную пальцем:

– А кто изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических пиров! А кого не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый, – не хватает рыцарей!!

При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!

И вдруг смолк, и со всей конской высоты мягко снизился на корточки рядом с гостем и, блеща очками, спросил шепотом:

– Вам – показать?

И так всегда кончаются споры с художниками!

– Конечно, покажите!

Кондрашев, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на подрамник, и принес его, держа к Нержину обратной серой стороной.

– Вы – о Парсифале знаете? – глуховато спросил он.

– Что-то связано с Лоэнгрином.

– Его отец. Хранитель чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно впервые увидит Образ Совершенства...

Кондрашев закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам.

Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит.

Художник открыл веки:

– Это – только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я ее, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел – замок! святого!! Грааля!!!

И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего оттуда. И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся.

Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали.

Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса – дремучего, первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по воле всадника, и попятиться и перенестись – ей по силам и крылато перенестись.

Но всадник не смотрел на бездну перед лошастью. Растерянный, изумленный, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на все верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то еще чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках,

видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, – не четко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и все же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, – стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля.

## 47

Звонок обеденного перерыва разнесся по всем закоулкам здания семинарии-шарашки, достиг и отдаленной лестничной площадки.

Нержин поспешил на воздух.

Как ни ограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все, и как в камере, три шага вперед и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния.

Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безызысистой артиллерийской шинели (неснятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и с прогулки могли прогнать – а идти переодеваться было жалко прогулочного времени), – Нержин быстрыми шагами дошел и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблевидному дому.

Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре.

Снежинки кружились все такие же редкие, невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав.

Нержин стал ходить почти ощупью, с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело все заменялось внутри. А душа сливалась с покоем неба – даже вот такого мутного, зрелого снегом.

Но тут окликнули его:

– Глебка...

Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и зимней шапке (и он был арестован с фронта зимой), не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка: друг как бы еще продолжал свидание с женой – и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды.

– Глебка! Если я очень нарушаю настроение – скажи, исчезну. Но весьма нужно поговорить.

Нержин посмотрел в просительно-мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип – и опять на Рубина. Сколько бы ни ходить тут, по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя-счастья в душе. Оно уже застывало.

Жизнь продолжалась.

– Ладно, Левчик, вали!

И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу без улыбки смекнул Глеб, что случилось важное.

Нельзя было искусить Рубина тяжелей: нагрузить его мировой тайной и потребовать, чтоб он ни с кем не поделился из самых близких! Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки – он не открыл бы им своего сверхзадания! Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину – это было уже сверхчеловеческое требование!

Сказать Глебу – все равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе

классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что – была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время, а потом пойдет горячка, от лент не оторвешься, а дело расширится, надо брать помощника...

Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны.

Две облезлые фронтовые шапки, и две потертые ши-нели, плечами сталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом.

– Дитя мое! Разговор – три нуля. Даже в Совете Министров об этом знают пара человек, не больше.

– Вообще-то я – могила. Но если такая заклятая тайна – может, не говори, не надо? Меньше знаешь – больше спишь.

– Дура! Я б и не стал, мне за эту голову отрубят, если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь.

– Ну, бузуй.

Все время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы.

Как ни мало любопытен стал Нержин в тюрьме – он слушал с густым интересом, раза два останавливался и переспрашивал.

– Пойми, мужичок, – закончил Рубин, – это – новая наука, фоноскопия, свои методы, свои горизонты. Мне и скучно и трудно входить в нее одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоем! Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?

– Чего доброго, – промычал Нержин, – а то – науки! Пошла она к кобелю под хвост!

– Ну, правильно, Аркезилай из Антиоха этого бы не одобрил! Ну, а – досрочка тебе не нужна? В случае успеха – добротная досрочка, чистый паспорт. А и без всякого успеха – упрочишь свое положение на шарашке, незаменимый специалист! Никакой Антон тебя пальцем не тронет.

Одна из лип, в которые упиралась тропка, имела ствол, раздвоенный с высоты груди. На этот раз Нержин не пошел от ствола назад, а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение. Из-под шапки, сдвинутой на лоб, он приобрел вид полублатной, и так смотрел на Рубина.

Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его.

– Слушай, Лев... Все эти атомные бомбы, ракеты «фау» и новорожденная твоя фоноскопия... – он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить, – ... это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена совета министров, конечно Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то досрочка нам будет – из пистолета в затылок. Кстати, почему в ЧК-ГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, это низко. Я предпочитаю – с открытыми глазами и залпом в грудь! Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что! А работы много, берегут нервы палачей...

Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал, все так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперек переговорено все на свете, все известно – а вот глаза их, темно-карие и темно-голубые, еще изучающе смотрели друг на друга.

Переступить ли?..

Рубин вздохнул:

– Но такой телефонный разговор – это узелок мировой истории. Обойти его – нет морального права. Нержин оживился:

– Так ты и бери дело за жабры! А что ты мне вкручиваешь тут – новая наука да досрочка? У тебя цель – словить этого молодчика, да?

Глаза Рубина сузились, лицо ожесточело.

– Да! Такая цель! Этот подлый московский стилияга, карьерист, стал на пути социализма – и его надо убрать.

- Почему ты думаешь, что – стилига и карьерист?
- Потому что я слышал его голос. Потому что он спешит выслужиться перед боссами.
- А ты себя не успокаиваешь?
- Не понимаю.
- Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским?

Не странный ли способ выслуживаться – через границу, не называя даже своего имени?

– Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу – мировой скандал и миллион в карман.

– М-да-а... Но все-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трехсот до двух тысяч четырехсот герц... А как ты думаешь, он – правду сообщил?

– То есть, относительно радио магазина?

– Да.

– В какой-то степени очевидно – да.

– "В этом есть рациональное зерно"? – передразнил Нержин. – Ай-ай-ай, Левка-Левка! Значит, ты становишься на сторону воров?

– Не воров, а – разведчиков!

– Какая разница? Такие же стилиги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман! Или – ты не слышал их голосов?

– Дурень! Ты безнадежно отравлен испареньями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? – Лицо Рубина выражало страдание.

Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола:

– Слушай, у кого это я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алешах...?

– То было другое время, еще неотдифференцированных понятий, еще не прояснившихся идеалов. Тогда – могло быть.

– А теперь прояснились? В виде ГУЛага?

– Нет! В виде нравственных идеалов социализма! А у капитализма их нет, одна жажда наживы!

– Слушай, – уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липы, устраиваясь для длинного разговора, – какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на земле их не видим, ну допустим кто-то испортил эксперимент, но где и когда они обещаны, в чем они состоят?

А? Ведь весь и всякий социализм – это какая-то каррикатура на Евангелие.

Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путем.

– И этого мало? А в каком обществе во всю историю это было?

– Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство, и сытость! Вот одолжили – равенство и сытость! Вы нам – нравственное общество дайте!

– И дадим! Только не мешайте! На дороге не стойте!

– Не мешайте бомбы выкрадывать?

– Ах, вывороченные мозги! Но почему ж все умные трезвые люди...

– Кто? Яков Иванович Мамурин? Григорий Борисович Абрамсон?.. – смеялся Нержин.

– Все светлые умы! все лучшие мыслители Запада, Сартр! – все за социализм! все против капитализма! Это становится уже трюизмом! А тебе одному неясно! Обезьяна прямоходящая!

Рубин наклонился на Нержина, корпусом на него наседавал и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в грудки:

– Ладно, пусть обезьяна! Но не хочу я разговаривать в твоей терминологии – какой-то «капитализм»! какой-то «социализм»! Я этих слов не понимаю и не могу употреблять!

– Тебе – Язык Предельной Ясности? – рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения.

– Да, если хочешь!

– А что ты понимаешь?

– Я – вот понимаю: своя семья! неприкосновенность личности!

– Неограниченная свобода?

– Нет, моральное самоограничение.

– Ах, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми амебными понятиями ты проживешь в двадцатом веке? Ведь все эти понятия классовые!

Ведь они зависят от...

– Ни от хрена они не зависят! – отбился и выпрямился из углубления Нержин. – Справедливость – ни от чего не зависит!

– Классовое! Классовое понятие! – тряс Рубин пятерню над его головой.

– Справедливость – это глава угла, это основа мироздания! – замахал и Нержин. Издали можно было подумать, что они сейчас будут драться. – Мы родились со справедливостью в душе, нам жить без нее не хочется и не нужно!

Помнишь, как Федор Иоанныч говорит: я не умен и не силен, меня обмануть не трудно, но белое от черного я отличить могу! Давай сюда ключи, Годунов!!

– Никуда ты, никуда не денешься! – грозно толковал Рубин. – Придется тебе дать отчет: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

– Вот еще мать твою фанатиков перегреб, – всю землю нам баррикадами перегородили! – сердился и Нержин. – Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья – так нет же, за ноги дергают: кто не с нами, тот против нас! Оставьте мне простору! Оставьте простору! – отталкивался Нержин.

– Мы тебе оставим – так те не оставят, с той стороны!

– Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...

– Дитя мое, – смягчился Рубин, – в исторической перспективе...

– Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь! – бюрократическое извращение, временный период, переходный строй – но он мне жить не дает, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй, – и я его защищать не буду, я не полоумный!

– Я ошибся, что затронул тебя после свидания, – совсем мягко сказал Рубин.

– Не причем тут свидание! – не спадало ожесточение Нержина. – Я и всегда так думаю! Над христианами мы издеваемся – мол, ждете рая, дурачки, а на земле все терпите, – а мы чего ждем? а мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница – счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно.

– Никогда ты не был марксистом!

– К сожалению был.

– Су-бака! Стерьва... Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь – одному работать?

– Найдешь кого-нибудь.

– Ко-го?? – нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.

– Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной желто-коричневой жидкостью обливать, а я им – добывай атомную бомбу?

Нет!

– Да не им – нам, дура!

– Кому – нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне – не нужна. Я, как и Земеля, к мировому господству не стремлюсь.

– Но шутки в сторону! – спохватился опять Рубин.

– Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу?..

– Ты спутал, Левочка, – нежно коснулся отворота его шинели Глеб. – Бомба – на Западе, ее там изобрели, а вы воруете.

– Ее там и кинули! – блеснул коричнево Рубин. – А ты согласен мириться? Ты –

потворствуешь этому прыщю?

Нержин ответил в той же заботливой форме:

– Левочка! Поэзия и жизнь – да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же – твой Алеша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь – иди бери.

– А ты – не пойдешь? – ожесточел взгляд Рубина.

– Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

– А по-твоему – воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

– Как изолировать?! Идеалистический бред!

– Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали – надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!

Рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке, а Нержин – лицом и увидел быстро подходившего к ним Доронина.

– Тихо, Руська идет. Не поворачивайся, – шепотом предупредил он Рубина. И продолжал громко ровно:

– Слушай, а тебе такой не встречался там шестьсот восемьдесят девятый артиллерийский полк?

– А кого ты там знал? – еще не переключась, нехотя отозвался Рубин.

– Майора Кандыбу. С ним был интересный случай...

– Господа! – сказал Руська Доронин веселым открытым голосом.

Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро:

– Что скажете, инфант?

Ростислав смотрел на Рубина непритворенным взглядом. Лицо его дышало чистотой:

– Лев Григорыч! Мне очень обидно, что я – с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным? Господа! Я пришел вам предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех хриstopродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебрянников?

## 48

Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком. Все сердца привлекал его необидчивый нрав, удатливость, быстрота. Немногие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно; если стоящие у сетки пропускали мяч, он от задней черты бросался под него «ласточкой», отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колена и локти. Нравилось и необычное имя его – Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, заросла пышными русыми волосами.

Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что в учетной карточке ГУЛага он числился как фрезеровщик; на самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь Руську спас Двоетесов, взявший его учиться на меньшем из вакуумных насосов.

Переимчивый Руська быстро научился. За шарашку он держался как за дом отдыха – в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с веселым азартом: как он доходил в сырой шахте, как стал делать себе мостырку-ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы два термометра никогда не расходились больше, чем на десятую долю градуса (двумя термометрами его хотели разоблачить).

Но со смехом вспоминая свое прошлое, которое за двадцать пять лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своем главном качестве – донного парня, два года водившего за нос сыскной аппарат МГБ. Достойный крестник этого учреждения, он так же не гнался за славой, как и

оно.

И так в пестрой толпе обитателей шарашки он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошел до двадцати самых влиятельных зэков шарашки, составлявших ее общественное мнение, – и с глазу на глаз каждому из них возбужденно сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага.

Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено пятью сменными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках, – майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счел, что Доронин – юноша, и потому нестойкий, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному.

Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали, например, в секретариат, а там говорили: «да-да, зайдите к майору Шикину»), Ростислав просидел у него три часа. За это время, слушая нудные наставления и разъяснения кума, Руська своими зоркими емкими глазами изучил не только крупную голову майора, поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиковых ботинках, мраморный настольный прибор и шелковые оконные шторы, но и, мысленно переворачивая буквы, перечел заголовки на папках и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за полтора метра, и еще успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе.

Порою Доронин простодушно уставлял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться.

Руська понимал, что Шикин действительно может услатить его на Воркуту, если он откажется стать стукачом.

Не Руську одного, но все поколение руськино приучили считать «жалость» чувством унижительным, «доброту» – смешным, «совесть» – выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества.

Не то, чтоб это все в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него был сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно – стать стукачом, а – что из этого получится? Уже обогащенный бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлестких тюремных споров, этот юноша не выпускал из виду и такую ситуацию, когда все эти архивы МГБ будут раскапывать, и всех тайных сотрудников предавать позорному суду.

Поэтому согласиться на сотрудничество с кумом было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем – отказаться от него.

Но кроме всех этих расчетов Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки!

И для правдоподобия уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился.

После его ухода Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую – такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных зэков и исповедывался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы МГБ и выявить подлинных стукачей.

Другого подобного признания не помнили зэки, даже старые. Руську недоверчиво спрашивали – зачем он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:

– А когда над этой сворой будет Нюрнбергский процесс, – вы за меня выступите свидетелями защиты.

Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал еще одному-двум, – и никто не пошел и не донес куму! Уже одним этим полета людей утвердились выше подозрений.

Событие с Руськой долго волновало шарашку. Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал материалов. Руське приходилось что-нибудь давать. Он обходил своих доверителей и жаловался:

– Господа! Воображаете, сколько стучат другие, если я вот месяца не служу – а как Шикин жмет! Ну войдите в положение, подбросьте матерьяльчика!

Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с зэками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять (говорила она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало известно) и сама завалила двоих – одного на связи с девушкой, другого – на изготовлении чемодана из казенных материалов. Руська бессовестно оболгал ее, что она берет от зэков письма на почту и ворует из шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы – полковник МВД, решительно протестовал, – по неотразимой силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная.

Иногда Руська стучал и на зэков – по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чем не признаешься.

Так Руську постигла судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донес, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова, и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к причту стукачей.

Не подозревал и Нержин, любящий Руську со всеми его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга – Нер-жина собственная, это выяснится, отнять ее никто не отнимет, – а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное принесенную ему вольной девушкой.

\*\*\*

Еще сохраняя на губах вкус клариного поцелуя, Руська вышел во двор.

Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался теплым, как весной.

В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно-тяжело.

Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора о том объявлять (раньше было нельзя, чтоб не сорвалось). И, овеянный восхищением Клары, оттого чувствуя себя тройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора, – и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута набок и назад, так что лоб весь и уголок темени с космой волос были доверчиво открыты нехолодному дню.

По строгому лицу Нержина, как видел Руська на подходе и потом по хмурому обернутому лицу Рубина, они говорили о серьезном. Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно.

Что ж, сглотив обиду, он толковал им:

– Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд

должен быть оплачен? Так вот, завтра каждый Иуда будет получать свои серебрянники за третий квартал этого года.

– Резинщики! – возмутился Нержин. – Уже и четвертый отработали – а они только за третий? Почему такая задержка?

– Очень во многих местах надо подписывать платежную ведомость, – объяснял Руська извиняющимся тоном. – В том числе буду получать и я.

– И тебе тоже платят за третий? – удивился Рубин. – Ведь ты же там служил только полквартала?

– Ну что ж, я – отличился! – с подкупающей от-крытой улыбкой оглядел обоих Руська.

– И прямо наличными?

– Боже упаси! Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счет. Меня спросили – от какого имени вам прислать? Хотите – от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня покоробил. Я попросил – нельзя ли от имени Клавды Кудрявцевой? Все-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина.

– И по сколько же за квартал?

– Вот тут-то самое остроумное! Осведомителю по ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте, а неумолимая почта берет три рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлет, – эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господи?

## 49

В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на темную мостовую улицы Матросская Тишина, с бульжников которой скаты автомашин слизали последние остатки снега прошлых дней, – в 318-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.

318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна к двери была продолговата, и вдоль стен ее, справа и слева, упнулись по три железных кровати гуськом и шатко высились плетеные этажерки с книгами. Средней полосой комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие проходы, один за другим стояли два сто-ла: ближе к окну – «диссертационный», где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописного текста, а дальше – общий, за которым сейчас Оленька гладила, Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папилютки. У дверной стены еще оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской (умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неудобно, холодно, далеко).

На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался «бразильский флаг». У нее были еще и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей-коммунисткой в Венгрии.

Следующая в ряду постель Люды была растерзана (Люда не так давно встала), одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шелковое платье и чулки. И персидский коврик висел над кроватью. Сама же Люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины еще мальчиком. Она подробно вспоминала

ресторанную обстановку, какой был оркестр, какие блюда, гарниры и пили что.

Утюг Оленьки был включен в патрон-"жулик" над столом и оттуда свисал шнур. (Чтобы не расходовали электричества, утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены, розеток не ставили, а за «жуликами» охотилась вся комендатура.) Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей глажкой. Жакет этот и юбка к нему были ее все. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе двадцати копеек – не доплачивала, стена у ее кровати была завешана географической картой – зато вот этот вечерний наряд был весь хорош, никакой части его не приходилось стыдиться.

Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами лица и в очках старше своих тридцати лет, пыталась на сто-ле, качаемом глажкой, и под этот назойливый оскорбляющий ее рассказ писать письмо. Попросить другого помолчать она вообще считала неделикатным. Остановливать же Люду было – ее распалать, она бы только сдержала. Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов, да и приехала-то больше для развлечения. Отец ее, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа.

Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла еще особую пикантность. У себя в Воронеже уже бывшая три месяца замужем и сходившаяся потом кой с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у нее прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю, а когда потрясенный поэт вымолил у нее первый в ее жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению не на русском.

Муза писала письмо своим глубоко-пожилым родителям в далекий провинциальный город. Папа и мама ее до сих пор любили друг друга как молодожены, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла все оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И так же любила их дочь, и привыкла писать им часто и подробно о каждом своем переживании.

Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера последней пятницы, с Музой случилось такое, от чего затмилась ее неутомимая повседневная работа над Тургеневым – работа, заменявшая ей всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у нее было самое гадкое – будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя ни отмыть, ни скрыть, ни показать – и существовать с этим тоже нельзя.

Случилось, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться, ее вызвали в канцелярию общежития, а там сказали:

«да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иванович и Сергей Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они держали ее час, и два, и три. Они начали с расспросов, с кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре (хотя знали, конечно, не хуже ее). Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого Муза не нашлась возразить, это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей помогать им, то есть в определенное время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете, по уговору, – и там отвечать на определенные вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде.

И с этого – началось долгое, ужасное! Они стали говорить с ней все грубее, покрикивать, обращаться уже на «ты»: «Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностранная разведка вербует!» «Нужна она иностранной разведке, как кобыле пятая нога...» Потом

прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут (а у нее шли последние месяцы, и диссертация была почти готова), научную карьеру ей поломают, потому что такие ученые хлюпики Родине не нужны. Это очень ее напугало: разве был для них труд выгнать ее из аспирантуры? Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и как бы невзначай держали наведенным на Музу. От пистолета у Музы, наоборот, страх миновал. Потому что в конце концов остаться живой, но выгнанной с черной характеристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили ее думать до вторника, вот до ближайшего вторника, двадцать седьмого декабря, – и взяли подписку о неразглашении.

Они уверяли, что им все известно, и если она кому-нибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.

Каким несчастным выбором они остановились именно на ней?.. Теперь обреченно она ждала вторника, не в силах заниматься, – и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего счастья.

Оленька слушала с улыбкой, раз поперхнулась водой от смеха. Оленька хотя и поздновато из-за войны, в двадцать восемь лет была наконец счастлива-счастлива-счастлива и всем прощала все, пусть каждый добывает себе счастье как может. У нее был возлюбленный, тоже аспирант, и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увести.

– Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчещена!

Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки.

Худенькая Эржика все это время, лежа, читала «Избранное» Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения – служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны еще не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг.

И все-таки она опустила книгу и перекалась на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. («Разве в Советском Союзе бывают безработные?») То, будто, чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. «Но ведь это – явление моментальное?» – спрашивала Эржика.

(Она хотела сказать – временное.) Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода – надо правдоподобно изобразить, что она-таки была невинна. И стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь.

Змейка страдания прошла по лбу Музы. Неделикатно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати.

Оленька же весело воскликнула:

– Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?

– Конечно ду-у-уры! – смеялась Люда. – А это так просто!

Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта:

– Он не член ССП, пишет все на испанском, и как у него будет дальше с гонорами? – ничего твердого!

Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол.

– Как? – спросила она. – И ты... и в Советском Союзе тоже выходят замуж по счету?

– Привыкнешь – поймешь, – тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на ее голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэта.

– Девочки, я делаю такое выведение... – начала Эржика, но заметила странный

опущенный взгляд Музы на пол близ нее – и ахнула – и вздернула ноги на кровать.

– Что? Пробежала? – с искаженным лицом крикнула она.

Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал. Здесь, в 318-й комнате, иногда даже и днем, а по ночам особенно нахально, отчетливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на ее кровать и будут бегать прямо по ней. Днем еще, при смехе подруг, страх ее миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и клялась, что если доживет до утра – будет уходить со Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за свое. Две недели назад колебания Эржики решились: не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысенка. Трясаясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно-примиренную острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в венгерское посольство и просила поселить ее на частной квартире. Посольство запросило министерство иностранных дел СССР, министерство иностранных дел – министерство высшего образования, министерство высшего образования – ректора университета, тот – свою адмхозчасть, и хозчасть ответила, что частных квартир пока нет, жалоба же о якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую. Все же посольство обнадеживало Эржику, что комнату ей дадут.

Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своем бразильском флаге как экзотическая птица.

– Девочки-девочки, – жалобным распевом говорила она. – Вы мне все так нравитесь! Я бы ни за что не ушла от вас мимо крыс.

Это была и правда и не правда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что то непонятное творилось на ее родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и еще других венгерских студентов вместе с ним – отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма.

В запертую дверь раздался их условный стук ( «утюга не прячьте, свои!»). Муза поднялась и, прихрамнув (колено ныло у нее от раннего ревматизма), откинула крючок. Быстро вошла Даша – твердая, с большим кривоватым ртом.

– Девченки! девченки! – хохотала она, но все ж не забыла накинуть за собой крючок. – Еле от кавалера отвязалась! От кого? Догадываетесь!

– У тебя так жирно с кавалерами? – удивилась Люда, роясь в чемодане.

Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и все какие-то не настоящие.

– Подожди! – Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу.

– От Челюстей?

«Челюсти» был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и, как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры.

– От Буфетчика! – воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно-собранных темных волос и повесила ее на колок. Она медлила снять дешевенькое пальтецо с цыгеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери.

– Ах – того??!

– В трамвае еду – он заходит, – смеялась Даша. – Сразу узнал. «Вам до какой остановки?» Ну, куда денешься, сошли вместе. «Вы теперь в той бане уже не работаете? Я заходил сколько раз – вас нет.»

– А ты б сказала... – смех от Даши перебросился к Оленьке и охватывал ее как пламя, – ты б сказала... ты б сказала...! – Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать, однако не мня разложенного там костюма.

– Да какой буфетчик? Какая баня? – добивалась Эржика.

– Ты б сказала...! – надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли ее. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку.

Засмеялись и Люда, и ничего не понявшая Эржика, и сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки.

– Куда, говорит, идете? Кто у вас тут, в студенческом городке? – хохотала и давилась Даша. – Я говорю... вахтерша знакомая!.. рукавички!.. вяжет...

– Ру? – ка? – вички?..

– ... вяжет!!!..

– Но я хочу знать! Но какой буфетчик? – умоляла Эржика.

Оленьку хлопали по хребту. Отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно – с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике:

– Это еще осенью было, затепло, до тебя... Ну, где жениха искать?

Через кого знакомиться? Людка и посоветовала: иди, мол, гулять в Сокольники, только одна! Девушкам все портит, что они по двое ходят.

– Расчет без промаха! – отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли.

– Вот я и пошла, – продолжала Даша, но уже без веселья в голосе. – Похожу – сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик, в закуской работает.

А я где?.. Стыдно мне так стало, не сказать же, что аспирантка. Вообще ученая баба – страх для мужчин...

– Ну – так не говори! Так можно черт знает до чего дойти! – недовольно возразила Оленька.

В мире, таком прореженном и таком опустевшем, после того как вытолкнули из него железное туловище войны; когда зияли только ямки черные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на пять-на десять-на пятнадцать лет, – этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «ученая баба» нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи.

– ... Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал – в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...

Все оживление покинуло Дашу. Темные глаза ее смотрели тоскливо.

Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.

Когда-то, еще в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать кряду, надоело ей учиться до ломоты в голове – а зачем она училась? Простая бабья радость – ребенка родить, и вот не от кого, не для кого.

И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку:

– Нет, девчата, жизнь – не роман...

При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, упрощает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: для чего ж училась девка? – за агронома вышла. Это и любая звеньевая может... А с другой стороны Даша чувствовала, что и кандидат наук она будет ненастоящий, стреноженный, скованный, что вузовская работа будет ей – неподъемный заклятый клин; что и кандидатом не посмеет и не сумеет она проникнуть в те

высшие свободные круги науки.

Идущих в науку женщин, их целую жизнь хвалили, хвалили, так напевали, так много им обещали – и тем жестче было теперь упереться в глыбу лбом.

Ревниво досмотрев за развязной удачливой соседкой, Даша сказала:

– Людка! А ты – ноги помой, советую.

Люда осмотрелась:

– Ты думаешь?

В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в «жулик» вместо утюга.

Какойнибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у нее новопкупка из белья, не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.

Так все стихли, и можно было бы наконец вникнуть по-настоящему в письмо. Но нет, оно не выписывалось! Муза перечитала последние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела... – нет, письмо не удавалось! В письме была ложь, и мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что то черное – но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжет?..

Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух – и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается! – выбор целой жизни, и ни с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти помощи! – подписка о неразглашении! А во вторник опять предстать пе-ред теми двумя, уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить еще позавчера! А теперь все погибло. Потому что они ведь не уступят. Но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке – и все время помнить, что ты – доносчица, что у тебя есть кличка – Ромашка или какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девченок или на своего профессора?..

Муза сняла с зажмуренных глаз слезы, стараясь незаметно.

– А где Надюшка? – спросила Даша.

Никто не отозвался. Никто не знал.

Но у Даши за шитьем пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде:

– Как вы думаете, девочки, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошел пятый год после войны. Ну, уж кажется, можно бы и отсечь, а?

– Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь! – со страданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава ее сероклетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки. – Только так и любят!

Истинная любовь перешагивает гробовую доску!

Сочные чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку:

– После гробовой доски? Это, Муза, что-то трансцендентное. Память, нежные воспоминания, – но любовь?

– Вот именно: если человека нет вообще – как же его любить? – вела свое Даша.

– Я б ей, если б могла, честное слово, сама бы похоронное извещение прислала: что убит, убит, убит и в землю закопали! – горячо высказалась Оленька. – Что за проклятая война – пять лет прошло, а она все на нас дышит!

– Во время войны, – вмешалась Эржика, – очень многие загнались далеко, за океан. Может и он там, живой.

– Ну, вот это может быть, – согласилась Оля. – Так она может надеяться. Но вообще, у Надюши есть такая тяжелая черта: она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни не хватало.

Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала ее. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит.

– Так слушайте, девочки, – веско сказала она теперь. – Все это нас Надюшка морочит,

врет. Ничего она не считает мужа мертвым, ни на какой возврат из без вести она не надеется. Она просто знает, что муж ее жив. И даже знает, где он.

Все оживились:

– Откуда ты взяла?

Даша победно смотрела на них. Давно уже за ее редкую приглядчивость ее прозвали в комнате следователем.

– Слушать надо уметь, девки! Хоть раз обмолвилась она о нем как о мертвом? Не-а. Она даже «был» старается не говорить, а как-нибудь так, без «был» и без «есть». Ну, если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нем порассуждать как о мертвом?

– Но что ж тогда с ним?

– Да неужели не ясно? – вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитье.

Нет, им не было ясно.

– Он жив, но бросил ее! И ей стыдно в этом признаться! И придумала – «без вести».

– А вот в это поверю! в это поверю! – поддержала Люда, хлопая за занавеской.

– Значит, она жертвует собой во имя его счастья! – воскликнула Муза.

– Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!

– Тогда чего ей ждать? – не понимала Оленька.

– Да все правильно, молодец Дашка! – выскочила Люда из-за занавески без халата, в одной сорочке, голоногая, отчего казалась еще стройней и выше.

– Заело ее, потому и придумала, что – святоша, что верна мертвому. Ни черта она не жертвует, дрожит она, чтоб кто-нибудь ее приласкал, да никто ее не хочет! Вот бывает так, ты будешь идти – на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай – а никому не нужна.

И ушла за занавеску.

– А к ней Щагов ходит, – сказала Эржика, с трудом выговаривая "щ".

– Ходит – это еще ничего не значит! – уверенно отбивала невидимая Люда. – Надо, чтобы клюнул!

– Как это – «клюнул»? – не поняла Эржика.

Рассмеялись.

– Нет, вы скажите так, – гнула Даша свое. – Может, она еще надеется отбить мужа у той назад?..

В дверь раздался тот же условный стук – «утюга не прячьте, свои».

Все замолчали. Даша откинула крючок.

Вошла Надя – волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки Люды. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом, не сказала «вот и я» или «ну, что тут нового, девочки?». Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати.

Эржика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке.

Никто не нашелся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая:

– Так что, девчата, жизнь – не роман...

После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обреченными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решеткой. Она поехала из Лефортова через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдина передать ей три заветных слова мужа.

Но Сологдиной она не застала дома (мудрено было ее застать, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье). Передать записку через соседней было

тоже невысказано: из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят.

И если Надя поднималась по крутой, совсем темной днем лестнице возбужденная, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей ее тайное горе, – то опускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положенной в бесцветный и безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержащиеся на ней, но до сих пор неявные очертания, – так и в душе Нади после неудачного захода к Сологдиной, стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились еще на свидании, но не сразу дали себя знать.

Он сказал: «не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма»... Он может уехать!.. И даже эти свидания, раз в год – прекратятся?.. А как же тогда Надя?..

И что-то о верховьях Ангары...

И еще – не стал ли он верить в бога?.. Была какая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уведет в мистику, в идеализм, приучит к покорности.

Характер его изменится, и он вернется совсем-совсем незнакомым человеком...

Но, главное, он угрожающе говорил: «не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока», «срок – это условность». На свидании Надя воскликнула: не верю! не может быть! Но вот шел час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекла всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь эти мысли неотгонно жалили ее, и нечем было от них защититься.

Если тюремный срок Глеба никогда не кончится – чего же ждать?

Справедливо ли это: превратить свою жизнь в приставку к жизни мужа? Всем даром существа своего пожертвовать – для ожидания пустоты?

Хорошо, хоть у них там нет женщин!..

Что-то было в сегодняшнем свидании еще не названное, не понятое – и непоправимое...

И в студенческую столовую она тоже опоздала. Еще этого мелкого невезенья не хватало, чтоб довершить ее отчаяние! Сразу вспомнилось, как два дня назад ее оштрафовали на десять рублей за то, что она сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас порядочные деньги, это – сто рублей дореформенных.

На Стромынке под начинающимся приятным снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами «Казбек» вроссыпь. Надя подошла и купила у него две папиросы.

– А где же – спичек? – спросила она сама себя вслух.

– На, тетя, чиркни! – охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку. – За огонек денег не берем!

Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же, на улице, со второй спички прикурила папиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала прохаживаться. Курение еще не стало ее привычкой, но и не первая это была ее папироса. Горячий дым причинял ей боль и отвращение – и тем отсасывало немного тяжесть от сердца.

Откурив половину папиросы, Надя бросила ее и поднялась в 318-ю комнату.

Тут она брезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы ее сейчас никто ни о чем не спрашивал.

Она села – и глаза ее оказались вровень с четырьмя стопами ее диссертации на столе – четырьмя экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией – как-то устроившись с фотокопиями чертежей, первую переделку, вторую, и вот возврат для третьей.

А вспомнив, как безнадежно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную спецразработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на восьми страницах.

Сдать ее в отдел кадров надо было ко вторнику.

Писать все, как есть – значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы.

Или – тотчас разводиться...

Как она и решила.

Но это было и тяжело, и способ долго-хитрый.

Эржика застелила постель, как могла (у нее это еще не очень хорошо получалось: и стелиться, и стирать, и гладить она училась впервые на Стромынке, всю прежнюю жизнь такую работу за нее делала прислуга), нарисовала перед зеркалом не губы, а щеки, и ушла заниматься в Ленинку.

Муза пробовала читать, но чтение у нее не шло. Она заметила мрачную неподвижность Нади и поглядывала на нее с беспокойством, не решаясь, однако, спросить.

– Да! – вспомнила Даша. – Я сегодня слышала, говорят «книжных» денег за этот год заплатят вдвое больше.

Оленька встрепенулась:

– Шутишь?

– Девченкам наш декан сказал.

– Подожди, это сколько же будет? – Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которое деньги способны принести лишь людям, не привыкшим и не жадным к ним. – Триста да триста – шестьсот, семьдесят да семьдесят – сто сорок, пять да пять... Хо-го? – вскричала она и захлопала в ладоши. – Семьсот пятьдесят!! Вот это да!

И она чуть запела. У нее был голосок.

– Теперь ты купишь себе полного Соловьева!

– Еще чего! – фыркнула Оленька. – На эти деньги можно сшить платье гранатовое, креп-жоржетовое, воображаешь? – Она подхватила края юбки кончиками пальцев. – И двойные воланы?!

Оленька многим еще не была обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у нее вернулся к этому интерес. У нее мать очень долго болела, в позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю сорок второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс, год пропустить, работать, потом перевестись на заочное.

Но ничего этого не было сейчас на ее пухленьком милом двадцативосьмилетнем личике. Напротив, ее задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против нее на своей койке Надя.

И Оля спросила:

– Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла веселая. Слова были сочувственные, но смысл их был – раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос вы-дает наше чувство.

Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки. Но и глаза ее видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку – рубиновый цветочек, в отворот жакета, как душилась.

И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты.

И ничуть не разглядев лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила:

– Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?

Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол.

Оленька выпрямилась, пухленький подбородок ее приобрел твердые очертания.

Она сказала четко:

– Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак – не имеем права.

Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода была эта посадка.

– А ты не можешь понять, – тихо, убито выговорила она, – как бывает тяжело на душе?

– Как раз я очень могу понять! Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя

настраивать, что ты одна страдальца в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся.

Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого еще можно заменить, ибо муж заменим, – значил больше, чем убитый отец, и убитый брат, и умершая мать, если этих трех заменить нам не дано природой?

Она сказала и еще постояла пряменько, строго глядя на Надю.

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях – своих. Поняла – но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, все-таки, однократно. Она сотрясает, но – единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-помалу-помалу она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идешь на свидание.

Неразмычное же надино горе – всегда вокруг, всегда держит, оно – в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся – не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна.

И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию:

– Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать.

Сколько можно?

Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:

– Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не тебе одной, что ты расстраиваешься?

Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте «Лауэ доказал» на «ученым удалось доказать», или «как убедительно показал Лангмюр» на «как было показано». Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым – нужно было непременно указать полностью его имя-отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой.

– Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Баландина...

– Нашего советского?

– ... и всю его теорию. А я на ней все строила. А оказалось, что он... что его...

В ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях надин муж, ушел внезапно и академик Баландин.

– Ну, нельзя же так близко к сердцу! – настаивала Оленька. Было и тут у нее что возразить:

– А у меня – с Азербайджаном?..

Ничто никогда не располагало эту среднерусскую девушку стать ирановедом. Поступая на исторический, она и мысли такой не держала. Но ее молодой (и женатый) руководитель, у которого она писала курсовую по Киевской Руси, стал за ней пристально ухаживать и очень настаивал, чтобы в аспирантуре она тоже специализировалась по Киевской Руси. Оленька в тревоге перекинулась на итальянский ренессанс, но и Итальянский Ренессанс был не стар и, оставаясь с нею наедине, тоже вел себя в духе Возрождения.

Тогда-то в отчаянии Оленька перепросилась к дряхлому профессору-ирановеду, у него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если б в газетах не всплыл вопрос об Иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость ее Ирану, – то диссертацию вернули на переделку.

– Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рассказывает...

Но Муза уже не слышала. На счастье свое она углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг нее не существовало.

– ... на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у нее в диссертации три раза, что «Цвейг – космополит», и что диссертантка это одобряет. Так ее вызвали в ВАК и отобрали диплом.

Жуть!

– Фу, еще в химии расстраиваться! – отозвалась и Даша. – Что ж тогда нам, политэкономам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот, Стужайла-Олябышкин, спасибо, выручил!

Действительно, всем было известно, что Даша получила уже третью тему для диссертации. Первая тема у нее была «Проблемы общественного питания при социализме». Тема эта, очень ясная лет двадцать назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было надежно известно, что семейные кухни в скором времени отомрут, домашние очаги погаснут и раскрепощенные женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях, – тема эта стала с годами туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что если кто и обедал еще в столовой, как например сама Даша, то лишь по проклятой необходимости.

Процветали только две формы общественного питания: ресторанный, но в ней недостаточно ярко были выдержаны социалистические принципы, и – самые паршивые забегайловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Вождю Трудящихся эти двадцать лет недосуг был высказаться о питании. И потому опасно было рискнуть сказать что-нибудь свое. Даша помучилась-помучилась, и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по недомыслию не из того списка: «Торговля предметами широкого потребления при социализме». Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно, – но практически эти предметы по сравнению со стальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли легкая промышленность все более развиваться или все более отмирать – не знал даже ученый совет, вовремя отклонивший тему.

И вот тут добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе: «Русский политэконом XIX века Стужайла-Олябышкин».

– Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь? – со смехом спрашивала Оленька.

– Вот именно, не могу найти!

– С твоей стороны просто неблагоприятно! – Оленька старалась теперь развеселить Надю, на самом же деле обдавала ее своим предсвиданным оживлением. – Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю: это был благообразный старикашка-помещик с неудовлетворенными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в домашнем халате у окна, в той, знаешь, глухой провинции ларинских времен, над которой невластные бури истории и, глядя, как девка Палашка кормит поросят, неторопливо рассуждал,

*Как государство богатеет,  
И чем живет...*

Цыпочка! А вечером играл в карты... – Оленька залилась.

Она рдела. Она вся была – нарастающее счастье.

И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель веероподобного прикрытия (Надя со страдательным подергиванием косилась в ее сторону). Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.

– И обратите внимание, девочки, – внезапно сказала Муза, как она умела, естественно, будто все только и ждали ее замечания. – Чем отличаются русские литературные герои от западно-европейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя, не корми, не пои – он ищет справедливости и добра. А?

И опять углубилась в чтение.

– Да ты б хоть свету попросила, – пожалела ее Даша. И включила.

Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на ее постель и сказала с отвращением:

– Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?

– Да пожалуйста, не убирай! – вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами. – И не смей больше притрагиваться к моей постели!!

– Ее голос взлетел до крика. – И не читай мне морали!!

– Ты должна понимать! – сорвалась теперь Надя и все невысказанное кричала ей. – Ты оскорбляешь нас!.. Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия?

– Завидуешь? У тебя не клюет?

Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении.

Оленька раскрыла рот тоже напасть на Люду, но в «вечерних удовольствиях» ей послышался обидный намек. И она остановилась.

– Нечему завидовать! – глухо крикнула Надя оборванным голосом.

– Если ты заблудилась, вместо монастыря в аспирантуру – все звончей кричала Люда, чуя победу, – так сиди в углу и не будь свекровью. Надоело!

Старая дева!

– Людка! Не смей! – закричала Даша.

– А чего она не в свое дело...? Старая дева! Старая дева! Неудачница!

Очнулась Муза и, угрожающе в сторону Люды размахивая томиком, тоже стала кричать:

– Мещанство живет! торжествует! и процветает! Все они пять стали кричать свое, не слушая других и не соглашаясь с ними.

С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и рыданий, Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.

Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.

Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с нее туфли и завернула углы одеяла ей на ноги.

Потом раздался еще стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с желтым воротником и новой походкой пошла к двери.

(Эта походка была – на радость, но и – на борьбу...) Так 318-я комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна.

Но, потеряв с ними оживление и смех, комната стала совсем унылой.

Москва была огромный город, а идти в ней было – некуда...

Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони.

Даша сказала:

– Глупая Ольга! Ведь поиграет и бросит. Мне говорили, что у него другая где-то есть. И как бы не ребенок. Муза выглянула из ладоней:

– Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой – она может оставить его.

– Как не связана! – кривой улыбкой усмехнулась Даша. – Какую же тебе еще связь...

– Ну, ты всегда все знаешь! Ну, откуда ты это можешь знать? – возмутилась Муза.

– Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остается?

– О! Ничего! Ничего это еще не доказывает! – отвергла Муза.

– А теперь только так. Иначе не удержишь. Девушки помолчали, каждая при своем.

Снег за окном усиливался. Там уже темнело.

Тихо переливалась вода в радиаторе под окном. Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре.

Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый сильный мужчина.

Зачем уж так было его отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил ее в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бывают. Потискал бы где-нибудь у заборчика.

– Музочка, пойдем в кино! – попросила Даша.

– А что идет?

– "Индийская гробница".

– Но ведь это – чушь! Коммерческая чушь!

– Да ведь в корпусе, рядом!

Муза не отзывалась.

– Тоскливо же, ну!

– Не пойду. Найди работу.

И вдруг опал электрический свет – остался только багово-тусклый накаленный в лампочке волосок.

– Ну, этого еще...! – простонала Даша. – Фаза выпала. Повесишься тут.

Муза сидела, как статуя.

Не шевелилась Надя на кровати.

– Музочка, пойдем в кино!

Постучали в дверь.

Даша выглянула и вернулась:

– Надюша! Щагов пришел. Встанешь?

## 51

Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро.

Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном городе Москве.

Уж не первый раз тут, в общежитии, ее хлестали такими словами: свекровь! брюзга! монашенка! старая дева! Всего обиднее была несправедливость этих слов. Ка-кая она была раньше веселая!..

Но легко ли дается пятый год лжи – постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос режет, суждения становятся бесчувственными? Может быть и вправду она сейчас – невыносимая старая дева?

Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму – в общежитии, среди равных, только и научаешься узнавать в себе плохое.

Кроме Глеба уже никто-никто не может ее понять...

Но и Глеб тоже не может ее понять...

Ничего он ей не сказал – как ей быть, как ей жить.

Только, что – сроку конца не будет...

Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло все, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своем ожидании, в своей недоступности для других.

Сроку – конца не будет!

И значит, она ему – не нужна... И, значит, она губит себя только...

Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой – и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно – и все же различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки.

И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филенку двери. И еще прежде, чем Даша спросила: "Щагов пришел.

Встанешь?" – Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках,

поправляла перекрученную юбку, гребенкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли.

В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела ее поспешность и отшатнулась.

А Даша кинулась к люду иной постели, быстро подоткнула и убрала.

Впустили гостя.

Щагов вошел в старой фронтальной шинели внакидку. В нем все еще сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманнны.

– Здравствуйте, уважаемые. Я пришел узнать, чем вы занимаетесь без света, – чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!

(Какое облегчение! – в желтом полумраке не были видны опухшие от слез глаза.) – Так если б не сутемки, вы б, значит, не пришли? – в тон Щагову ответила Даша.

– Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования.

Видны злые выражения, завистливые взгляды, – (он будто был здесь перед тем!), – морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провел, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.

Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось – какие-то заученные выражения.

– Разрешите присесть?

– Пожалуйста, – ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слез.

Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий твердый голос. От него распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.

– Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?

Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало ее.

Ответила Даша.

– Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем.

– А – какая картина?

– "Индийская гробница".

– О-о, непременно сходите. Как рассказывала одна медсестра, «много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина!»

Щагов удобно сидел у общего стола:

– Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не все гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.

– Какое решение? – малозвучно спросила Надя. – Решение? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. Тут – богатые возможности, может быть кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочел чужое письмо, и всякие такие вещи...

(И еще будут искать, и еще копать! О, как все надоело! Куда вырваться?..) – А, Муза Георгиевна? Вы ничего не скрыли?..

– Что за низость! – воскликнула Муза.

– Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете мехмата...?

Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай все явнее выказывал ее намерения.

... То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.

(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!) То звала послушать, как она

будет выступать в концерте.

(Но так естественно! – хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель!) То однажды у нее оказался «лишний» билет в кино, и она пригласила его.

(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то вдвоем... Опереться на чью-то руку.) То в день его рождения она подарила ему записную книжечку – но с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать – что за ухватки? почему бежать?

(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!) Он же догнал ее в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил ее – а она не сразу сделала усилие вырваться, да-ла себя поддержать.

(Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.) А теперь этот игривый удар портфелем?

Как со всеми, как со всеми, Шагов был железно-сдержан и с нею. Он знал, как завязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи? – кто так непреклонен, чтоб ей отказать?

И сейчас Шагов вышел из своей комнаты и пошел в 318-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться.

... Курьезу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.

– Ну, так будет свет или нет? – нетерпеливо воскликнула уже и Муза.

– Однако, я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера ее оштрафовали на десять рублей – и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.

Едва Шагов произнес эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Шаговым.

– Муза! Последний раз – идешь? – с болью вскрикнула Даша, взявшись за пальто.

– Иду! – глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке.

Шагов и Надя не оглянулись на уходящих.

Но когда дверь закрылась за ними – Наде стало страшновато.

Шагов поднес клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки еще одной десятирублевки...

Он встал из шинели (она осела на стуле) и беспорывно обходя мебель, подошел к Наде, много выше ее. В свои большие руки свел ее маленькие.

– Надя! – в первый раз назвал ее просто по имени. Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка ее, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в ее голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чем только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.

Она увидела очень близко его твердое прямое лицо, где правая и левая части ни черточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица.

Он разнял пальцы и скользнул по ее локтям, по шелку блузки.

– Н-надя!..

– Пу-устите! – голосом усталого сожаления отозвалась Надя.

– Как мне понять? – настаивал он, переводя пальцы с ее локтей к плечам.

– В чем – понять? – невнятно переспросила она.

Но не старалась освободиться!..

Тогда он сжал ее за плечи и притянул.

Желтая полумгла скрыла пламя крови в ее лице.

Она уперлась ему в грудь и оттолкнулась.

– Ка-ак вы могли подумать??..

– А шут вас разберет, что о вас думать! – пробормотал он, отпустил и мимо нее отошел к окну.

Вода в радиаторе тихо переливалась.

Дрожащими руками Надя поправила волосы.

Он дрожащими руками закурил.

– Вы – знаете? – раздельно спросил он, – как – горит – сухое – сено?

– Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла.

– До небес! – подтвердил он.

– Кучка пепла, – повторила она.

– Так зачем же вы швыряете-швыряете-швыряете огнем в сухое сено?

(Разве она швыряла?.. Да как же он не мог ее понять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей.) – Пойдемте! Куда-нибудь! – потребовала она.

– Никуда мы не пойдем, мы будем здесь.

Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук – и эта манера тоже нравилась Наде.

– Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь! – настаивала она.

– Здесь – или нигде, – безжалостно отрубил он. – Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.

## 52

Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого «московского патриотизма», как называли сами они. Надя ходила среди них, какие ни будь ее успехи перед профессором, в существах второго сорта.

Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унижить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы:

– А вы, собственно... из какой местности?

Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперед и назад:

– Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности. Из поселка Блиндажный.

Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию не равномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим.

И что бы потом ни случилось с человеком даже внешне значительного, все это чаще – только спад или инерция того толчка: мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство – и тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других – первая любовь, и именно эти люди распространили миф, что любовь дается только раз. Кому пришла такая порой пора их наибольшего богатства, почета, власти – и они до беззубых десен шамкают нам о своем отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова – фронт.

Щагов хватанул войны с жарком и с ледком. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на гражданку только в сорок шестом году. И за все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживет до вечера: он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в сорок третьем и даже в сорок четвертом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожженных домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще.

Переживания саперного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских все забывших улицах у него сохранилось, что только слово «солдат» – порука искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта.

После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было – на нем, и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им еще двенадцать месяцев после возвращения платили «оклад по воинскому званию», зарплату ни за что.

Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохраненного памятью молодежи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Еще и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далеких тылах.

Эти бывшие солдаты были теперь все здесь – они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а – который застали здесь.

Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали – но быстро попадали в тюрьму.

Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неумных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что все идет, как идет, остановить этого нельзя – можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь исполкомовца уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдет работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке.

Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только – для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали права его безразумной службы, права приобщиться к завоеванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь еще один раз: в бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат – провести свое право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью.

И при всем том – улыбаться.

Щагов так спешил на фронт в сорок первом году, что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была – теоретическая механика, уйти в нее была у него мысль и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке – ко всякой науке, ко всем наукам – после повышения ставок.

Что ж, он размерил свои силы еще на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивая, в чем демобилизовался: сапоги, диагональные брюки, гимнастерку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохраненное обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным.

Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. (Но и ему с тем же упорством лгала, что ее Глеб без вести пропал на фронте.) Надя сама не заметила, как и когда она впала во все это – «лишний» билет в кино, шутивная схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошел в комнату и еще препирался с Дашей, – она сразу поняла, что пришел он к ней и что неизбежно случится что-то.

И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь, – порвав червонец, стояла обновленная, налитая, готовая к живой жизни – сейчас.

И сердце ее не ощущало здесь противоречия.

А Шагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться.

Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж.

Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем.

Было жаль ее. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить: бедная аспиранточка, без связей и без будущего – что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога (он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути). Хотелось поделиться: несмотря на то, что его невеста живет в праздных условиях, она не очень испорчена. У нее хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селят одну знать. На лестнице швейцар, а по лестнице – ковры, где ж теперь это в Союзе? И, главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше?

Но он только подумал обо всем этом, не сказал.

А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно:

– Вот и хорошо. У вас невеста. А у меня – муж.

– Без вести пропавший?

– Нет, не пропавший, – прошептала Надя. (Как опрометчиво она выдавала себя!..) – Вы надеетесь – он жив?

– Я его видела... Сегодня...

(Она выдавала себя, но пусть не считают ее девченкой, виснувшей на шее!) Шагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что «без вести пропавший» почти всегда значило перемещенное лицо, – и если такое лицо перемещалось обратно в Союз, то только за решетку.

Он подступил к Наде и взял ее за локоть:

– Глеб?

– Да, – почти беззвучно, совсем безразлично проронила она.

– Он что же? Сидит?

– Да.

– Так-так-так! – освобожденно сказал Шагов. Подумал. И быстро вышел из комнаты.

Стыдом и безнадежностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Шагова.

Пусть – убежал. Она довольна, что все сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью.

По-прежнему еле тлел волосок лампочки.

Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие..

От неумения закашлялась.

На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Шагова.

Как он из комнаты бросился! До того испугался, что шинель забыл.

Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.

Ах, и она ведь его играла когда-то в юности – но понимала разве?..

Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово – disperato – отчаянно...

Прислонившись лбом к оконному переплету, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стекол.

Она стояла как распятая на черной крестовине окна.

Была в жизни маленькая теплая точка – и не стало.

Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей.

И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина.

Disperato! Это бессильное отчаяние, в порыве встать с колен и снова падающее! Это настойчивое высокое ре-бемоль – надорванный женский крик! крик, не находящий разрешения!..

Ряд фонарей уводил в черную темноту будущего, до которого дожить не хотелось...

Московское время, объявили после этюда, шесть часов вечера.

Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошел, без стука.

Он нес два маленьких стаканчика и бутылку.

– Ну, жена солдата! – бодро, грубо сказал он. – Не унывай. Держи стакан. Была б голова – а счастье будет. Выпьем за – воскресение мертвых!

## 53

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье вольняшки дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех эков, которые все-таки тоже были в известном смысле люди, – и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семерка работала и по воскресным вечерам, – но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутризонных караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде, – по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткой, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству в эти часы устраивать прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа «баян», «гитара», «балалайка» и «губная гармоника», а тем более прочих укрупненных типов, – недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте.

(Оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключенных каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол.) Тем более не могло быть речи о допущении в общежитии тюрьмы радиоприемников или самых драненьких патефонов.

Правда, заключенным разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрепанных разрозненных томов вроде тургеневской «Муму», «Писем» Стасова, «Истории Рима» Моммзена – и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора – верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что экам разрешалось безо всякого ограничения лежать в

своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдеж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили «на opravку» дважды в сутки по команде, – могут оценить значение этого вида бессмертной свободы.) Полнота отдыха была в том, что время было свое, а не казенное. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжелые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дергал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир – Вселенная с ее звездами, планета с ее материками, столицы с их блистанием и вся держава с ее банкетами одних и производственными вахтами других – все это проваливалось в небытие, превращалось в черный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при желто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот черный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп – запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Так же не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребенка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчетами, интригами, продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто еще не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей, – здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветленные головы.

Отсюда, из ковчеге, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории – сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

## 54

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам.

Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались

наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли еще, а оттапывались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов – и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Каган, черно-кудлатый низенький «директор аккумуляторной», как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из темной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере «жили лучше, чем на воле»).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений – боком. Он знал, что тихим кладовщи-ком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану.

Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), чтобы резануть им в глаза, что это – гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ерзал на стуле – и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей добрых к нему или безразличных.

Однако, в Госбезопасности за это упрямство на него затаили. Ото всего на свете не убережешься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошел и Каган пять очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже – и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас – пункт 12-й той же статьи – доноительство. За доноительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берется осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он – не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Еще за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать.» И, действительно, их троих услали на

военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задирает лежащего на кровати Рубина – но издали, так чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги.

– Лев Григорьич, – говорил он своею не вполне разборчивой вязкой речью, зато и не торопясь. – В вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить – а уткнулись в книгу.

– Исаак, идите на ..., – отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерьной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто «на Маяковского», оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

– Нет, серьезно. Лев Григорьич! – не отставал вцепливый Каган. – Всем очень хочется еще раз послушать вашу талантливую «Ворону и лисицу».

– А кто на меня куму стукнул? Не вы ли? – огрызнулся Рубин.

В прошлый воскресный вечер, веселя публику. Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую «Ворону и лисицу», полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на «бис» и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина – подлинник басни и объяснительная записка.

Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы «речевого лада» и «форманты», пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов печатал комнату сургучом. После этого в потоке эзков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришел в тюрьму.

Как всегда под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку с едой, лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий «рука» и «ручной труд» – он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занес над Марром резак); потом лежали там «Саламандры» Чапека; сборник рассказов весьма прогрессивных (то есть сочувствующих коммунизму) японских писателей; «For Whom the Bell Tolls» (Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись); роман Эптона Синклера, никогда не переведившийся на русский; и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы Лоренц.

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны – и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им), – но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о «Вороне и лисице», уснащенной хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, – все бросили свои дела и приготовились слушать.

Только Двоетесов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, среди них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

– Просим, Лева! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших все ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трепку нервов, допросы у «Шишкина-Мышкина».

Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

– Товарищи! Меня поражает ваша несерьезность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но все еще не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

– Правильно!

– А над кем суд?

– Над кем бы то ни было! Все равно правильно! – раздавались голоса.

– Забавно! Очень забавно! – поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее.

Сегодня, как никогда, он заслу-жил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку.

– Над кем суд – это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, – объявил Рубин (он сам еще не придумал). – Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызвала во мне особенные эмоции. – (Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал со Всесоюзной и Главной Военной прокуратурами.) – Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку – нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он все больше отчуждался от утреннего свидания и все больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашел в нем поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатой.

– Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шел – из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

– Улыба! Довольно просвещаться! А то потянет на мировое господство.

Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

– Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову:

– Избранник народа – высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот («Все не умеем! Все учимся!») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону от Нержина лежал Руська Доро-нин. Он разделся, с головой и ногами ушел под одеяло и еще подушкой сверху прикрыл свое счастливое упоенное лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь – мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на елку и незаметно подарила ее Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго.

– Амантай! Амантай! – звал он Булатова. – Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

– Я бы пошел, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Абрамсона, и еще двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

– А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане? Катай с одним!

– И то правда, – согласился Нержин. – Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Введите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

– Суд! Суд! – требовали голоса. Публика сидела и стояла.

– Еще взыду на небо – ты там еси, еще сниду во ад – ты там еси, – снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов. – Еще вселюся в преисподняя моря, – и там десница твоя настигнет мя! – (Потапов прихватил закона божьего в гимназии, и в четкой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса.) Снизу же, из-под заседателя, послышался отчетливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

– Валентуля! – грозно крикнул Нержин. – Сколько раз вам говорено – не стучать ложечкой!

– В подсудимые его! – взопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Пряничкова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

\*\*\*

– Довольно! – с ожесточением вырывался Пряничков. – Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! – крикнул он председателю суда. – Я ... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже все придумал. Его темно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Пряничкова:

– Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казенным адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувшись себе через плечо одеяло под вид мантии, взлез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

– Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и веселость. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке.

Нержин объявил скрипуче:

– Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфино объявляю открытым. Слушается дело...?

– Ольговича Игоря Святославича... – подсказал прокурор.

Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочел:

– Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно... Черт возьми, секретарь, почему приблизительно?... Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачит прокурор.

Рубин заговорил с такой легкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

"Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И.С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне избличенному хану Кончаку, – и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчетным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся «шеломами испить воды из Дона», – не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

*«Братья, сего есмы искали, а потягнем!»  
(следственное дело, том 1, лист 36).*

Губительное для нашей Родины значение поражения объединенной новгород-северской-курской-путивльской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано слова-ми великого князя киевского Святослава:

*"Дал ми Бог притомити поганья,  
Но не воздержавши уности."  
(следственное дело, том 1, лист 88).*

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь «уности», то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идет о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель Бородин Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как Автор Слова, непровержимыми показаниями избличают гнусную роль князя И.С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях

Метеорологических:

*"Веют ветры, уж наносят стрелы,  
На полки их Игоревы сыплют..."*,

И тактических:

*"Ото всех сторон враги подходят,  
Обступают наших отовсюду"*,

*(там же, том 1, листы 123, 124,  
Показания Автора Слова),*

Но и еще более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену.

Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

*«Хочешь, возьми коня любого!»  
(там же, том 1, лист 233).*

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

*"Все пленником себя ты тут считаешь.  
А разве ты живешь как пленник,  
А не гость мой?"  
(там же, том 1, лист 281)*

И ниже:

*«Сознайся, разве пленники так живут?»  
(там же, том 1, лист 300).*

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

*"За отвагу твою, да за удаль твою  
Ты мне, князь, полюбился."  
(следственное дело, том 2, лист 5).*

Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и" задолго до сражения на реке Каяле:

*«Ты люб мне был всегда»  
(там же, лист 14,  
Показания свидетеля Бородина),*

И даже:

*"Не врагом бы твоим, а союзником верным,  
А другом надежным, а братом твоим  
Мне хотелось бы быть..."  
(там же).*

Все это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151 года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награжденный орденами Варяга 1-й степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита,

в том, что он совершил гнусную измену Родине, соединенную с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сот-рудничеством с половецким ханством, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьей 208-й УПК РСФСР настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду".

Рубин перевел дух и торжествующе оглядел эзков. Увлеченный потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам и у дверей, подстегивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях, злобно настроенных к власти.

Спиридон под жесткой седорыжей щеткой волос, растущих у него безо всякой прически и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времен, попавшем в плен – но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора он переживал еще раз все, что произошло с ним самим и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

– Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, – все так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин, – переходим к прениям сторон.

Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

«Конечно, конечно», – подкивнул на все согласный заседатель.

– Товарищи судьи! – мрачно воскликнул Рубин. – Мне мало, что остается добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространенное гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдать в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет?

Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки – и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совсем печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и еще многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же «измену родине» – за добровольную сдачу в плен.

– Далее, – гремел прокурор, – мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене: «Ты одна, голубка-лада, Ты одна...»

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него – жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстает перед нами как шкурник! А для кого плясались половецкие пляски? – спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда...

– Позвольте! – выступил от своей койки кудлатый Каган. – Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

– Комендант! Выведите этого подкупленного агента! – постучал Нержин.

Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с легкостью принял нападение.

– Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

«Веют стяги красные в Путивле».

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского

райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Брошку, на защиту родного города, – а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор «любую из красавиц» – так почему ж он, гад, ее не берет? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого – это так называемый побег из плена и его «добровольное» возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали «коня любого и злата» – вдруг добровольно возвращается на родину, а это все бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

– Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую – повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена – вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам!

Кроме того, в частном определении суда: оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодежи изменнические настроения – со сцены снять! Свидетеля по данному процессу Бородин А. П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения – арест. И еще привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! – Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Пряничков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

– Тан пи, господа! Тан пи! У нас пещерный век или двадцатый? Что значит – измена? Век ядерного распада! полупроводников! электронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

– Простите, это уже – защита? – вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. – Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

– Конечно, конечно, Владимир Эрастович! – поддержал Нержин. – Мы всегда за обвинение, мы всегда – против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо – и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно.

Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяном колпачке еще заострял лицо и придавал ему настороженность.

– Я хочу указать, – сказал профессор математики, – что князь Игорь был бы разоблачен еще до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половецкая, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половецами.

«Союзником верным и другом надежным» для Кончака он уже был до похода! В 1180 году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половец – но Игорь уклонился под предлогом гололедицы – «бьшеть серен велик». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185 году, наконец, – кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем «учинил вельможею». А Кончаковна привезла потом

Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности еще и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, заметал следы.

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Все та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

– Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите! – возмутился Исаак Каган.

– Нечего его, гада, защищать! – крикнул Двоетесов. – Один Бэ – и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории, – и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологодина образовался неприятный осадок.

– Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту! – сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. – Товарищи судьи! Как благородный казенный адвокат, я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. – Он тянул и немного шамкал. – Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять ее. Однако, мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? (Тут надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки – и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим мягче смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

– Какое же, Исаак? – кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

– Статья 20-я, пункт "а".

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный!

– Что ж она гласит? – выкрикивали со всех сторон непристойные предположения. – Вырезать ...?

– Почти, почти, – невозмутимо подтверждал Исаак.

– Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт "а" – объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову набок, маленький, кудлатый, отошел к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

– Как? Как? – заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. – Изгнать? И есть такой пункт?

– Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание! – кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру высказывать, он стыдился сыгранной им роли.

Он хотел, чтоб его ирония коснулась только несправедливых судов, люди же не знали, где остановиться, и насмеялись над самым дорогим – над социализмом.

А Абрамсон, все так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал «Монте-Кристо». Он лежал спиной к происходящему в комнате.

Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылок, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек, Абрамсон, когда-то нехрипнувший, легко будоражимый оратор, стал бесчувственен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящен судьбе потока сорок пятого-сорок шестого годов. Абрамсон теоретически мог признать трагичность судьбы пленников, но все же это был только поток, один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны («живые лжесвидетели», как шутил Потапов), но все же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путем своей жизни.

Всякий поток эзков в НКВД, как и всякое поколение людей на Земле, имеет свою историю, своих героев.

И трудно одному поколению понять другое.

Абрамсону казалось, что эти люди не шли ни в какое сравнение с теми – с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избирали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии – такой выбор давался каждому из них. Те люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения ее. Но это «племя младое незнакомое» через тридцать лет после Октября входило в камеру и с мужицким матом запросто повторяло то самое, за что ЧОНовцы стреляли, жгли и топили в гражданскую войну.

И потому Абрамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Абрамсон (как он сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях.

Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если испытывал он в молодости, то потерял давно. Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были еще писавшими их невольно обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах: смысл всякой газеты становился ему ясен, едва он пробежал ее заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передач, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь, – наружно он воспитал себя в полном пренебрежении окружающим. Так вовремя не дострелянный, вовремя не домеренный, вовремя не дотравленный троцкист Абрамсон любил теперь из книг не те, которые жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

... Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали «Монте-Кристо»... На Ангари, в далекое глухое село Дошаны, куда вел через тайгу трехсотверстный санный путь, они из мест, еще на сотню верст глуше, собирались под видом встречи Нового года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная «буржуйка» из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзали насквозь. Среди ночной тишины время от времени бревна сруба издавали гулкий треск – как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял

шапку, освободив колышавшийся черный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских идиом («врага надо знать»).

Сатаневич вообще играл под лидера. Расстреляли его потом кажется на Воркуте во время забастовки.

В том докладе Сатаневич признавал, что в обуздании консервативного класса крестьянства посредством драконовских сталинских методов – есть рациональное зерно: без такого обуздания эта реакционная стихия хлынет на город и затопит революцию. (Сегодня можно признать, что и несмотря на обуздание, крестьянство все равно хлынуло на город, затопило его мешанством, затопило даже сам партийный аппарат, подорванный чистками, – и так погубило революцию.) Но увы, чем страстнее обсуждались доклады, тем больше расстраивалось единство углой кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казенной посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбинам и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, кололи руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Политической бури в Советском Союзе они ожидали с месяца на месяц!

Потом пели славные революционные песни: «Варшавянку», «Над миром наше знамя реет», «Черного барона».

Еще спорили о чем попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезла ее в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стриженными кудрями: «Терпеть не могу интеллигенции! Она отвратительна мне во всех своих „тонкостях“ и „сложностях“. Человеческая психология гораздо проще, чем ее хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача – освободить человечество от духовной перегрузки!»

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных – Патрушев, бывший крымский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызываясь воскликнул: "Зачем вы обедняете будущее общество? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы? "

Какой поднялся шум! С какой яростью захлестали цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество!.. О нем говорили так легко!..

Взошло солнце Нового Девятьсот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядреное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре к обсаженной елками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было – их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия... Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был тверд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Абрамсона, уцелевшей под оранжерейным колпаком шарашек, выросло никому не видимым древом понимание и память тех лет...

Так глаза Абрамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Абрамсон познакомились года три назад в бутырской камере – той же, где сидел и Потапов. Абрамсон кончал тогда свою первую тюремную десятку, поражал однокамерников ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же, скрыто, жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Абрамсона вскоре-таки по недосмотру освободили – но ровно на столько времени, чтобы семья струнулась с места и переехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Абрамсона. И как только семья переехала, – его посадили, учинили

ему единственный допрос: действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он уже полностью отсидел и отбыл и даже намного пересидел все приговоренное, – Особое Совещание присудило ему за это еще десять лет.

Руководство же шарашек по большой всесоюзной арестантской картотеке узнало о посадке своего старого работника и охотно выдернуло его вновь на шарашки.

Абрамсон был привезен в Марфино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Абрамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время еще дочерью, что это был сон, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность – тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Абрамсона к именинному столу – решено было праздновать день рождения. Абрамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков, – кто будет. От сознания, что придется натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведенное воскресенье, что нужно покидать забавную книгу и идти на какие-то именины, Абрамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведет там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он, как всегда бесплоден, небогатающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязываться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорбленные мысли так же невозможно открыть «молодым» арестантам, как показать им свою жену обнаженной.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке по-настоящему близок Абрамсону, хотя еще предстояло отчитать его за сегодняшний не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологодина и Пряничкова Абрамсон не любил. Но как ни странно, Рубин и Сологдин считались друзьями – из-за того ли, что вместе лежали на бутырских нарах. Администрация тюрьмы тоже не очень их различала и под ноябрьские праздники вместе гребла на «праздничную изоляцию» в Лефортово.

Делать было нечего, Абрамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнется между кроватями Потапова и Пряничкова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что читает Абрамсон, и сказал:

– Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть «Монте-Кристо», не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параша из камеры, о чем Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает, – разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в камерах шмонов, тогда как их полагается производить каждую неделю, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев – их же следует, как мы знаем из опыта Лубянки, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было – так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю – и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге каленым железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил четко-разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Абрамсон знал за ним эту тяжелую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

– Так я приду, – ответил он и, улегшись поудобнее, продолжил чтение.

Нержин пошел помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

*... Люблю я час  
Определять обе-дом, ча-ем  
И у-жи-ном...*

– цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква.

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlage он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашках сосредоточился и усовершенствовался по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутемном проходе между своей кроватью и кроватью Пряничкова – приятный полумрак создавался от того, что верхние матрасы загораживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по радиусам) проход был в начале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым: там были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки и миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущенного молока, сгущенного какао и двух яиц (часть даров принес и всучил Рубин, постоянно получавший из дому передачи и всегда делившийся ими) – нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была – колпачок от термоса, две – лабораторные химические стаканчики, а две Потапов склеил из промасленной бумаги). Еще на два бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати к своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Все смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Земеля нежился: на верхней койке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлобной улыбкой, повествовал мордвину Мишке через два воздушных пролета:

– Если хочешь знать – все началось с полкопейки.

– Почему с пол копейки?

– Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом, – ты маленький был, – над каждой кассой висела табличка: «Требуйте сдачу полкопейки!» И монета такая была – полкопейки. Кассирши ее без слова отдавали. Вообще на дворе был НЭП, все равно, что мирное время.

– Войны не было?

– Да не войны, вот чушка! Это до советской власти было, значит, – мирное время. Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов работали, не как сейчас. И ничего, справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут – уже свехурочные выписывают. И вот, что, ты думаешь, сперва исчезло? Полкопейки!

С нее и началось. По-том – медь исчезла. Потом, в тридцатом году, – серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет –

стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейку Христа ради просит, а требует – «граждане, дайте рубль!». В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано – даже не спрашивай, смеются: мелочник! А сами – дураки! Полкопейки – это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают – это значит, накакать тебе на голову. За полкопейки не постояли – вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, тоже наверху, один арестант отвлекся от книжки и сказал соседу:

– А дурное было царское правительство! Слышь, – Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился – и он, остолоп, извинился. А ну походи потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился!

– У нас бы ее, дуру, через кишку на третий день накормили, да еще второй срок бы намотали за провокацию. Где это ты вычитал?

– У Горького.

Лежавший неподалеку Двоетесов встrepенулся:

– Кто тут Горького читает? – грозным басом спросил он.

– Я.

– На кой?

– А чего читать-то?

– Да походи лучше в клозет, посиди с душой! Вот грамотеи, гуманисты развелись, драть вашу вперегреб.

Внизу под ними шел извечный камерный спор: когда лучше садиться.

Постановка вопроса уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому.

(В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключенных, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать-пятнадцать миллионов человек, зэки были уверены, что их – двадцать и даже тридцать миллионов. Зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин, кроме власти и МВД.) «Когда лучше садиться» – имелось ввиду: в молодости или в преклонные годы? Одни (обычно – молодые) жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы: здесь успеваешь понять, что значит жить, что в жизни дорого, а что – дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, отбухав десятку, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, сающийся к старости, только рвет на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь – цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно – пожилые) в таких случаях не менее жизнерадостно доказывают напротив, что сающийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни все (в воспоминаниях зэков это «все» суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он «и на бабу не захочет».

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто – утешая себя, кто – растрavляя, но истина никак не вышелушивалась из их аргументов и живых примеров. В воскресенье вечером получалось, что садиться всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром – ясно было, что садиться – всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор «когда лучше садиться» принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью. Этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» лилась бы кровь, если бы та истина задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шел как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришел токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла сперва почему-то о Сестрорецке, а потом – о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик сам никогда там не был, но шурин его был

печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз все обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошел до дрожи голоса, до личных оскорблений, он уже громкостью затоплял все разговоры в комнате – спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда у окружающих – и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то, что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь – и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор – когда правильно встречать вторую половину XX столетия – 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и уперся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

– Когда наши будут начинать первый полет на Луну, то перед стартом, около ракеты будет, конечно, митинг. Экипаж ракеты возьмет на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полете максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на «хорошо» и на «отлично». Из трех членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Пряничков, который с полотенцем и мылом пробегал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

– Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

– А как?

Пряничков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

– Первыми на луну полетят – американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравер сидел на кровати у Сологодина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравер был сорока лет, но при еще молодом лице почти совсем седой.

Это очень красило его.

Сегодня гравер находился на взлете. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести ее через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям и все они – в восторге. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятье! – где ж было добыть справедливые?

Худо ли, хорошо ли, но гравер сохранял для вечности правду – крики души о том, что сделал Сталин с миллионами русских пленников. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твердо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само сегодняшнее свидание прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, и скоро должны были выявиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вел длинный рассказ этому не глупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине врастяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древне-русского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он был на взлете. В себе он слышал пение как бы вселенской победы – своей

победы над целым миром, своего всемогущества. Освобождение его было теперь вопросом одного года. Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, выжжено от мути.

И, ища выход своему торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извилинам чьей-то чужой безразличной для него истории, рассказываемой этим вовсе не глупым, но совершенно средним человеком, у которого ничего подобного не могло случиться, как у Сологдина.

Он часто слушал людей так: будто покровительствуя им и лишь из вежливости стараясь не подать в том виду.

Сперва гравер рассказывал о двух своих женах в России, потом стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провел новое для Сологдина сравнение между женщинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек; что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви – своими недремлющими глазами они все время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нем недостаточное благородство, то недостаточное мужество, – русскую возлюбленную все время ощущаешь как равную тебе, и это неудобно; наоборот, немка в руках любимого гнется как тростиночка, ее возлюбленный для нее – бог, он – первый и лучший на земле, вся она отдается на его милость, она не смеет мечтать ни о чем, кроме как угодить ему, – и от этого с немками гравер чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его на шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки ухватил его за брюки и спросил:

– Лев Григорьевич! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок? Это – прогрессивно?

Рубин вырвался, пошел дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

– Лев Григорьевич! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились быть надсмотрщиками, «руководителями», партийными главарями. Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна. Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье! – вот при таком социализме я согласился бы жить!

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лег на живот, снова к словарям.

## 58

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трех составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зеленой трофейной бумаги, тоже фирмы «Лоренц». Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Абрамсон и Кондрашев – к Пряничкову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними уже дремал Земеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был надин хворост – не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Еще была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущенного

молока. А за спиной Нержина в темной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спиртного, вымененная у эков химической лаборатории на кусок «классного» гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырем, а потом покрашен сгущенным какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

– А что, господа? – картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. – Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом.

– Я – вчера, с немцами, – буркнул Рубин, не лю-бя пафоса.

Что Сологдин называл иногда общество господами, Рубин понимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. Нельзя ж было подумать, что человек на тридцать третьем году революции может произносить это слово серьезно. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращенные во многом, Рубин старался это всегда помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

(А для Абрамсона, кстати, так же дико было и то, что Рубин пировал с немцами. У всякого интернационализма есть же разумный предел!) – Не-ет, – настаивал Сологдин. – Я имею в виду настоящий стол, господа! – Он радовался всякому поводу употребить это гордое обращение. Он полагал, что гораздо большие земельные пространства предоставлены «товарищам», а на узком клочке тюремной земли проглотят «господ» и те, кому это не нравится. – Его признаки – тяжелая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрусталя, ну, и нарядные женщины, конечно!

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

– Вы ж понимаете, хлопцы, пока

### *Гроза полуночных дозоров*

не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Все же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

– Давно, – вздохнул Нержин.

– Вообще, не при-по-ми-на-ю! – отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, – не мог точно сказать, была ли эта женитьба его собственная или то было в гостях.

– Нет, почему же? – оживился Пряничков. – Авэк плезир! Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я...

– Подождите, Валентуля, – придержал Потапов. – Итак...?

– За виновника нашего сборища! – громче, чем нужно, произнес Кондрашев-Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо. – Да будет...

Но гости еще не потянулись к бокалам, как Нержин привстал – у него было чуть простора у окна – и предупредил их тихо:

– Друзья мои! Простите, я нарушу традицию! Я...

Он перевел дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

– ... Будем справедливы! Не все так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья – мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва – этого счастья ведь не было у нас на воле?

– Да, собственно, самой-то воли частенько не было, – усмехнулся Абрамсон. Если не считать детства, он-таки провел на воле меньшую часть жизни.

– Друзья! – увлекся Нержин. – Мне тридцать один год. Уже меня жизнь и баловала и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня может быть и еще всплески пустого

успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми.

Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

*– Ви-тий-ством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Ни-ки-ты,  
У осторожного И-льи.*

Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата.

– А градус – есть! – одобрил Рубин. – Bravo, Андреич!

– Градус есть, – подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении все хвалить.

Нержин засмеялся:

– Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях! Не упомяну другого.

– Нет, почему, Глебчик? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?

Абрамсон устало усмехнулся:

– Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдется?

– А вот этот экземпляр, – Рубин показал на Нержина, – утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

– Вы говорили так? – быстро спросил Кондрашев.

– Ой, пижон! – звонко рассмеялся Пряничков. – Как же можно сравнивать?

– Само устройство тела и способ соединения доказывают, что разница здесь огромная! – воскликнул Сологдин.

– Нет, тут глубже, – опротестовал Рубин. – Тут великий замысел природы. Мужчина довольно равнодушен к качеству женщин, но необъяснимо стремится к количеству. Благодаря этому мало остается совсем обойденных женщин.

– Ив этом – благодетельность дон-жуанизма! – приветственно, элегантно поднял руку Сологдин.

– А женщины стремятся к качеству, если хотите! – потряс длинным пальцем Кондрашев. – Их измена есть поиск качества! – и так улучшается потомство!

– Не вините меня, друзья, – оправдывался Нержин, – ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Равенство! С тех пор, конечно...

– Вот еще это равенство! – буркнул Сологдин.

– А чем вам не угодило равенство? – напрягся Абрамсон.

– Да потому что нет его во всей живой природе! Ничто и никто не рождается равными, придумали эти дураки... всезнайки. – (Надо было догадаться: энциклопедисты.) – Они ж о наследственности понятия не имели!

Люди рождаются с духовным – неравенством, волевым – неравенством, способностей – неравенством...

– Имущественным – неравенством, сословным – неравенством, – в тон ему толкал Абрамсон.

– А где вы видели имущественное равенство? А где вы его создали? – уже раскалялся Сологдин. – Никогда его и не будет! Оно достижимо только для нищих и для святых!

– С тех пор, конечно, – настаивал Нержин, преграждая огонь спора, – жизнь достаточно была дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной – во всем?

– Вас никто не винит! – метнул словами и глазами Кондрашев. – Не спешите сдаваться!

– Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст, – присудил Сологдин. (Он был на шесть лет старше.) – Теоретически Глебка прав, – стесненно сказал Рубин. – Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины. Но обнять свою жену после того, как ее обнимал другой? – бр-р! биологически не могу!

– Да господа, просто смешно обсуждать! – выкрикнул Пряничков, но ему, как всегда, не дали договорить.

– Лев Григорьич, есть простой выход, – твердо возразил Потапов. – Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены!

– Ну, знаете... – беспомощно развел Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошел. Потапов и Абрамсон оглянулись.

Нет, это был не надзиратель.

– А Карфаген должен быть уничтожен? – кивнул Абрамсон на литровую банку.

– И чем быстрее, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентьич, разливайте!

Нержин разлил остаток, скрупулезно соблюдая равенство объемов.

– Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника? – спросил Абрамсон.

– Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушать традицию. Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жен, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда, – а они? Выпьем – за них, приковавших себя к...

– Да! Какой святой подвиг! – воскликнул Кондрашев.

Выпили.

И немного помолчали.

– А снег-то! – заметил Потапов.

Все оглянулись. За спиной Нержина, за отуманенными стеклами, не было видно самого снега, но мелькало много черных хлопьев – теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

– Даже снег нам суждено видеть не белым, а черным!

– воскликнул Кондрашев.

– За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо, – похвалил Рубин.

– В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете... «жизнь свою за други своя». Как-то в обычной жизни – семья есть, а дружбе нет места, а?

– Это распространенное мнение, – отозвался Абрамсон. – Вот часто заказывают по радио песню «Среди долины ровныя». А вслушайтесь в ее текст!

– гнусное скуление, жалоба мелкой души:

*Все други, все приятели*

*До черного лишь дня.*

– Возмутительно!! – отпрянул художник. – Как можно один день прожить с такими мыслями? Повеситься надо!

– Верно было бы сказать наоборот: только с черного дня и начинаются други.

– Кто ж это написал?

– Мерзляков.

– И фамилья-то! Левка, кто такой Мерзляков?

– Поэт. Лет на двадцать старше Пушкина.

– Его биографию ты, конечно, знаешь?

– Профессор московского университета. Перевел «Освобожденный Иерусалим».

– Скажи, чего Левка не знает? Только высшей математики.

– И низшей тоже.

– Но обязательно говорит: «вынесем за скобки», «эти недостатки в квадрате», полагая, что минус в квадрате...

– Господа! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав! – захлебываясь и торопясь, как ребенок за столом у взрослых, вступил Пряничков. Он ни в чем не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нем мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались как с подростком. – Ведь это же проверено: нас предает именно тот, кто с нами ест из одного котелка! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек...

Потом я вошел в семью крупного бизнесмена, а его познакомили с одной французской графиней...

– Да-а-а? – поразился Сологдин. Графские и княжеские титулы сохраняли для него неотразимое очарование.

– Ничего удивительного! Русские пленники женились и на маркизах!

– Да-а-а?

– А когда генерал-полковник Голиков начал свою мошенническую репатриацию, и я, конечно, не только сам не поехал, но и отговаривал всех наших идиотов, – вдруг встречаю этого моего лучшего друга. И представьте: именно он и предал меня! отдал в руки гебистов!

– Какое злодейство! – воскликнул художник.

– А дело было так.

Почти все уже слышали эту историю Пряничкова. Но Сологдин стал расспрашивать, как это пленники женились на графинях.

Рубину было ясно, что веселый симпатичный Валентуля, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Пряничкову против силы вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

История потянула за собой историю. Потапов вспомнил книжечку, которую вручали каждому репатрианту:

«Родина простила – Родина зовет». В ней прямо было напечатано, что есть распоряжение президиума Верховного Совета не подвергать судебным преследованиям даже тех репатриантов, кто служил в немецкой полиции.

Книжечки эти, изящно изданные, со многими иллюстрациями, с туманными намеками на какие-то перестройки в колхозной системе и в общественном строе Союза, отбирались потом во время обыска на границе, а самих репатриантов сажали в воронки и отправляли в контрразведку. Потапов своими глазами читал такую книжечку, и хотя сам он вернулся независимо от всякой книжечки, его особенно надсаждало это мелкое гадкое жульничество огромного государства.

Абрамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварились в потоке пленников, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, и теперь они мало интересовались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своем конце стола они натолкнули Кондрашева на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашева художником малозначительным, человеком не очень серьезным, утверждения его – слишком внеэкономическими и внеисторическими, но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашева не было род занятий, или раздел знаний.

Искусство было для него – единственный способ жить. Все, что было вокруг него – пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска, – все звучало в одной из двадцати четырех тональностей, и без колебаний Кондрашев называл эту тональность (Рубину был присвоен «до минор»). Все, что струилось вокруг него – человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность – имели цвет, и без колебаний Кондрашев называл

этот цвет (фа-диез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашев – равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения.

Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютей враг передвижников. Ничего не умел он воспринимать наполовину, а только безгранично восхищаться или безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь («он душит меня! он отнимает надежду и жизнь!»), – но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроден был, будто сам их и занес первый на ноты.

Сейчас Кондрашева втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

– Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад, – отвечал Кондрашев. Голос его был молод, в волнении переливался и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. – Если, честно следуя природе, вы изобразите все так, как видите, – разве это будет все? А пение птиц? А свежесть утра? А эта невидимая, но обливающая вас чистота? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра – как же их сохранить и в картине? как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить! – композицией, цветом, ничего другого в вашем распоряжении нет.

– Значит, не просто копировать?

– Конечно, нет! Да вообще, – начинал увлекаться Кондрашев, – всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любишь природу и думаешь: ах, как хорошо! ах, как здорово! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть! Но углубляешься в работу и вдруг замечаешь: позвольте! позвольте! Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие! – вот в этом месте, и еще вот в этом! А должно быть вот как! вот как!! И так пишешь! – задорно и победно Кондрашев смотрел на собеседников.

– Но, батенька, «должно быть» – это опаснейший путь! – запротестовал Рубин. – Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, что вы, кстати, и делаете. Все-таки, если пишешь портрет Андрей Андреевич Потапова, то это должен быть Потапов.

– А что значит – показать таким, какой он есть? – бунтовал художник.

– Внешне – да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такую, какова она есть? А особенно – действительность духовную? Кто это – знает и видит?.. И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нем душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни – почему мне не осмелиться изобразить их? Помочь человеку найти себя – и возвыситься?!

– Да вы – стопроцентный соцреалист, слушайте! – хлопнул в ладоши Нержин. – Фома просто не знает, с кем он имеет дело!

– Почему я должен преуменьшать его душу?! – грозно блеснул в полутьме Кондрашев никогда не сдвигающимися с носа очками. – Да я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое общение людей, может быть всего-то и важнее этой целью: то, что увидит и назовет один в другом – в этом другом вызывается к жизни!! А?

– Одним словом, – отмахнулся Рубин, – понятия объективности для вас и здесь, как нигде, не существует.

– Да!! Я – необъективен и горжусь этим! – гремел Кондрашев-Иванов.

– Что-о?? Позвольте, как это? – ошеломился Рубин.

– Так! Так! Горжусь необъективностью! – словно наносил удары Кондрашев, и только верхняя койка над ним не давала ему размаха. – А вы, Лев Григорьевич, а вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже! Мое преимущество перед вами в том, что я необъективен – и знаю это! И ставлю себе в заслугу! И в этом мое "я"!

– Я – не объективен? – поражался Рубин. – Даже я? Кто же тогда объективен?

– Да никто!! – ликовал художник. – Никто!! Никогда никто не был и никогда никто не

будет! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску – разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, – разве эта сумеречная истина не носится перед нами еще до всяких исследований? Мы берем в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичен, – и мы еще до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится – и, конечно, она нам не нравится! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам еще на сорок лет работы – но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это – объективность?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже – как было сердиться на этого чистейшего человека!

Кондрашев не касался политики, но Нержин поспешил ее коснуться:

– Еще один шаг, Ипполит Михалыч! Умоляю вас – еще один шаг! А – Маркс? Я уверен, что он еще не начинал никаких экономических анализов, еще не собрал никаких статистических таблиц, а уже знал, что при капитализме рабочий класс есть абсолютно нищающий, и самая лучшая часть человечества и, значит, ему принадлежит будущее. Руку на сердце, Левка, скажешь – не так?

– Дитя мое, – вздохнул Рубин. – Если б нельзя было заранее предвидеть результат...

– Ипполит Михалыч! И на этом они строят свой прогресс! Как я ненавижу это бессмысленное слово «прогресс»!

– А вот в искусстве – никакого «прогресса» нет! И быть не может!

– В самом деле! В самом деле, вот здорово! – обрадовался Нержин. – Был в семнадцатом веке Рембрандт – и сегодня Рембрандт, пойдя перепрыгни! А техника семнадцатого века? Она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в семидесятых годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана «Анна Каренина». И что ты мне можешь предложить выше?

– Позвольте, позвольте, магистр, – уцепился Рубин.

– Так по пущей-то мере в инженерии вы нам прогресс оставляете? Не бессмысленный?

– Паразит! – рассмеялся Глеб. – Это подножка называется.

– Ваш аргумент, Глеб Викентьич, – вмешался Абрамсон, – можно вывернуть и иначе. Это означает, что ученые и инженеры все эти века делали большие дела – и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели...

– Продавались! – воскликнул Сологдин почему-то с радостью.

И такие полюсы, как они с Абрамсоном, поддавались объединению одной мыслью!

– Bravo, bravo! – кричал и Пряничков. – Парниши! Пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической! – (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Абрамсон выражает именно его мысли.) – Я, кажется, вас помирю! – лукаво усмехнулся Потапов. – За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоем художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной – у них не было карандаша.

– Андреич! – вскричал Нержин. – И вы могли бы ее воссоздать?

– Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

– Занятно, занятно, господа! – оживился и удобнее уселся Сологдин.

Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

– Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и социального заказа.

– Вы делаете успехи, Андреич.

– А вы, добрые гости, доедайте пирожное, для кого готовили! История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатория Бу-тюр (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУтырская ТЮРьма), мы лежали с Викентьичем рядышком сперва под нарами, потом на

нарах, задыхались от недостатка воздуха, постанывали от голодухи – и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый сказал:

– А что, если бы...?

– Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы...? Основной образ, вошедший в название, во всяком случае принадлежал вам.

– А что, если бы...? – сказали мы с Глебом Викентьевичем, – а что вдруг да если бы в нашу камеру...

– Да не томите! Как же вы назвали?

– Ну что ж, Не мысля гордый свет забавить, попробуем припомнить вдвоем этот старинный рассказ, а? – глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завязтого чтеца запыленных фолиантов. – Название это было: «Улыбка Будды».

## 59

### УЛЫБКА БУДДЫ

Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные сорок бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно-известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

*Почтенный замок был построен*

*Как замки строиться должны.*

После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать там равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу.

Мастерок каменщика и терка штукатурка помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало негибкие решетки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка: ткачи ткали холщевые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестянщики клепали вместительные четырех-и шестиведерные параши с ручками и даже крышками; плотники прорезали в дверях кормушки; стекольщики вставляли глазки; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своем роде намордники, закрывшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригодившейся под тюрьму, и клочок синего неба.

Соображения удобства – иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвинули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчета: четыре камеры – сто голов, один коридор – двести.

И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы

судим по редкости их на страницах «Биржевых ведомостей» и полному отсутствию в «Известиях рабочих и крестьянских депутатов».) Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру сперва по пятьдесят человек, а после всемирно-исторической победы над гитлеризмом и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву – кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили все новые, бледнела и искажалась изузастная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещенные книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная крошка – арестанты забирались с ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлеба по мискам.

Миски разыгрывали, отвернувшись, – «от параша к окну» и «от окна к радиатору», после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей жвакали живительною баландою – и только один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд» и в «Вестнике московской патриархии» – жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и матюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне роко-вого дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параша, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: «Ну, ложись, отбой был!»

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков!

Распахнулась дверь – и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, чрез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели с вещами в коридор. (Шепотом зэки тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел.) В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втокнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливицы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, – была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щелканье пальцами (то были принятые в Бутырках надзирательские сигналы «веду зэка!») повели через многие внутренние стальные двери и спускаясь по многим лестницам, – в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный

повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь гласит:

«Дают – хватай!»), зэки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, полинявшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от еже-декадных прожарок, – и разгоряченные служанки ада – две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья удобка все же сохранила еще тонкий слой дубленого мяса в той неприятельной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром сидеть – те счастливики сидели на теплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши оформления далеко оставляют позади себя Сандуновские, и, говорят, некоторые любознательные иностранцы специально предавали себя в руки ЧеКа, чтобы только помыться в этих банях.) Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, – ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытаясь проникнуть за завесу происходящего.

*Давно уж их воображенье  
Алкало пи-щи роковой.*

Однако, их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо зывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь – и все переменялось! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти, – нет! – четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колесиках четыре зеркальные стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, – но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритв касались изможденных арестантских ланит и щекотали в ухо шепотом:

«Не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростерты ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах.

Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, дочь коралловых островов, и полновесный кусок туалетного мыла «Фея сирени».

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка.

Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католичество, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное Собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани – и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось

мохнатое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений поглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели и еще по миске. Что было после – никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не черную – да просто, можно сказать, съедобную картошку.

– Это исключено! – запротестовали слушатели. – Это уже не правдоподобно!

– Но это было именно так! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы ее есть, – но дьявольское ко-варство состояло в том, что принесли ее не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем, нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру – и через минуту, уже пустое, оно с брэнчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

– Дорогие братья! – сказал он. – Все вы – честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения, несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам! – нагло решили арестанты.) Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. (Остаемся сидеть! – поникли они.) Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается: а) молиться своим богам; б) лежать на койках хоть днем, хоть ночью; в) беспрепятственно выходить из камеры в уборную; г) писать мемуары.

Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается: а) сморкаться в казенные простыни и занавески; б) просить по второй тарелке еды; в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него; г) брать без спросу со стола папиросы «Казбек».

Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно?

И едва лишь майор окончил речь – не гремящие вагонетки выкатили из прожарки белье и драные телогрейки арестантов, нет! – ад, поглотивший лохмотья, не воз-вращал их! но вошли четыре молоденькие кастелянши, потупясь, краснея, милыми улыбками подбодряя арестантов, что не все еще для них потеряно, как для мужчин, – и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, Боже, как она преобразилась!

Еще в коридоре ноги их ступили на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза (за хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро). Оказалось, что за ночь решетки покрашены в голубой цвет, намордники с окон сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтоб отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью: «Мы – за мир!» и «Миру – мир!»

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщевые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки, а из-за кокетливо-отвернутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня.

У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нем – ваза с цветами, пепельница и нераспечатанная пачка «Казбека». (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть «Казбеком» на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая.) Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта добела и выкрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической мадонны, а в неглубокой нише, оставленной еще строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая темная статуэтка Будды – по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался.

Сытые кашей и картошкой и потрясенные невместимым обилием впечатлений, зэки разделались и сразу заснули. Легкий Эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допуская мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спер «Казбека».

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрез-вы-чайно разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру еще втокнули круглый столик под белым чехлом, на нем разложили «Огонек», «СССР на стройке» и журнал «Америка», вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами – и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка».

В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух – это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознается, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донес начало разгадки: со стороны 75-й камеры загрела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выдвинулись голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

– А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант.

И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проникательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНПРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНПРА не доходят до простого народа), а также – не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых партработников и чинов МГБ), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединенные Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтоб ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавеси.

Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний

день, в святом углу теплилась лампада.

Заключенные поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевел вопрос высокой гостью, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, – один из них с развязным видом встал, распечатал коробку «Казбека», закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

– Мы боремся с курением, – выразительно сказал он, – ибо табак – это яд.

Еще один заключенный пересел к столу и стал про-сматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо.

– За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал? – спросила высокая гостья.

(«Этот господин» получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом.) Генерал-майор ответил:

– Этот человек – активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал трех русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету.

– Он приговорен к повешению? – воскликнула госпожа Рузвельт.

– Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди – очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал окаменевшему от удивления:

– Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос – нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

– Внимание, заключенные! А кому было сказано про «Казбек»? Строгача захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели:

– Гражданин начальник, так курева нет!

– Уши пухнут!

– Махорка-то в тех брюках осталась!

– Мы ж-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

– Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед.

Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внося в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков

русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе – блюдо для сбрасывания костей, – одновременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей – и все, наложенное в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

– Может быть, они голодны? – высказала нелепое предположение встревоженная гостья. – Может быть, они хотят еще?

– Добавки никто не хочет? – хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение «прокурор добавит».

Однако, тефтели с рисом зэки проглотили с той же неопикуемой быстротой.

Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала:

– Но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

– Вста-ать! – закричал он. – Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвою сапога дополнительно разъяснял отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы:

«Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи».

Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело – о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощелкиванием и позвякиванием «веду зэка» их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливавшийся своею вечной малахитово-рубинной красотой. Там с них снято было все, вплоть до шелкового голубого белья и произведен был особо-тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку.

Еще отобрали у них коралловые губки и «Фею сирени», в чем опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками – щеки и темени.

Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопьяных щитах лежали пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

В то время, как рассказывалась эта новелла, Шагов, наблестив не новые, но еще приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное, бывшее свое парадное, обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Шагову вступить в нелегкое состязание по костюмам и ботинкам) – поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомого Эрика Сауныкина-Голованова на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодежи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил орден Трудового Красного Знамени. Собственно, молодежь попадала туда довольно отдаленная, но папаша отпускал деньжат. Должна была там быть и та девушка, которую Шагов назвал Наде своей невестой, но с которой еще окончательно не было решено и надо было дожидаться. Из-за того Шагов и звонил Эрику, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кла-ре все виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жену.

Дома тоже имеют свою судьбу...

Помимо того, что надо было держать и приблизить свою намеченную невесту, главной надеждой и желанием Шагова в этот вечер было – вкусно, разнообразно и досыта поесть. Он знал, что будет приготовлено все лучшее и расставлено в непоглотимых количествах, но по заклятью званных пиршеств гости зададутся не тем, чтобы с полным вниманием и наслаждением есть, а – забавлять друг друга, мешать, выказывая пище мнимое пренебрежение. Шагову надо было суметь, занимая свою соседку и сохраняя равномерно-любезное выражение, успевая шутить и отвечать на шутки – тем временем утолять и утолять свой желудок, иссыхающий в студенческой столовой.

Там, на вечере, он не предполагал увидеть ни одного подлинного фронтовика, своего брата по минным ходам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепаханном полем – трусце, оглушительно именуемой атакою.

От своих товарищей – рассеянных, канувших и убитых на конопельных задах деревни, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках, – он шел один сюда, в теплый благополучный мир – не для того, чтобы спросить: «сволочи! а где вы были?», но – примкнуть самому, но – наестся.

Да не устареет ли он с этим делением людей: солдат – не солдат? Ведь вот уже стесняются люди носить и фронтовые ордена, которые так стоили и горели когда-то. Не будешь каждого трясти: «А где ты был?» Кто воевал, кто прятался – это теперь смешивается, уравнивается. Есть закон времени, закон забывтья. Мертвым – слава, живым – жизнь.

Шагов надавил кнопку звонка. Открыла ему Клара, как он догадался.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских пальто. Уже сюда достигал весь теплый дух сборища: веселый гул голосов, и радиола, и позвякиванье посуды и смешанные радостные запахи кухни.

Клара еще не успела пригласить гостя раздеваться, как зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Шагову, чтоб он раздевался.

– Инк?.. Здравствуй... Как? Ты еще не выехал?.. Сейчас же!.. Инк, ну папа обидится... Да у тебя и голос вялый... Ну что ж делать, а ты через «не могу»!.. Тогда подожди, я Нару позову... Нара! – крикнула она в комнату. – Твой благоверный звонит, иди! Раздевайтесь! – (Шагов уже снял шинель.) – Снимайте галоши! – (Он пришел без них.) – ...Слушай, он ехать не хочет.

Вея духами не нашего небосклона, в коридор вошла сестра Клары – Дотнара, жена дипломата, как предварял Шагова Голованов. Не красотой поражала она, но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, который создал славу русского женского типа.

Притом не была она толста или дородна, а просто – не пигалица, которая жметя, вертится и подбирается, неуверенная в себе. Эта женщина ступала так, что равно ей принадлежали прежний и новый кусок пола под ногами, прежний и новый объем пространства, занятый ее фигурой.

Она взяла трубку и стала ласково говорить с мужем. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, но он не спешил миновать это ароматное препятствие, он рассматривал. От отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех женщин теперь, Дотнара казалась особенно женственной: ее плечи спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя. Еще что-то странное было в ее наряде: платье без рукавов, но зато полунакидка, отороченная мехом, – с рукавами, туготой обливающими у кистей, а выше разрезанными.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной черной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мертвого коня.

С тех пор, как сегодня днем Рубин заказал записать еще телефонных разговоров каждого из подозреваемых, – трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим – в центральном узле связи министерства госбезопасности зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Иннокентию не звонить эти дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Вчера – да разве вчера? как давно-давно-давно... – после звонка в посольство в нем стало накручиваться, накручиваться. Он и не ждал, что так разволнуется, он не предполагал, что так боится за себя. Ночью его охватил страх верного ареста – и он не знал, как дожидаться утра, чтобы было куда уехать из дому. Целый день он прожил в смятении, не понимал и не слышал тех людей, с которыми разговаривал. Досада на свой порыв, и гадкий расслабляющий страх слоились в нем – а к вечеру выродились в безразличие: будь, что будет.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы этот бесконечный день был не воскресным, а будним. Он бы тогда на службе мог догадываться по разным признакам, продвигается или отменена его отправка в Нью-Йорк, в главную квартиру ООН. Но о чем можно судить в воскресенье – покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что его звонок был безрассудство, самоубийство – к тому же и не принесшее никому пользы. Да судя по этому растяпе атташе – и вообще недостойны были те, чтобы их защищать.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее предчувствие, неведомо вложенное в нас, щемило Володина, в нем росло предощущение беды – от него-то никуда и не хотелось ехать веселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала, – и отчетливые «форманты» его «индивидуального речевого лада» ложились на узкую коричневую магнитную пленку, чтобы к утру быть превращенными в звуковиды и мокрою лентою распростереться перед Рубиным.

Дотти не говорила в категорическом тоне, усвоенном последние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мягко просила, чтоб он приехал хоть на часик.

Иннокентий уступил, что приедет.

Однако, положи трубку, он не сразу отнял руку от нее, а замер, еще как бы пальцами себя на ней отпечатывая, замер, чего-то не досказав.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас и которую через несколько дней собирался покинуть навсегда, – а ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, которую он водил в «Метрополь» танцевать между столиками, ту девочку, с кем они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда

разрарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело (но какая мать не сопротивляется женитьбе сына?), сопротивлялся и прокурор (но какой отец с легким сердцем отдаст восемнадцатилетнюю прелестную дочурку?). Однако, всем пришлось уступить! Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где еще до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолет, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте – под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском побережье или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодоженов совпали. Взгляд их был, что от желания до исполнения не должно быть запретов, преград. «Мы – естественные люди, – говорила Дотнара. – Мы не притворяемся и не скрываемся: чего хотим – к тому и руку тянем!» Взгляд их был:

«нам жизнь дается только раз!» Поэтому, от жизни надо было взять все, что она могла дать, кроме пожалуй рождения ребенка, потому что ребенок – это идол, высасы-вающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и еще от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец.

Искупаться на каждом курорте. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу все, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были – те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей корки хлеба. И горе мира никак не овеяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь дается нам только раз!..

Однако, на шестом году их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая черной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь дается нам только раз, – в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять – ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебарывал его в себе, как болезнь, ждал, что пройдет – но оно не проходило. Главное – он не мог разобраться в этом чувстве – в чем оно? Как будто все было доступно ему, а чего-то не было совсем. В двадцать восемь лет, ничем не больной, Иннокентий ощутил во всей своей и окружающей жизни какую-то тупую безвыходность.

И веселые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали разнравливаться ему, один казался не умным, другой грубым, третий – слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, – от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь отделил себя и отличил.

Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не пресыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении, – других таких губ он никогда не знал, не встречал, и потому Дотти была единственная среди всех красивых и умных, – эта женщина вдруг обнаружилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью суждений.

Особенно о литературе, о живописи, о театре замечания ее все теперь оказывались не в попад, драли ухо своей грубостью, непониманием – а произносились при этом так уверенно. Только молчать с ней оставалось по-прежнему хорошо, а говорить – все трудней.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменять. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших, – то теперь в ней возникла ненасыть удержать в своем постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтоб отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами.

Иннокентию было это неприятно, он говорил ей – но чем явнее расходились их намерения, тем категоричнее она была убеждена в своей правоте. Появилась ли в ней теперь? – или была, да он не замечал? – манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии.

Ему не хватало чего-то, а чего – он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца – так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль – почитать, а что, собственно, проповедовал учитель? И он стал искать в шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу – разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклонять-ся, переключивать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но все же совладал с собой – и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашел он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочел ее, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни своей покойной матери, которой он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть ее он перенес почти равнодушно.

С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со «Взвейтесь кострами, синие ночи!» слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, тот погиб в двадцать первом году в Тамбовской губернии при подавлении мятежа, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце – о знаменитом герое, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. Ото всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно озабоченной, о чем-то грустящей, всегда обложенной книжками и грелками матери он относился почти свысока и, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и еще какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти не пришлось жить вместе. Но мальчишке и об этом не было повода задуматься, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это все разворачивалось перед ним из писем и дневников матери.

Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как все в те годы.

Грубо и коротко их столкнули внезапные обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видиться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, но – отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться. Что может быть только из-за карьеры сына она до смерти носила чужое ей имя.

Перевязанные разноцветными тесемками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадях с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи

странным маминым почерком – как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц.

Сейчас не знал Иннокентий такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая ее, кто-то не спал бы ночь, кроме тех, кого погонит Отдел Культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж конечно никому не придет в голову плакать при встрече.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: «Этические записи».

«Жалость – первое движение доброй души», – говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость? Это чувство постыдное и унижительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют, – так вынес он из школы, из жизни.

«Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе мнения.»

Довольно старомодно было и это. Если я обладаю правильным мировоззрением, то разве можно уважать тех, кто спорит со мной?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, ее ломкий голос:

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть – не через тебя.»

Шесть лет назад Иннокентий если б и открыл дневники, – даже не заметил бы этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто такого уж сокровенного, и даже прямо неверное было – а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражались мама и ее подруги. Они всерьез писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремленность.

Но хотя Иннокентий был безусловно идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлен (целеустремленность больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как подступает что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с четкой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программки Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета «Зритель». И «Вестник кинематографии» – как? это уже все было в то время? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: «Аполлон», «Золотое Руно», «Гиперборей», «Пегас», «Мир искусства». Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов. Бесчисленные книжечки журнальных приложений – с десятками имен европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писателей! – здесь были целые издательства, никому не известные, как провалившиеся в тартарары: «Гриф», «Шиповник», «Скорпион», «Мусагет», «Альциона», «Сирин», «Сполохи», «Логос».

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в черном дождевике, вошел по ордеру ЧК на обыск.

В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия Десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентий в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России – таким безнадежным, что не протяни большевики руку помощи – и Россия сама собой сгнила бы и развалилась.

Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей! но какое расколосье мыслей!

Иннокентий понял, что был обокраден до сих пор.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то прикремлевский вечер.

Иннокентий посмотрел на нее бессмысленно, потом собрал лоб, вообразил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к жене глазами – и попросил ее ехать одну. Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего – его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. Если его обманули в одном – то, может, и еще в чем-нибудь? и еще?

За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (легкость во французском, который вез его карьеру, он приобрел еще в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение. Все пресыщенные и притупленные страсти заменились в нем одною: читать! читать!

Но оказалось, что и читать – это тоже умение, это не просто бегать глазами по строчкам. Иннокентий открыл, что он – дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая. Он с юности был огражден от книг не правильных, и читал только заведомо правильные, оттого укоренилась в нем привычка: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Теперь же, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему. Трудней всего было научиться – отложивши книгу, размыслить самому.

... Почему даже выпала из советских календарей как незначительная подробность Семнадцатого года эта революция, ее и революцией стесняются называть – Февральская? Лишь потому, что не работала гильотина? Свалился царь, свалился шестисотлетний режим от единого толчка – и никто не бросился поднимать корону, и все пели, смеялись, поздравляли друг друга – и этому дню нет места в календаре, где тщательно размечены дни рождения жирных свиней Жданова и Щербакова?

Напротив, вознесен в величайшую революцию человечества – Октябрь, еще в двадцатые годы во всех наших книгах называемый переворотом. Однако, в октябре Семнадцатого в чем были обвинены Каменев и Зиновьев? В том, что они предали буржуазии тайну революции! Но разве извержение вулкана остановишь, увидевши в кратере? разве перегородишь ураган, получив сводку погоды? Можно выдать тайну? только узкого заговора! Именно стихийности всенародной вспышки не было в Октябре, а собрались заговорщики по сигналу...

Тут вскоре назначили Иннокентия в Париж. Ко всем оттенкам мировых мнений и ко всей эмигрантской русской литературе у него здесь был доступ (только все же оглядываясь около книжных киосков). Он мог читать, читать и читать! – если б не надобно было прежде того служить.

Свою службу, свою работу, которую он до сих пор считал наилучшим, наиудачным жизненным жребием, – он впервые ощутил как нечто гадкое.

Служить советским дипломатом – это значило не только каждый день декламировать убогие вещи, над которыми смеялись люди со здоровым мозгом, это значило еще иметь те две грудные стенки и два лба, о которых он сказал Кларе. Главная-то работа была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег.

В веселой молодости, до своего кризиса, Иннокентий не находил эту заднюю деятельность предосудительной, а даже – забавной, легко ее выполнял.

Теперь она стала ему – против души, постылой.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.

Но не было, не было вокруг Иннокентия, кому он мог бы все издуманное рассказать, ни даже жене. Как не поняла и не разделила она его вернувшейся нежности к умершей матери, так не понимала дальше, зачем можно интересоваться событиями, которые, пройдя однажды, уже не вернутся больше. А что он стал презирать свою службу – это в ужас бы ее привело, ведь именно на этой службе была основана вся их сверкающая успешливая жизнь.

Отчужденность с женою дошла в прошлом году до того угла, когда открывать себя становилось уже опасно.

Но и в Союзе, в отпуске, тоже не было близких у Иннокентия. Тронутый наивным рассказом Клары о поломойке на лестнице, он порывом понадеялся, что может быть хоть с нею будет хорошо говорить. Однако, с первых же фраз и шагов той прогулки, Иннокентий увидел, что – невозможно, непродерные заросли, слишком многое расплетать, разрывать. И даже к тому, что вполне естественно, что сблизило бы их – сестре жены пожаловаться на жену – он почему-то не расположился.

Вот почему. Тут еще обнаружился странный закон: бесплодно пытаться развивать понимание с женщиной, если она тебе не нравится телесно – почему-то замыкаются уста, охватывает бессилие все просказать, проговорить, не находятся самые открытые откровенные слова.

А к дяде он в тот раз так и не поехал, не собрался, да и что? – одна потеря времени. Будут пустые надоедливые расспросы о загранице, аханье.

Прошел еще год – в Париже и в Риме. В Рим он устроился ехать без жены, она была в Москве. Зато вернувшись, узнал, что уже делил ее с одним офицером ген-штаба. С упрямой убежденностью она и не отрекалась, а всю вину перекладывала на Иннокентия: зачем он оставлял ее одну?

Но не ощутил он боли потери, скорей – облегчение. С тех пор четыре месяца он служил в министерстве, все время в Москве, но жили они как чужие.

Однако о разводе не могло быть речи – развод губителен для дипломата.

Иннокентия же предполагалось переводить в сотрудники ООН, в Нью-Йорк.

Новое назначение нравилось ему – и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН – не устав, а какой она могла бы быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы или бирманцы или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак – не для того. Его и туда толкали с тайным заданием, задней мыслью, второй памятью, ядовитой внутренней инструкцией.

В эти московские месяцы нашлось время и поехать к дяде в Тверь.

## 61

Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий, – искать не пришлось. Это оказался в мощеном переулке без деревьев и палисадников одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных.

Что не так ветхо, что здесь открывается – калитка при воротах или скособоченная, с узорными филенками, дверь дома – не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда. Но не открывали и не отзывались. Потряс калитку – заколочено, толкнул дверь – не подалась. И никто не выходил.

Убогий вид дома еще раз убеждал его, что зря он приехал.

Он обернулся, ища, кого бы спросить в переулке – но весь квартал в полуденном

солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, из-за угла с двумя полными ведрами вышел старик. Он нес напряженно, однажды приспоткнулся, но не останавливался. Одно плечо у него было приподнято.

Вслед за своей тенью, наискосок, как раз он сюда и шел и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана, еще шагнул:

– Дядя Авенир?

Не столько нагнувшись спиной, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплевса, поставил ведра. Распрямился. Снял блин желто-грязной кепченки со стриженной седой головы, тем же кулаком вытер пот. Хотел – сказать, не сказал, развел руки, и вот уже Иннокентий, склонясь (дядя на полголовы ниже), уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы, а ладонью попал как раз на угловато-выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое.

Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал.

Он собирался торжественно.

А сказал:

– Ты... что-то худенек...

– Да и ты...

Он не только худ, он был, конечно, со многими немочами и недомогами, но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешенностью. Он усмехнулся, больше правой стороной губ:

– Я-то!.. У меня банкетов не бывает... А ты – почему?

Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбас и копченой рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вздыхнул:

– Беспокойства, дядя...

Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу:

– Смотря – от чего. А то так – и ничего.

– И далеко воду носишь?

– Квартал, квартал, еще половинка. Да небольшие.

Иннокентий нагнулся донести ведра, оказались тяжелые, будто донья из чугуна.

– Хе-е-е... – шел дядя сзади, – из тебя работничек! Непривычка...

Обогнал, отпер дверь. В коридорце, подхватывая за дужки, помог ведрам на лавку. А щегольский синий че-модан опустился на косою пол из шатких несогнанных половиц. Тут же заложена была дверь засовом, как будто дядя ждал, что ворвутся.

Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать.

И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трех небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелегкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а «коврами» были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоев зачем-то навешенные повсюду: ими закрывались стекла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

А дядя, нисколько не стыдась, но даже чуть ли не с гордостью водил его и показывал угодыя: домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник, и как

улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей.

Еще какая придет жена! И что за белье у них на постелях, можно заранее вообразить!

А с другой стороны это был родной мамин брат, он знал жизнь мамы с детства, это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия – и сорваться сейчас же, значит не доузнать, не додумать даже о себе.

Да самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия.

С первых же слов что-то почув-ствовало в нем больше, чем было в двух коротких письмах.

В годы всеобщего недоверия и преданности кровное родство дает уже ту первую надежность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе – естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и темным.

Дядя был не то, что худ, но – сух, только то и оставалось на его костях, безо чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго.

– Тебе точно сколько ж лет, дядя?

(Иннокентий и неточно не знал.) Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно:

– Я – ровесничек.

И все смотрел, не отрываясь.

– Кому?

– Са-мо-му.

И смотрел.

Иннокентий со свободой улыбнулся, это-то было для него пройденное: даже в годы восторгов кряду всем, Сам оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью.

И не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутиливо:

– Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться.

Засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче.

Одет дядя был ужасно: рубаха под пиджаком непоказуемая; у пиджака облохмачены, обшиты и снова обтерты воротник, лацканы, обшлага; на брюках больше латок, чем главного материала, и цвета различались – просто серый, клетчатый и в полоску; ботинки столько раз чинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм – его рабочий, и дальше водяной колонки и хлебного магазина он так не выходит.

Впрочем, и переодеться он не спешил.

Не задерживаясь в комнатах, дядя повел Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно.

Двор был метров тридцать на десять, но зато весь це-ликом дядин.

Плохонькие сарайчики да заборцы со щелями отделяли его от соседей, но – отделяли. В этом дворе было место и мощеной площадке, мощеной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту, и дровяному, и летней печке, было место и саду. Дядя вел и знакомил с каждым стволом и корнем, кого Иннокентий по одним листьям, уже без цветов и плодов, не узнал бы. Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста черной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили – из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня, с ветвями, подпертыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось – те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Все же он понял:

– А тяжело тебе, дядя! Это сколько ж нагибаться, копать, таскать?

– Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру – нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в

одной квартире с передовым классом.

– С кем это?

– С пролетариатом. – Еще раз проверяюще примерился старик. – Кто домино как гвозди бьет, радио не выключает от гимна до гимна. Пять часов пятьдесят минут остается спать. Бутылки бьют проходим под ноги, мусор высыпают вон посреди улицы. Почему они – передовой класс, ты задумывался?

– Да-а-а, – покачал Иннокентий. – Почему передовой – этого и я никогда не понимал.

– Самый дикий! – сердился дядя. – Крестьяне с землей, с природой общаются, оттуда нравственное берут. Интеллигенты – с высшей работой мысли.

А эти – всю жизнь в мертвых стенах мертвыми станками мертвые вещи делают – откуда им что придет?

Шли дальше, приседали, разглядывали.

– Это – не тяжело. Здесь все работы мне – по совести. Помои выливаю – по совести. Пол скребу – по совести. Золу выгребать, печку топить – ничего дурного нет. Вот на службах – на службах так не поживешь. Там надо гнуться, подличать. Я отовсюду отступал. Не говорю учителем – библиотекарем, и то не мог.

– А что так трудно библиотекарем?

– Пойди попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить. Незрелые мозги обманывать. А какую ты назовешь работу по совести?

Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная – была против.

А дом этот – Раисы Тимофеевны, давно уже. И работает – только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У нее взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо – и душевно, и телесно, и в нищете.

Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках.

Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду и все женские домашние работы. Это – не тяжело.

За кустами, у самого забора, как полагается настоящему саду, была врыта укромная скамья, дядя с племянником сели.

Это не тяжело, вел и вел свое дядя, с упрямством яснорассудочной старости. Это – естественно, жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате, пусть весь клочок – три лопаты на две. Он уже десять лет так живет, и рад, и лучшего жребия ему не надо. Какие б заборы ни хилые, ни щелястые – а это крепость, оборона. Снаружи входит только вредное – или радио, или повестка о налоге, или распоряжение о повинностях. Каждый чужой стук в дверь – всегда неприятность, с приятным еще не приходили.

Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо.

Что же?

В своем перелатанном, в кепченке-блине, дядя с выдержкой и с последним еще недоверием косился на Иннокентия. Ни за два часа, ни за два года нельзя было достигнуть до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал, и свой был, и – вытяни, вытяни, мальчик!

– Тяжелей всего, – завершил дядя с нагоревшим, накаленным чувством, – вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг. – (Дальше все будет открыто или все закрыто!) – Принудительная верность правительству, которое ты, может быть... не уважаешь.

Вот тут и имей глаза! – безумец или мудрец заикается перед тобой в затерханном истощенном обличьи. Когда он откормлен, в академической мантии и говорить не торопится – тогда все согласятся, что мудрец.

Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но все же дядя вильнул за проверенную широкую спину:

– Ты – Герцена сколько-нибудь читал? По-настоящему?

– Да что-то... вообще... да.

– Герцен спрашивает, – набросился дядя, наклонился со своим косым плечом (еще в

молодости позвоночник искривил над книгами), – где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?

Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил:

– Почему любовь к родине надо распро...?

Но это уже было у другого забора, там дядя оглядывался на щели, соседи могут подслушать.

Хорошо они стали с дядей говорить, Иннокентий уже и в комнатах не задыхался, и не собирался уезжать. Странно, шли часы – и незаметно, и все интересно. Дядя даже бегал живо – в кухню и назад, в кухню и назад.

Вспоминали и маму, и старые карточки смотрели, и дядя дарил. Но он был намного старше мамы, и общей юности не было у них.

Пришла с работы Раиса Тимофеевна, крутая женщина лет пятидесяти, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди, и он тоже ощутил странную робость, что она сейчас все развалит им. За стол под темной клеенкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что б они тут ели, если б Иннокентий не привез полчемодана с собой и еще не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они помидоров только. Да картошку.

Но щедрость родственника и редкостная еда вызвали радость в глазах Раисы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины – своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмочке, по другой. Раиса Тимофеевна стала высказывать обиду, как не правильно живет ее непутевый: не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел! Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты, а то «Новое время», а оно дорогое – и газеты ведь не для удовольствия, а бесится над ними, потом ночами сидит, строчит ответы на статьи, но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже и сжигает, потому что и хранить их немисливо. Этим пустописанием у него полдня занято. Еще ходит слушать заезжих лекторов по международному положению – и каждый раз страх, что домой не вернется, что подыметя и задаст вопрос. Но нет, не задает, ворочается цел.

Дядя почти не возражал молодой жене, посмеивался виновато. Но и надежды на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Раиса Тимофеевна будто и жалилась не всерьез, отчаялась давно. И двугривенных последних не лишала.

Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни – успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосой, а от нее болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком.

Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе: тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие как в комнату входили всякий раз своим топотом, говором и руганью.

Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику еще одну свою тайну: эти желтые газеты, во много слоев навешенные будто от солнца или от пыли – это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. («А почему вы именно эту газету храните, гражданин?») – «А я ее не храню, какая попалась!») Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку. Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!» А в газете 1924 года на окне Сталин защищал «верных ленинцев Каменева и Зиновьева» от обвинений в саботаже октябрьского переворота.

Иннокентий увлекся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сороковаттной лампочке они бы долго еще лазали и шелестели, разбирая выbleкшие полустертые строчки, но по

укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал:

– Еще завтра день будет, ты ж не уедешь? А сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим электростанций – не дешевет.

Погасили. Но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шепотом еще часа два проговорили с захваченностью влюбленных, которым не нужно освещения для воркотни.

– Только обманом, только обманом! – настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. – Никакое правительство, ответственное за свои слова... «Мир народам, штык в землю!» – а через год уже «Губдезертир» ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так не делал... «Рабочий контроль над производством» – а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу все зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться – кто б тогда за ними пошел? «Конец тайной дипломатии, тайных назначений» – и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?

В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы, и вот уже толковал дядя, что всю войну 41-го года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол, внутренних войск против революции не имел. А бестолковое Временное и вовсе ника-кими войсками не владело.

И – еще об этой последней, советско-германской. Как ты ее понимаешь?

Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:

– Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли – и мы ее потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.

– Мы уложили, конечно, не семь миллионов! – торопился и дядя. – И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...

И опять – о Втором съезде советов: он был от трехсот совдепов из девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.

– Да что ты говоришь?..

Уже по два раза «спокойной ночи» сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, – но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:

– Ни за что сами не сделают!

– Могут и сделать, – чмокал Иннокентий. – Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.

– Брехня! – уверенно говорил дядя. – Объявят, а – кто проверит?..

Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.

Уходил и еще возвращался:

– Но если сделают – пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.

Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.

– Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.

– Но и никакая война – не выход, – возвращался дядя. – Война – гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбежками – война прежде всего страшна тем, что отдает все мыслящее в законную власть тупоумия... Да впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи.

Домашние дела не терпят небрежения: на завтра к своим чередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, и Иннокентий, уже зная, что вечером не считаешь, спешил смотреть их при дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осызались, противный налет оставался на подушечках

пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налет, как перестал замечать все недостатки дома, кривые полы, малый свет оконок и дынину обтрепанность. Чем дальше год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет.

Поздно к вечеру опять пообедали втроем, дядя пободрел, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и веселое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством.

Вперебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую ожесточенную жизнь.

Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане и оттуда, при керосиновой лампе – сюда проводки не было, вынимал пронафталиненные теплые вещи, и просто тряпье. И, подняв лампу, показал племяннику свое сокровище на дне: крашеное гладкое дно устилала «Правда» второго дня октябрьского переворота. Шапка была: «Товарищи! Вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской – Учредительного Собрания!»

– Ведь голосования еще не было тогда, понимаешь? Еще не знали, как мало их выберут.

Снова долго, аккуратно укладывал сундук.

На Учредительном Собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия: отец его Артем был среди главных сухопутных матросов, разогнавших поганую учредилку, а дядя Авенир – манифестант в поддержку заветного Учредительного.

Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень. Почтовики, телеграфисты, чиновники. И просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги – красные, флаги социалистов и революции, один-два кадетских бело-зеленых. А другая манифестация, от заводов Невской стороны – та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами.

Этот рассказ опять пришелся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно темен, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щелки ставен, если была луна.

Но сейчас не было луны, и уличный фонарь недалеко, и ставенные доски сплочены – и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дыниной головы, а иногда лишь ее движения. Не поддержанный блистаньем глаз, ни мукой лицевых складок, тем безвозрастней и убежденней внедрялся дядин голос:

– Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня, но если хочешь даже и не понимали: что это будет единственный день единственного русского свободного парламента – на пятьсот лет назад, на сто лет вперед. И кому ж этот парламент был нужен? – сколько нас изо всей России набралось? Тысяч пять... Стали по нас стрелять – из подворотен, с крыш, там уже и с тротуаров – и не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди... С упавшим выходило двое-трое, остальные шли... От нас никто не отвечал, и револьвера ни у кого не было... До Таврического нас и не допустили, там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу, что с Латвией будет – они не догадывались... На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу: «Расходитесь! На панель!» И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали... еще тебе о тех красногвардейцах бы рассказать... древно сломали, знамя топтали...

Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так еще в спину стреляли и убивали.

Как легко этим красногвардейцам стрелялось – по мирным людям и в спину, ты подумай – ведь еще никакой гражданской войны не было! А нравы – уже были готовы.

Дядя подышал громко.

– ...А теперь Девятое января – черно-красное в календаре. А о Пятом даже шептать нельзя.

Еще подышал.

– И уже тогда этот подлый прием: демонстрацию нашу, мол, почему расстреливали? Потому что – калединская!.. Что в нас было калединского?

Внутренний противник – это не всем понятно: ходит среди нас, говорит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом – и тогда легко, хорошо в него стрелять.

И молчание в темноте – особенно ясное, нерассеянное.

Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше, к спинке.

– А в самом Таврическом?

– Крещенская ночь? – Дядя дух перевел. – Что в Таврическом? – охлос, толпа. Оглушу тебя трехпалым свистом... Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об пол, надо, не надо. Ведь – охрана! Кого – от чего?.. Матросики и солдатики, половина пьяных – в буфете блевали, на диванах спали, по фойе лузгали семечки... Нет, ты стань на место какого-нибудь депутата, интеллигента, и скажи – как с этими стервами быть?

Ведь даже за плечо его потрогать нельзя, ведь даже мягко нельзя ему выговорить – это будет наглая контрреволюция! оскорбление святой охлократии! Да у них пулеметные ленты крест-накрест. Да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседаний Учредительного они и среди публики сидят с винтовками и в проходах стоят с винтовками – и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения. Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли – а на него двадцать дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела, убьют – дорого не возьмут и извиняться не будут, выходи следующий!.. Вот это надо понять: оратору винтовкой в рот! – в этом их суть! Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут! В чем другом, в этом – никогда не переменяются... А Свердлов рвет звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не дает открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер – так хохочет!! Ума ж не хватает, что дорого – начать, через полгода и ваших передушат... Ну, а дальше сам знаешь, в кино видел... Комиссар тупенко-дубенко-Дыбенко послал закрыть ненужное заседание. С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю...

– И мой отец?!

– И твой отец. Великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама... уступила ему... Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.

Иннокентий весь горел – лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь как будто собственного участия в подлости.

Дядя уперся об его колено и – ближе, ближе – спросил:

– А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемета и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары – трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина, восполнила прежнюю узорность семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никаноровна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучеб. Но

зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья. А с укреплением жизни как важный внешний знак благосостояния должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Алевтины Никаноровны было умение приобретать это все недорого, никогда не упустить выгодных продаж – на закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свежеприсоединенных областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда еще нужны были для того пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотно и почти за бесценок продавали тяжелые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нем – в глушеном, иоризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмиевой зелени, в кобальтовой сини. Не теперешний хрусталь Главпосуды собирала она – перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с особенностью своего создателя, – в двадцатые-тридцатые годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих.

Так и сегодня отлично обставлен и обилён был стол, и с переменной блюд едва справлялись две прислуги-башкирки: одна своя, другая взятая на вечер от соседней. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряженные, разруганные от кухни лица девушек выражали серьезность и старание. Они были довольны своею службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никаноровна, статная, еще не старая, следила за прислугой с одобрением.

Особой заботой хозяйки было еще то, что в последний час изменился план вечера: он затевался для молодежи, а среди старших – просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет два дня назад. Поэтому приглашен был старый друг прокурора еще по гражданской войне серб Душан Радович, бывший профессор давно упраздненного Института Красной Профессуры, и еще допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности хозяйки, жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока (с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну) генерал-майор Словута, тоже прокурор, и очень важный человек по службе – и обязательно надо было его пригласить.

Однако перед Словутой стыдно было теперь за этих полуполюгальных гостей – за этого почти уже и не приятеля, за эту почти уже и не подругу, Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Алевтине Никаноровне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от Словуты подальше и заставляла ее тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать; с другой стороны хозяйке приятно было, как та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась, и сервировкой, и гостями.

Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию. Но к досаде тестя дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодежь рассеялась танцевать.

А все же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир. Он ехал потерянный, ему равно невозможно было и дома оставаться, ему невыносимо было везде. Но когда он вошел с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживленного гула, смеха, красок – он ощутил, что именно здесь его арест никак не возможен! – и к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной легкости. Он охотно выпил налитое ему, и охотно принимал в тарелку с одного блюда и с другого – сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нем голод.

Его искреннее оживление освободило и тестя от досады и облегчило разговор на их почетном конце стола, где Макарыгин напряженно маневрировал, чтобы Радович не выпалил

какой-нибудь резкости, чтобы Словуте было все время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами.

– Ведь они что с женой? – жаловался он. – Подобралась парочка, баран да ярочка, – живут для себя, жируют и никаких забот.

Устроились! Прожигатели жизни! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А? Иннокентий, признайся – Эпикура исповедуешь?

Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии – младо-гегельянцем, нео-кантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси боже, ревизионистом. Напротив, «эпикуреец» звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни Основоположников, не преминул вставить:

– Что ж, Эпикур – хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

На Радовиче был вытертый полувоенный френч, кожа лица – темный пергамент на колодке черепа. (Выходя же на улицу, он до последней поры надевал буденновский шлем, пока не стала задерживать милиция.) Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей.

Какой был смелый шаг – вмешаться в борьбу титанов! Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

– Эпикура? – с посверкивающими глазами принял он вызов. – Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что «эпикуреец» принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят:

«он – эпикуреец». Нет, подождите, я серьезно! – не дал он возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. – А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. Он совсем не зовет нас к оргиям. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет ненасытные желания! А? Он говорит: на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он освобождает человека от страха перед ударами судьбы – и поэтому он великий опти-мист, Эпикур!

– Да что ты! – удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом.

– Налей, налей ему! – сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, – а то он нас заговорит.

Тесть налил, и Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Эпикура показалась достойной исповедания.

Словута с нестарым отекившим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда еще намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал... Но и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал и как раз ничего не рассказывал, наверно придумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнет, собрался уходить.

Макарыгин уговаривал Словуту побыть еще и обломал на том, что надо поклониться «табачному алтарю» – коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угашивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, хозяин открыл ее и приглашал Словуту и зятей. Однако, зятя отговорились от стариковской компании. Теперь особенно опасаясь, что Душан там ляпнет лишнее, Макарыгин в дверях кабинета, пропустив Словуту вперед, погрозил Радовичу пальцем.

Свояки остались на пустом конце стола вдвоем. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их еще принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать – и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдаленную музыку.

\*\*\*

Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причем писать в этот раз не роман, а пьесу – потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нем типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить все действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо – писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.

Прислуга шумела сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и, с уходом Словуты, уже не сдерживала голос подруги, досказывавшей ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно, доктора хорошие, а партактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных, для них бесперебойно молоко и без отказа пенициллиновые уколы.

Из соседней комнаты пела радиолка, а из следующей – металлически бубнил телевизор.

– Привилегия писателей – допрашивать, – кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура. – Вроде следователей. Все вопросы, вопросы, о преступлениях.

– Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, его светлые черты.

– Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах? Галахов улыбнулся.

– Хочешь-не хочешь – не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты – родственник.

– И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврет тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

– Я понимаю. Но... этой стороны вашей деятельности... отражать не придется, так что она меня...

– Ага. Значит, тебя интересует главным образом – быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приемы, вручение грамот...

– Нет, глубже! И – как преломляются в душе советского дипломата...

– А-а, как преломляются... Ну, уже все! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же – бросил? исчерпал?

– Исчерпать ее – невозможно, – покачал головой Галахов.

– Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии – иначе откуда б вы их брали?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

– Военная тема – врезана в сердце мое.

– Ну, ты же и создал в ней шедевры!

– И, пожалуй, она для меня – вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

– А может – не надо?

– Надо! Потому что война поднимает в душе человека...

– В душе? – я согласен! Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчиненных. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, еще вы показываете, как трудно беднякам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы.

– Ты говоришь о моем последнем романе?

– Да нет, Николай! Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель – это наставник других людей, ведь так понималось всегда?

Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало.

Галахов осторожно ответил:

– То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

– Ну, конечно, конечно, – легко согласился Иннокентий. – У нас совсем другие законы... Но я не то хотел... – Он вернул кистью руки. – Коля, ты поверь, – мне что-то симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты – задумывался?.. как ты сам понимаешь свое место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но все равно, от этого вопроса ты не уйдешь – кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе дает социалистический реализм. Вообще, скажи мне, Коля, – уже не зубоскально, уже со страданием спрашивал Иннокентий, – тебе не бывает стыдно за наше поколение?

Переходящие складочки, как желвачки прошли по лбу Галахова, по щеке.

– Ты... касаешься трудного места... – ответил он, глядя в скатерть.

– Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?.. – Два раза он повернул свой карандашik плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литературских компаниях невозможно было.

– Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось – я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

– Ини! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?

Она совсем была здесь некстати.

Она подходила – и вид ее, самая неизбежность ее в жизни Иннокентия – вдруг напомнили ему всю ужасную истину, что его ждет, а этот званый вечер, и эти за-стольные перебросные шуточки – все пустота. Сердце его сжалось. Горячей сухостью охватило горло.

А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы-реглан. Через узкий меховой воротничок перепали все те же ее свободные светлые локоны, за девять лет не переиначенные модными подражаниями – свое хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но может быть от вишневой блузы? И еще чуть подергивалась ее верхняя губа – это оленье подергивание, так знакомое и так любимое им, – когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас?..

Так долго она старалась подчеркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней? – или предчувствие разлуки вошло в ее сердце? – отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленье подергивание губы...

Иннокентий не мог бы ей простить, да не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчужденности, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться враз. Но эта ее покорность прошла теплом по его сжатой душе, и он за руку притянул жену сесть рядом – движение, которого всю осень между ними не было, невозможно было совсем.

И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтоб это оставалось приличным, но всем бы было видно, как она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако, он мягко поглаживал ее руку в вишневом рукаве.

Белый костяной карандашик писателя лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли.

... Но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман. Он стал лауреат сталинской премии, и еще раз лауреат, и еще раз лауреат. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи ее только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах еще прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важнее свое сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важнее ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались многонольными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, еще проводились специальные месячники проталкивания.

Конечно, очень многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, черт ее подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе – хоть что-нибудь лучше, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что все трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт – иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один – что перед ним всплыл и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще – а почему-то всегда прославленный, главный критик Ермилов.

Так и воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтет эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало)

статьей на целую полосу «Литературки». Назовет он статью: «Из какой подворотни эти веяния?» или «Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнет он ее не прямо, начнет с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же остороженько вывернет эти слова, перенесет их совсем в другом смысле – и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем стараюсь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

– А черты нашего дипломата? – все же досказал Иннокентий, но голосом потерянном и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечется лицо. – Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Безаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других – слабоватое знание иностранных языков. Ну, и еще – большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь дается нам – один только раз...

## 63

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего еще терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но знающая мера в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц.

За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение или сажали в тюрьму.

Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик – овальный, из черного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафчик из карельской березы с многочисленными выдвигаемыми ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, Табаков трубочных и даже нюхательных.

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, – Радович сладострастно разбирался и принимался к содержимому табачных ящичков, не решаясь, на чем остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами, – но так как ему запрещалось еще и пить, и есть (сегодня за ужином он тоже почти не ел) – то обоняние и вкус его были особенно изошрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой, он частенько кручивал газетные цыгарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стесненных денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и встрял в разговор – он не сказал бы ничего ужасного,

ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако, непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская партия тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чем он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешел от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже, при росте числа прокуроров, увеличивается.

– А что говорит статистика преступлений? – спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она еще.

Но Словута сказал:

– Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

– А все-таки еще порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой – его ли в этом убеждают!

– Когда Владимир Ильич говорил нам, что культур-ная революция будет гораздо трудней Октябрьской – мы не могли себе представить! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлевской стены) было сухо: Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на все хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стеклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет, Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (все равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадежно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года, все это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своем секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру – 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения.

Литература же, которую Макарыгин единственно читал – на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

– Хорошо живешь, Макарыгин!

– Да где хорошо... Думаю в областные переводиться.

– В областные? – прикинул Словута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное ухватывал он легко. – Да может и есть смысл.

Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо: областному прокурору кроме зарплаты дают пакеты, а в Главной Военной до этого надо высоко дослужиться.

– А зять старший – лауреат трижды?  
– Трижды, – с гордостью отозвался прокурор.  
– А младший – советник не первого ранга?  
– Еще пока второго.  
– Но боек, черт, до посла дослужит! А самую младшую за кого выдавать думаешь?  
– Да упрямая девка, Словута, уж выдавал ее – не выдается.  
– Образованная? Инженера ищет? – Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. – На восемьсот рубликов? Уж ты ее за чекиста, за чекиста выдавай, надежное дело.

Еще б Макарыгин этого не знал! Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в темной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить ее не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты...

– Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.

– Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорбленным взглядом проводил круглую объемную спину гостя, которого Макарыгин пошел довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нес в кресло, да заметил на столе еще книжечку в пестроватом черно-красном переплете, прихватил и ее.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: «Тито – главарь предателей» какого-то Рено де-Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзости он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегаая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе – кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина ее автор, и сколько новой желчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; раз он признался – значит, был виноват», – Радович с гадливостью положил книгу на прежнее место.

Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о приемчиках НКВД). Раз он признался – значит, был виноват!.. – *summa summagum* сталинского правосудия!

Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать ее в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орден рядом с потускневшими прежними, Душан затаенно сидел в кресле и читал том энциклопедии.

– Не балуют прокуратуру орденами, – вздохнул Макарыгин, – к тридцатилетию выдавали, а так редко кому.

Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал.

Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустил на диван.

– Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся.

– А что я мог ляпнуть? – удивился Радович.

– Что ляпнуть! – обрезал сигару прокурор. – Мало ли что! У тебя все куда-то выпирает. – Закурил. – Вон он про японцев рассказывал – у тебя губы дрожали.

Радович распрямился:

– Потому что гнусная полицейская провокация, за десять тысяч километров пованивает!

– Да ты с ума сошел, Душан! Ты – при мне не смей так! Как ты можешь о нашей партии...

– Я не о партии! – отгородился Радович. – Я – о Словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолетов? Все так и есть?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели:

– А почему нет? А если что немного не так – значит, государственная политика требует.

Пергаментный Радович нервно залистал свой том.

Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Словутой. Все эти старые дружбы – чепуха, лишь в воспоминаниях хороши.

Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен.

Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы если обедали втроем без гостей, то не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфле и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

– Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезам залит мир безбрежный» – с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или черт знает из чего, оцетинилась:

– Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!

Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у нее туфлю из рук и хлопнул об пол:

– Да как ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье?!..

Твердолобая, хоть кулаком ее в лоб, не заплачет!

Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:

– Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты – рабочий, а в доме молотка нет! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

– Да общественное бытие, дура! И сознание – общественное!

– Какое это – общественное? У одних хоромы, у других – сараи, у одних – автомобили, у других – ботинки дырявые, так какое из них общественное?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

– Ты вот глупа!.. Ты... ничего не понимаешь и не учишься!..

– Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живешь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаешь?

И вот тут не нашелся прокурор; очень ясно – а сразу не скажешь. Только крикнул:

– А тебе в твоём институте тысячу восемьсот – за что?..

– Душан, Душан, – размягченно вздохнул Макарыгин. – Что мне с дочерью делать?

Лицу Макарыгина большие отставленные уши были как крылья сфинксу.

Странно выглядело на этом лице растерянное выражение.

– Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака – могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей?.. Ведь если приходится им с трибуны в чем-нибудь поклеститься перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно.

Он рассказал сцену с туфлей.

– Как я правильно должен был ей ответить, а?

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стекла очков. Когда-то все это Макарыгин знал, но до чего же стал дремуч.

– Надо было ответить?.. Накопленный труд. Образование, специальность – накопленный труд, за них платят больше. – Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно:

– Но вообще, девченка права! Нас об этом предупреждали.

– Кто-о? – изумился прокурор.

– Надо уметь учиться и у врагов! – Душан поднял руку с сухим перстом.

– "Слезам залит мир безбрежный"? А ты получаешь многие тысячи? А уборщица двести пятьдесят рублей?

Одна щека Макарыгина задергалась отдельно. Зол стал Душан, из зависти, что у самого ничего нет.

– Ты – обезумел в своей пещере! Ты утратил связь с реальной жизнью!

Ты так и пропадешь! Что же мне – идти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят? А как я буду жить? Да меня выгонят как сумасшедшего! Ведь другие-то не откажутся!

Душан показал рукой на бюст Ленина:

– А как Ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла? От белого хлеба? Его не считали сумасшедшим?

Слеза послышалась в голосе Душана.

Макарыгин защитился распыленной ладонью:

– Тш-ш-ш! И ты поверил? Ленин без сливочного масла не сидел, не беспокоился. Вообще в Кремле уже тогда была неплохая столовая.

Радович поднялся и отсиженной ногой хромнул к полочке, схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с маузером:

– А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? А рабочая оппозиция что говорила, не помнишь?

– Поставь! – приказал побледневший Макарыгин. – Памяти ее не шевели!

Зубр! Зубр!

– Нет, я не зубр! Я хочу ленинской чистоты! – Радович снизил голос.

– У нас ничего не едят. В Югославии – рабочий контроль на производстве.

Там...

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

– Конечно, ты – серб, сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю. Но...

Но – дальше была грань. Радович погас, смолк, съежился снова в маленького пергаментного человечка.

– Договаривай, договаривай, зубр! – враждебно требовал Макарыгин. – Значит, полуфашистский режим в Югославии – это и есть социализм? А у нас значит – перерождение? Старые словечки! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их произносил. Тебе осталось еще сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да?

– Нет! Нет! – убежденный и озаренный лучами провидения, снова всплеснулся Радович. – Этому не бывать! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями! И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твердо верю: мы скоро будем свидетелями вооруженного столкновения за рынки сбыта между Соединенными Штатами и Англией!

А в большой комнате танцевали под радиолу, нового типа, как мебель.

Пластинок у Макарыгиных был целый шкаф: и записи речей Отца и Друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни «О самом родном и любимом», о самолетах, которые «первым делом», а «девушки потом» (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьез рассказывать о библейских чудесах). Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой.

Мебель не давала простору сразу всем парам, и танцевали посменно. Среди молодежи были кларины бывшие сокурсницы; и один сокурсник, который после института работал теперь на заглушке иностранных радиопередач; та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Щагов; племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зеленый кант все звали пограничником (а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути); и особенно выделялся государственный молодой человек уже с колодочкой ордена Ленина чуть небрежно, наискосок, без самого ордена, с приглаженными, уже редкими волосами.

Этому молодому человеку было года двадцать четыре, но он старался себя вести по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один из ценимых референтов в секретариате президиума Верховного Совета, основная работа его была – предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение много обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны, женить же на Кларе – недостижимая мечта.

Для этого молодого человека единственно интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз приглашал Динэру, всю в импортном черном шелке «лакэ», только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней, и также после танца старался оставаться с нею.

А она увидела в углу дивана одинокого Сауныкина-Голованова, не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь кроме своей редакции и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища.

Референт скользил за нею.

– Э-рик! – с веселым вызовом подняла она алебастровую руку. – А почему я вас не видела на премьере «Девятьсот Девятнадцатого»?

– Был вчера, – оживился Голованов. И с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю.

Села Динэра. Опустился референт.

Да уклониться от спора с Динэрой было и невозможно, еще хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве:

*Мне потому приятно с вами помолчать,*

*Что вымолвить вы слова не дадите.*

Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) на-падала на драматургов, сценаристов и режиссеров, не щадя даже своего мужа. Смелость ее суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще и на статьи Эрнста Голованова в частности, Голованов же с

выдержкой не уставал разъяснять Динэре ее анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность-близость с Динэрой он охотно длил еще потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова.

– Вспомните, – с налетом мечтательности откинулась Динэра, но спинка озеркаленного дивана очень уж была пряма и неудобна, – у того же Вишневого в «Оптимистической» этот хор из двух моряков – «не слишком ли много крови в трагедии?» – «не больше, чем у Шекспира» – ведь это же остро, какая выдумка! И вот опять идешь на пьесу Вишневого, и ждешь! А тут что же? Конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ Вождя, но и, но и... все?

– Как? – огорчился референт. – Вам мало? Я не помню, где еще такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале.

– У меня у самой слезы стояли! – осадила его Динэра. – Я не об этом.

И продолжала Голованову:

– Но в пьесе почти нет имен! Участвуют: безличные три секретаря парторганизаций, семь командиров, четыре комиссара – протокол какой-то! И опять эти примелькавшиеся матросы-"братишки", кочующие от Белоцерковского к Лаврениву, от Лавренива к Вишневскому, от Вишневого к Соболеву – Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами, – заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится...

– А почему это вам не нравится? – изумился Голованов. При деловом разговоре он очень оживлялся, в его лице появлялось нанюхивающее выражение, и он шел по верному следу. – Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская вой-на? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах?

– Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса?

Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха – провала премьеры, почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищу!!

Она мило показала, как это делает, хотя ясно было, что свиста не получится.

– Объясняю! – не только не смутился Голованов, но все увереннее идя по следу. – Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения...

Это уже стало скучно. Референт поправил свой палево-голубой галстук один раз, другой раз – и поднялся от них. Одна из клариных сокурсниц, худощавенькая приятная девушка весь вечер откровенно не сводила с него глаз, и он решил теперь потанцевать с ней. Им достался тустеп. А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвел девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует.

Она готовно улыбалась ему и порывалась к чему-то.

Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но еще не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда придти. Он оглядел ее нервную шею, еще не высокую грудь, и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг ее руку на колене.

Девушка взволнованно заговорила:

– Виталий Евгеньевич! Это такой счастливый случай – встретить вас здесь! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приемной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть. – (Виталий снял свою руку с руки девушки.) – У вас в секретариате уже полгода находится лагерная активировка моего отца, он разбит в лагере параличом, и мое прошение о его помиловании. – (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своем, неловко задела ложечку, та кувыркнулась, поставила пятно на ее платье и упала к балконной двери, где и осталась

лежать.) – У него отнята вся правая сторона! Еще удар – и он умрет. Он – обреченный человек, зачем вам теперь его заключение?

Губы референта перекинулись.

– Знаете, это... нетактично с вашей стороны – обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутиратор – не секрет, позвоните, я назначу вам прием. Впрочем, отец ваш по какой статье? По пятьдесят восьмой?

– Нет, нет, что вы! – с облегчением воскликнула девушка. – Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от Седьмого Августа!

– Все равно и для седьмого августа актировка отменена.

– Но ведь это ужасно! Он умрет в лагере! Зачем держать в тюрьме обреченного на смерть?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

– Если мы будем так рассуждать – что же тогда останется от законодательства? – Он усмехнулся. – Ведь он осужден по суду! Вдумайтесь!

Так что значит – «умрет в лагере»? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не все ли равно, где умирать?

Он встал с досадой и отошел.

За остекленной балконной дверью сновала Калужская застава – фары, тормозные сигналы, красный, желтый и зеленый светофор под падающим, падающим снегом.

Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, не замеченная Кларой, ни хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А навстречу, пропустив помраченную девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Дотнара. Голованов, оживленный Динэрою, с вернувшейся находчивостью остановил своего покровителя:

– Николай Аркадьевич! Halt! Признайтесь! – в самой-рассамой глубине души ведь вы не писатель, а кто?.. – (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился.) – Солдат!

– Конечно, солдат! – мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его черт понес с нежалею головой добираться до штаба полуотрезанного батальона – и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндажике, растрясенном бомбежкой, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом – и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

– Так разрешите вам представить моего фронтового друга капитана Щагова!

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Он приятно выпил – столько, что подошвы уже не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал более податлив, так податливее, приемистее стала ощущаться и вся теплая светлая действительность, и это закоренелое богатство, изостланное и уставленное вокруг, в которое он с занывающими ранами, с сухотой желудка вошел еще пока разведчиком, но которое обещало стать и его будущим.

Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан небрежно наискосок носил планку ордена Ленина. Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

– Майор Галахов! – улыбнулся он. – Где воевали? Ну, сядем, расскажите.

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти насухую! Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в один сумасшедший денек пятого сентября сорок четвертого года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на бревнах переправлялись, зная, что в первый день

легко, а потом и зубами не возьмешь. Перли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лез-ли перекусить коридор, и с севера сунули триста танков, а с юга двести.

Едва начались фронтовые воспоминания, Шагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же – язык редакций и секций, а тем более – тот взвешенный нарочитый авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закругленных этих языках не было возможности передать сочное дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень вознадобились ругательства, не мыслимые здесь.

Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка.

Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

– За солдатскую дружбу! – произнес Галахов, щурясь.

– За тех, кто не вернулся! – поднял Шагов.

Выпили. Пустая бутылка пошла за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок тот вез Шагову противотанковые мины) проскочил под немецкими минометами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что «северные» немцы жахали минами в расположение немцев «южных», и как раз в том же месте в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьей на фронт – и на виллисе занесся к немцам. Так и пропал.

Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти.

Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Шагов поднял бровь, поправил:

– Смерть не страшна, пока тебя не трахнет. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбежку – стал бояться бомбежки, и только ее.

Контузило артналетом – стал бояться артналетов. А вообще; «не бойся пули, которая свистит», раз ты ее слышишь – значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет – ты не услышишь. Выходит, что смерть как бы тебя не касается: ты есть – ее нет, она придет – тебя уже не будет.

На радиоле завели «Вернись ко мне, малютка!»

Для Галахова воспоминания Шагова и Голованова были безынтересны – и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабата; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощаного мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

– Да. Война-война! Мы попадаем на нее нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Эрик! А у вас на участке «песню фронтовых корреспондентов» пели?

– Ну, как же!

– Нэра! Нэра! – позвал Галахов. – Иди сюда!

«Фронтовую корреспондентскую» – споем, помогай! Динэра подошла, тряхнула головой:

– Извольте, друзья! Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроем, недостаток музыкальности искупая искренностью:

*От Москвы до Бреста*

*Нет на фронте места...*

Стягивались слушать их. Молодежь с любопытством глазела на знаменитость, которую

не каждый день увидишь.

*От ветров и водки  
Хрипли наши глотки,  
Но мы скажем тем, кто упрекнет...*

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя все ту же улыбку, внутренне охолодел, и ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну еще в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов все равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть тут и погибнуть, – и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да еще: откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают двести, сто пятьдесят...

*Там, где мы бывали,  
Нам танков не давали,  
Репортер погибнет – не беда,  
И на «эмке» драной  
С кобурой нагана  
Первыми вступали в города!*

Это «первыми вступали в города» были – два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад.

А Иннокентий, со свешенною головою, слушал и понимал песню еще по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов.

Наш корреспондент совсем не был тем беднягою-репортером, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием, – карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.

Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи – самое приятное из ее поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо.

Не знала она, как скоро будут ее трепать, как стращать – все равно, возьмут ли Иннокентия тут, или он вырвется и останется там.

Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения – Иннокентий думал: и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно.

Но вот вернулась мягкость ее – и защемила к ней жалость. Недоумение.

Да все щемило, все не мило, и с этого глупого вечера пора была уходить – если б дома не ждало еще худшее.

Из полутемной комнаты, от маленького телевизора со сбивчивым искривленным изображением, кой-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала

в дверях.

Она изумилась, как хорошо, ладком сидят Иннокентий с Нарой, и еще раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.

Этому вечеру, устроенному, по сути, для нее одной, она нисколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять – а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зеленого креп-сатена с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть так же мало ей шло, как все прежние.

Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения подлинности, даже противоестественное что-то. Полчаса он букой просидел на диване, полчаса по-пустому проспори́л с Динэрой, потом пил с фронтовиками, – у Клары не было порыва захватить его, увлечь, оттащить.

А между тем пришла ее последняя пора, и именно нынешняя, только сейчас.

Наступило ее предельное созревание, и если сейчас упустить, то дальше будет старее, хуже или ничего.

И неужели это сегодня утром? – сегодня утром! и в той же самой Москве!

– был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй – и клятва ждать? Это сегодня – она три часа плела корзиночку на елку?..

То не было на земле. То не было во плоти. То четверть века не могло овеществиться. То – приснилось.

## 65

На верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгоряченную подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья.

Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему все еще было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.

«Ведь вы не могли бы меня ожидать!» – сказал он ей.

И она ответила:

«Почему не могла бы? Могла бы...»

– ... Такие допотопности, как ты, только на вере и держатся, – рвался почти под ним сочный молодой голос, но с приглашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко. – Именно на вере, да на какой вере – ложной! А науки у вас отроду не было!

– Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм – не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души?

– Да не нюхали вы настоящей науки! Вы – не зиждители! И поэтому совсем даже не знакомы с наукой! Предметы всех ваших рассуждений – призраки, а не вещи! А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!

– Золотко? Ком-иль-фончик! Так так у нас и есть: все экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия – из трех законов диалектики.

– Вещное знание подтверждается умением применять выводы на деле!

– Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный, – Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал, – материалист! Хо-тя немного примитивный.

– Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!

– А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия!

Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне

это, может быть, так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе дотрусывает, як знает!

– Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих – а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваете друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров... Да на воле – (глухо) – при наличии ЧК, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, – (звонко) – здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками! – и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! И вам остается только лаяться и ругаться.

– По-моему, до сих пор ты обляял меня больше, чем я тебя.

Сологдин и Рубин, как свороженные своими вечными разногласиями, все сидели у опустевшего именинника. Абрамсон давно ушел читать «Монте-Кристо»;

Кондрашев-Иванов – размышлять о величии Шекспира; Прянчиков убежал листать прошлогодний у кого-то «Огонек»; Нержин отправился к дворнику Спиридону;

Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнес тумбочки и лег, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься – не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин все сидели на пустой постели Прянчикова в закутке у последней оставленной тумбочки.

Однако тянуло к спору одного Сологодина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нем, не улегались. Да и вообще по его расписанию всякий воскресный вечер отводился забавам. А какая забава могла быть распотешней, чем – срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия!

Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершенная только что работа была у него, а напротив – навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Еще звали его два письма: одно от жены, другое от любовницы. Когда же было и ответить, как не сегодня!

– жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице – нежные заверения. А еще звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И еще сверх: то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побежден, ибо представлял тут, на шарашке, передовую идеологию. И вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам.

Тише и мягче Сологдин увещевал:

– Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника – хоть Глеба сейчас позовем.

Берем лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова – время на эту запись не ограничивается.

– Ты из меня дурака делаешь, – полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. – Что ж мы, до утра будем спорить?

– Напротив! – весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. – В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах или ни в чем

не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор – начинают поочередно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! – ответ! – выстрел! – выстрел! И вот: невозможность увилить, отказываться от употребленных выражений, подменять слова словами – приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.

– И время – не ограничивается?

– Для о держания истины – нет!

– А еще на эспадронах мы драться не будем?

Воспламененное лицо Сологодина омрачилось:

– Вот так я и знал. Ты первый насакиваешь на меня...

– По-моему, ты первый!..

– ... даешь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! попятник! – (он избегал иноземного непонятного слова «реакционер») – увенчанный прислужник – (значило: «дипломированный лакей») – поповщины! У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, – у тебя нет времени, нет охоты, ты устал! Однако, у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну!

– Уже полмира! – вежливо поправил Рубин. – Для дела у нас всегда есть время и силы.

А – болтать языком? О чем нам с тобой? Уже между нами все сказано.

– О чем? Предоставляю выбор тебе! – галантным широким жестом (род оружия! место дуэли!) ответил Сологдин.

– Так я выбираю: ни о чем!

– Это не по правилам!

Рубин затеребил отструек черной бороды:

– По каким таким правилам? Что еще за правила? Что за инквизиция?

Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах все же иметь согласие...

– Вот, вот! я ж и говорю: чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих! – (Так на Языке Предельной Ясности обозначалась «диктатура пролетариата».) – И спорили бы только о том, написал ли закорючку Маркс натошак или Энгельс после обеда.

Нет, невозможно было избавиться от этого издевателя! Рубин вскипел:

– Да пойми ты, пойми ты, что – глупо! Ты и я – о чем мы можем говорить? Ведь куда ни копни, за что ни возмись – мы с тобой с разных планет. Ведь для тебя например дуэли и сейчас еще лучший способ решения обид!

– А попробуй доказать обратное! – откинулся Сологдин, сияя. – Если бы были дуэли – кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями?

– Да твои ж драчуны! Лыцари!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы – это зенит истории!

– Это – вершина человеческого Духа! – выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помавал над головою пальцем. – Это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!

– И выюки награбленного добра? Ты – докучный гидальго!

– А ты – библейский фанатик!.. то есть, одержимец! – парировал Сологдин.

– Ведь для тебя Белинский ли, Чернышевский ли, все наши лучшие просветители – недоучившиеся поповичи?!

– Долгополые семинаристы! – ликуя, добавил Сологдин.

– Ведь для тебя не говорю уже – наша, но даже Французская революция, через сто пятьдесят лет после нее – тупой бунт черни, наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации – не так ли?

– Разумеется!! И попробуй доказать обратное! Все величие Франции кончается восемнадцатым веком! А что было после бунта? Пяток заблудившихся великих людей? Полное вырождение нации! Чехарда правительств на потеху всему миру! Бессилие!

безволие! ничтожество!! прах!!!

Сологдин демонически захохотал.

– Дикарь! пещерный житель! – возмутился Рубин.

– И никогда уже Франция не поднимется! Разве толь-ко с помощью римской церкви!

– И вот еще: для тебя Реформация – не естественное освобождение человеческого разума от церковных вериг, а...

– Безумное ослепление! лютеранское сатанинство! Подрыв Европы!

Самоуничтожение европейцев! Хуже двух мировых войн!

– Ну вот... ну вот!.. Вот-вот!.. – вставлял Рубин.

– Ты же – ископаемое! ихтиозавр! О чем нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли нам разойтись мирно?

Сологдин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить! – забава уходила, забава еще не состоялась. Сологдин тут же обуздался и неузнаваемо помягчел:

– Прости, Левушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтоб мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый прием спора-поединка на каком-нибудь легком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько титлов (это значило – тем). Хочешь спорить из словесности? Это – область твоя, не моя.

– Да ну тебя...

Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь бесславию. Рубин приподнялся, но Сологдин предупредительно шевельнулся:

– Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!

Рубин скучающе пожевал:

– Неужели мы гимназистки?

И – поднялся между кроватями.

– Хорошо, такой титл... – схватил его за руку Сологдин.

– Да пошел ты... – отмахнулся Рубин, смеясь. – У тебя же все в голове перевернуто! На всей Земле ты один остался, кто еще не признает трех законов диалектики. А из них вытекает – все!

Сологдин светлой розовой ладонью отвел это обвинение:

– Почему не признаю? Уже признаю.

– Ка-ак? Ты – признал диалектику? – Рубин за-сюсюкал трубочкой:

– Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?

– Я не только ее признал – я над ней думал! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты – не думал!

– Даже думал? Ты умнеешь с каждым днем! Но тогда о чем же нам спорить?

– Как?! – возмутился Сологдин. – Опять не о чем? Нет общей основы – не о чем спорить, есть общая основа – не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!

– Да что за насилие? О чем спорить?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками:

– Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап! О том будем спорить, что вы сами трех ваших законов не понимаете! Пляшете, как людоеды вокруг костра, а что такое огонь – не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить!

– Ну, поймай! – не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая.

– Пожалуйста. – Сологдин сел. – Присаживайся.

Рубин остался на ногах.

– Ну, с чего б нам полегче? – смаковал Сологдин. – Законы эти – указывают нам направление развития? Или нет?

– Направление?

– Да! Куда будет развиваться... э-э... – он поперхнулся – ...процесс?

– Конечно.

– И в чем ты это видишь? Где именно? – холодно допрашивал Сологдин.

– Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.

Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо, по-деловому.

– Какой же именно закон дает направление?

– Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.

– У-гм. Третий – дает? И как же его определить?

– Что?

– Направление, что! Рубин нахмурился:

– Слушай, а зачем вообще эта схоластика?

– Это – схоластика? Ты не знаком с точными науками. Если закон не дает нам числовых соотношений, да мы еще не знаем и направления развития – так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: «отрицание отрицания». Но что ты понимаешь под этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания – всегда бывает в ходе развития или не всегда?

Рубин на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:

– В основном – да... большей частью.

– Во-от!! – удовлетворенно взревел Сологдин. – У вас целый жаргон – «в основном», «большой частью»! Вы разработали тысячи таких словечек, чтоб не говорить прямо. Вам скажи «отрицание отрицания» – и в голове у вас отпечатано: зерно – из него стебель – из него десять зерен. Оскомина!

Надоело! Отвечай прямо: когда «отрицание отрицания» бывает, а когда – не бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?

У Рубина следа не осталось его вялости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но все равно важный спор.

– Ну, какое это имеет практическое значение – «когда бывает», «когда не бывает»?!

– Нич-чего себе! Какое деловое значение имеет один из трех основных законов, из которых вы все выводите! Ну, как с вами разговаривать?!

– Ты ставишь телегу впереди лошади! – возмутился Рубин.

– Опять жаргон! жаргон! То есть, феня...

– Телегу впереди лошади! – настаивал Рубин. – А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, «когда бывает», «когда не бывает»...

– А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется...

Так слушай: если получение прежнего качества вещи возможно движением в обратном направлении, то отрицания отрицания не бывает! Например, если гайка туго завернута и надо ее отвернуть – отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие может пройти через отрицание, но и то: если в нем допустимы повторения. То есть: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний!

– Иван – человек, не Иван – не человек, – пробормотал Рубин, – ты как на параллельных брусьях...

– С гайкой. Если, заворачивая ее, ты сорвал резьбу, то отворачивая, уже не вернешь ей прежнего качества – целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный прут, потом проточить и наконец нарезать новую гайку.

– Слушай, Митяй, – миролюбиво остановил его Рубин, – ну нельзя же серьезно излагать диалектику на гайке.

– Почему нельзя? Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая

гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто? – И он вскинул подстриженную французскую бородку.

– Постой! – усмотрел Рубин. – В чем же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон дает направление развития.

С рукой у груди Сологдин поклонился:

– Если бы тебе, Левчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, дает! Но то, что закон дает – надо научиться брать! Вы – умеете? Не молиться закону – а работать с ним?

Вот ты вывел, что он направление дает. Но ответим: всегда ли? В неживой природе? в живой? в обществе? А?

– Ну, что ж, – раздумчиво сказал Рубин. – Может быть во всем этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще-то – словоблудие-с, милостивый государь.

– Словоблуды – вы! – с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин.

– Три закона! Три ваших закона! – он как мечом размахивал в толпе сарацин.

– А вы ни одного не понимаете, хотя все из них выводите!..

– Да говорят тебе: не выводим!

– Из законов – не выводите? – изумился Сологдин, остановился в рубке.

– Нет!

– Так что они у вас – пришей кобыле хвост? А откуда вы тогда взяли – в какую сторону будет развиваться общество?

– Слушай! – Рубин стал вдалбливать нараспев. – Ты – дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа ма-те-ри-ала, разумеешь? Любой общественный вопрос – из анализа классово-й обстановки.

– Так что они вам? – разорвался Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты, – три закона? – вообще не нужны?!

– Почему, очень нужны, – оговорил Рубин.

– А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только как попугаю повторять «отрицание отрицания» – так на черта они нужны?..

... Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их все возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

– Слушайте, друзья! Самим не спится – уважайте сон других, если уж...

– и он показал пальцем вверх наискосок, где лежал Руська, – если не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог выкрикивать безбоязненно) – заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий – не первый и не десятый – спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили, по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый свет погас, зажегся ночной синий.

Руська Доронин, чье ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них «материал». Он слышал недосказанный намек Потапова, понял его, хотя и не видел устремленного пальца – и испытал прилив нерешимой обиды, вызываемой у нас упреками людей, чье мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперативниками, он все предвидел, он провел бдительность врагов, был теперь накануне зримого торжества со ста сорока семью рублями, – но он был беззащитен против подозрения друзей! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен, – предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его,

поверить, что он – не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, – нам становится втрое дороже тот, кто продолжает нас любить.

А если это – еще и женщина?..

Клара!.. Она поймет! Он завтра же откроется ей в своей аванюре – и она поймет.

И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть, он извивался в своей распаленной постели, то вспоминая пытливые кларины глаза, то все более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионной Москве человека найти трудней, чем во всем обнаженном Воркутинском крае. В Москве-то и убежать!..

## 66

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли «хождением в народ» и поисками той самой великой сермяжной правды, которую еще до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие «народ» есть понятие вымышленное, есть не правомерное обобщение, что всякий народ разделен на классы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что «народ» есть безразличное тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для Колосса Духа. «Народ» – это общее обозначение совокупности серых, грубых существ, беспросветно тянущих упряжку, в которую они впряжены рождением и из которой их освобождает только смерть. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие звезды разбросанные на темном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебивал и пропугался уже во многих крайностях.

Изымая от боли за страдающего брата, русская литература прошлого века создала в нем, как во всех своих первоочитателях, – в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно – на книжной полке и где-то там – в деревнях, на полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось – двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а – Советский Союз, и в нем – большой город.

В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее него и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным. А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездowym в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратить или вспрыгнуть им на спину.

Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил, обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вел за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой народ очень правдоподобно слушал его политбеседы о том большом Народе, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых «избранных» людей: в условиях, где только твердость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, – эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, а при их образованности – отвратительно изощренными в оправданиях сделанной подлости; такие быстро вырождались в предателей и попрошаек. И самого себя Нержин увидел едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навыки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счел, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгают дерево, обрубают металл, кто пашет землю и льет чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость все умеющих рук и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришел к моде прошлого века, что надо идти, спускаться в народ.

Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, образованным барам XIX столетия, образованному зэку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но – как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубков сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало еще одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятника в темных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, – Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слеп ей и доверчивей к стукачам.

Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался – они спешили улыбаться ему навстречу. А еще они были много жадней к мелким благам: «дополнительной» прокислой стограммовой пшенной бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось – быть самим собой.

Отболев в который раз каким увлечением, Нержин – окончательно или нет?

– понял Народ еще по-новому, как не читал нигде: Народ – это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А – по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то – крупницей своего народа.

С такую душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества.

## 67

Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут еще и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядреным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало черпать.

Однако, Нержин испытал затрудненность: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, еще не было о чем им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа работяг жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону – Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин – волк и рыскает за добычей для кума.

Хотя сам Спиридон считал свое положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгают никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке, и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридевять-земельное от политики: как трущуюся рыбу бьют остями, как ее в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под зябры, а и ловят в сетя; или как он ходил «по лосей, по медведя рудого» (а черного с белым галстуком медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Еще был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; ее прочили за богатого мельника, она же по любви договорилась бежать со Спиридоном – и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные большие глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли: «Ну, что ходишь, волк? Не разживешься, сам видишь.»

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения.

Но Нержин, по началу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем, не додуманном на воле, – месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыровой приречной зарею, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие – семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси – от первых починков в дремучем бору, еще прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышленишем и очень жалел, что не родился пораньше.

Отдаваясь теплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настроженности отпускала,

глубоко-прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги.

Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще – некстати) такие слова, как «принцип», «пириод» и «аналогично». В те времена, когда Марфа Устиновна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

– Есенина? – не ожидал Нержин. – Вот здорово! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь. – И принес маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймет и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил «Хороша была Танюша», «Молотьбу».

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донес – Нержин не узнал. Но вчужую пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошел в его доверие. Спиридон стал звать его на «ты», и беседовали они теперь не в комнате, а под пролетом внутри-тюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спиридона замерцали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки – русского мужика, которому в год революций было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады не низвергались через него! какие валы не обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошел со стариками на покос ( «за полдня косить научился»). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знаменами на сходку. Как землю объявили крестьянской – кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестренками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать – сдай и сдай. А после Пасхи и год Спиридонов, кому восемнадцать полных, пошел девятнадцатый, – дернули в Красную Армию. Идти в армию от земли никакого расчета Спиридону не было, и он с другими парнями подался в лес, и там они были зелеными («нас не трогай – мы не тронем»). Потом все жив лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли среди их комиссара; такого не было, а жоака их стукнули для острастки, остальным велели надеть кокарды трехцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых – забрали в плен красные (да и не отбивались особо, сами подались).

Тут красные расстреляли офицеров, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и еще потом на масляной повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинудся на землю родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные – не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп («кто хозяин хорош – по двору пройди, рубль найдешь»), женился, завел лошадей...

В ту пору у властей у самих ум расступался: подпирались-то все бедняками, но людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки тоже к обзаводу тянулись, – кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: интенсивник. Слово это значило: кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках, а – по науке, со сметкой. И стал тогда Спиридон Егоров с женой помощью – интенсивник.

«Хорошо жениться – полжизни» – всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за нее он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей-кажегод ков, двух сыновей, потом дочь, – но рождение их ни на

пядень не отрывало ее от мужа.

Она свою пристяжку тянула – сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал «Сам себе агроном» – и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шел успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почете был, в приздим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели – еле детей выхватили из огня. И стали – голота, ничто.

Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далекой Москвы – раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных Москвой же, теперь без разума же перекрепляли в кулаки и изводили. И порадовались Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгрохать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обертывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен «комиссаром по коллективизации» – сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий револьвер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголо без скарбу, кулаков и не кулаков, – кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был легкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не развереживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За все то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнаженными наганами один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро ( «у нас весь пириод никого долго не судят»), дали ему десять лет за «экономическую контрреволюцию» и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор – на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на «злоупотребление» и тем он из социально-чуждых стал социально-близкий.

Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку самоохраны. И хотя еще вчера Спиридон, как порядочный зэк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников – еще круче, – сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повел своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре начальник лагеря, у которого было две ромбы, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать все, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатенке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их поселку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их поселок успели согнать.

На каждом повороте Спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что еще выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь! Спиридон вел себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра – закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, – посадил на тую телегу троих детей и женку и –

«лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой!» – от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустнуло, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьей ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, так же нимало не сомневаясь в своей правоте, отбил в лесу, переждал линию фронта – и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично-казенной, а хранимой, своей – повез семью назад, от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать – обрабатывай. И Спиридон взял, и стал пахать ее и засеивать безо всяких угрызений совести и не следя за сводками войны, работал уверенно и ровно, как если б то шли далекие годы, когда ни колхозов не было еще, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили – собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать. – Кому-то и пахать, – отвечал Спиридон. И от земли – не пошел. В партизаны изнудом гнали, объяснял он теперь, это не то, чтоб стар и млад не могли ломтя хлеба прожевать, а дай им нож в зубы ползти на немца, – нет, спускали с парашютами московских инструкторов, и те выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно.

Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посередине деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всюю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвез он Марфу с детьми к ее матери и тотчас пошел к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со сметкой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он – с семьей.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни.

А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дожидаясь наших и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнал за своею семьей.

Он втерся в их поток как гражданский и опять вровень с той же телегой и похлестывая тую же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался.

– Ай-я-яй! Что ж за чудо получается, Спиридон Данилыч? Как это мне все в голову уместить? Ты ж на Кронштадт по льду шел, ты нам советскую власть устанавливал, ты и в колхозы загонял...

– А ты – не устанавливал?

Нержин терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы, что тогда, в семнадцатом-восемнадцатом, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым.

Усмешка явственной обозначалась на губах Спиридона:

– Ты-то устанавливал – не заметил? – донимал он.

– Не заметил, – шептал Нержин, перебирая в памяти три года своего фронтового командования.

– Так вот и бывает... Сеем рожь, а вырастает лебеда...

Но дальше, дальше надо было ставить социальный эксперимент! – и Нержин только спрашивал:

– И что ж дальше, Данилыч?

Что ж дальше! Мог, конечно, опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И еще поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, все равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошел и убежал отсюда, и уж семь бед, один ответ, и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми братья не будут – и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех – и он бросил ни за так телегу с лошадей и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына Спиридонова младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского райха, дойди только до законов, замах такой значил – расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошел к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

– Я сам – фатер. Я тебя – ферштэе.

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окаленный, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

– После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и все зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек! – вот тебе и немец...

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжелые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунах, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества – отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в легкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (еще и американцы с самолетов их поливали) – он убежал отсюда со старшим сыном и, никого не спрашивая, и не читая немецких надписей, днем перетаиваясь, одними ночами, по неизвестной земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просек девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе – не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает все – неоплошно.

Так же и в учении о добродетели все у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал.

Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть, но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, до женитьбы «клевал по бабам», – так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключенный, почти слепой, очевидно обреченный здесь, в тюрьме, умереть, – Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей), – но со старательной метлою своей в руках каждый день от зари до зари мел двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Какие б ни были власти – с властями жил Спиридон всегда в раскосе.

Что любил Спиридон – это была земля.

Что было у Спиридона – это была семья.

Понятия «родина», «религия» и «социализм», не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону – уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была – семья.

Его религией была – семья.

И социализмом тоже была семья.

А всех сеятелей разумного-доброего-вечного, писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем (да он о том не знал), священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

– А не пошли бы вы на ...?!

## 68

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками.

Сидеть так, не подмостясь чурками, было не очень удобно, их малость запрокидывало, – оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперед, но тоже упирались – в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил – и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плитуса, от которого вверх до лестницы шел треугольник беленой, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы «беломорканал», еще раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, – твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К немецким врачам Спиридон сберег благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели – «смотри!» И мир забрезжил! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягченное лицо глазного доктора с Рейна. Врач смотрел на освобожденного от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей теплый голос, чья благодарность захлеб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким.

А поступок был с точки зрения немцев хуже, чем дикарский.

Уже после конца войны Спиридон со всей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе «сват-сучка» за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было – принес сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена – зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищен от русского авось – ладно, откупоривай, сват! Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в

одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают еще одну, левый будет видеть совсем, а правый – наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но...

– Наши-то ввали, стервы – в обои уши не уберешь.

И колхозов больше нет, и все вам прощается, братья и сестры вас ждут, колокола звонят – хоть американские ботинки скидать, босиком сюдою бечь.

Нет! Это не помещалось в голове.

– Данилыч! – выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было еще и передумать. – Да ведь не сам ли ты говорил... насчет лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить?

Все окруженье глаз Спиридона – и веки, и виски, и подглазья, были мелко-морщинисты. Он усмехнулся:

– Я-то?.. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Уж я у американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал.

– Так люди на чем ловились? – ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками, кто ж тебя в Советский Союз манил?

Вздыхнул Спиридон:

– Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из поганой лужи лакнуть еще дадут ли?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей всех трех – нетерпежка, дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Еще получше наши врачи!

Русскую, мол, школу им кончать надо, старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается – вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Мало было ей на Рейне русских, все кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да житье там убойное, у батьки уже по шее полозом терто, куды рветесь? Нет, видать, обо все обжечься надо – самому.

Так, не Спиридона первого, погубили его дети. Короткие жесткие усы его, рыжие с проседью, подрагивали при воспоминании:

– Листовкам ихним я на грош не верил, и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить – знал. Но так думал, что все вину на меня опрокинут, дети – причем? Меня посадят – дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили – и мою голову взяли и ихние.

На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине вlepили и сыновьям, как батьке, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там еще попестовал его два года. А другого сына зашвырнули на Колыму.

Таков был дом. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он еще сыну отдавал ежеден своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Среди той огрызаловки волчьей на глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть

зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить, – не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, – а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно и чем дальше, тем острее, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрерывные переходы от одной борющейся стороны к другой – не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых?.. Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика – мировая система философского скептицизма?..

Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня здесь под лестницей неожиданный и блестящий результат!

– Гошную я, Глеба, – говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорбкой ладонью с силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. – Ведь четыре месяца из дому писем не было, а?

– Ты ж сказал – у Змея письмо?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были приглашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно):

– После четырех-то месяцев? Что может быть в том письме?

– Как получишь завтра – прийди, прочту.

– Да уж вбежки к тебе.

– Может, на почте какое пропало? Может, кумовья замотали? Не волнуйся, Данилыч, зря.

– Чего – зря, как сердце скомит? За Веру боюсь. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной.

Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхранил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее, пятнадцатилетнюю, изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы?

Нержин представил себе непродерный пермский лес; пулеметную стрельбу бензопил; отвратительный рев тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова – и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у костров; никто, проходя, не упускает случая ее облапать. Конечно не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нем, что искал: перетяжку, противовес ученым своим друзьям.

Не услышит ли Глеб сейчас, здесь, народное сермяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нем?

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-преж-нему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издали, начал высказывать свой вопрос:

– Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь, да ведь наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Все чего-то ты метался, пятого угла искал – ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь – с каким... – он чуть не сказал «критерием» – ... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было?

Вряд ли, а? Вот ты говоришь – сеяли рожь, а выросла лебеда. Так все-таки, сеяли-то –

рожь, или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго – думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый – и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.

Наверно, не очень ясно он выразался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

– А теперь если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь – так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду, да «но! но!», а не тянет оно – так и я трупов нахлестан)? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав – так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется – мы правы, а тем кажется – они правы. Это мыслимо разве – человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

– Да я тебе скажу! – с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. – Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!

– Как-как-как? – задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

– Вот так, – с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину:

– Волкодав прав, а людоед – нет.

И, приклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину:

– Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами – Отца Усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? – Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. – Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу – не осталось! я бы сказал, – он вывернул голову к самолету:

– А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.

## 69

Заступивший дежурить с воскресного вечера стройный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошел лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошел бы и второй раз, да не мог отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки ее дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться, она же со смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

– Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключенных во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет – и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он: взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологодина, отиравших стенку в большом

главном коридоре. Шел первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Но это был и тот особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона невинной диалектики, – но ни за одну неровность не зацепясь, ни на одной спасительной площадочке не замедля, их спор, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

– Так если противоположности нет, так и единства нет?!

– Ну?

– Что – «ну»? Своей тени боитесь! Верно или неверно?

– Конечно. Верно.

Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперед его плечи, заострило лицо:

– Значит: в чем нет противоположностей – то не существует? Зачем же вы обещали бесклассовое общество?

– "Класс" – птичье слово!

– Не увернешься! Вы знали, что общество без противоположностей невозможно – и нагло обещали? Вы...

Они оба были пятилетними мальчишками в девятьсот семнадцатом году, но друг перед другом не отрекались ответить за всю человеческую историю.

– ... Вы распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших! И для этого надо было убивать столько миллионов людей?

– Ты ослеп от печенки! – вскрикнул Рубин, теряя осторожность говорить приглушенно, забывая щадить противника, который рвется его удушить.

(Громкость аргу-ментов самому ему, как стороннику власти, не угрожала.) – Ты и в бесклассовое общество войдешь, так не узнаешь его от ненависти!

– Но сейчас, сейчас – бесклассовое? Один раз договори! Один раз – не увертывайся! Класс новый, класс правящий – есть или нет?

Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос! Потому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла.

Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежало по высоколобому лицу правоверного.

– А социально – он отграничен? – кричал Рубин.

– Разве можно четко указать, кто правит, а кто подчиняется?

– Мо-ожно! – полным голосом отдавал и Сологдин.

– Фома, Антон, Шишкин-Мышкин правят, а мы...

– Но разве есть устойчивые границы? Наследство недвижимости? Все – служебное! Сегодня – князь, а завтра – в грязь, разве не так?

– Так тем хуже! Если каждый член может быть низвергнут – то как ему сохраниться? – «что прикажете завтра?» Дворянин мог дерзить власти как хотел – рождения отнять невозможно!

– Да уж твои любимые дворянчики! – вон, Сиромаха!

(Это был на шарашке премьер стукачей.) – Или купцы? – тех рынок заставлял соображать, быстро поворачиваться!

А ваших – ничто! Нет, ты вдумайся, что это за выводок! – понятия о чести у них нет, воспитания нет, образования нет, выдумки нет, свободу – ненавидят, удержаться могут только личной подлостью...

– Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта – служебная, временная, что с отмиранием государства...

– Отмирать? – взвопил Сологдин. – Сами?

Не захотят! Добровольно? Не уйдут, пока их – по шее! Ваше государство создано совсем не из-за толстосумного окружения! А – чтобы жестокостью скрепить свою противоестественность! И если б вы остались на Земле одни – вы б свое государство еще и еще укрепляли бы!

У Сологодина за спиною мглилась многолетняя подавленность, многолетний скрыв. Тем большее высвобождение было – открыто швырять свои взгляды доступному соседу, и вместе с тем убежденному большевику и, значит, за все ответственному.

Рубин же от первой камеры фронтовой контрразведки и потом во всей веренице камер бесстрашно вызывал на себя всеобщее исступление гордым заявлением, что он – марксист, и от взглядов своих не откажется и в тюрьме.

Он привык быть овчаркою в стае волков, обороняться один против сорока и пятидесяти. Его уста запекались от бесплодности этих столкновений, но он обязан, обязан был объяснять ослепленным их ослепление, обязан был бороться с камерными врагами за них самих, ибо они в большинстве своем были не враги, а простые советские люди, жертвы Прогресса и неточностей пенитенциарной системы. Они помутились в своем сознании от личной обиды, но начнись завтра война с Америкой, и дай этим людям оружие – они почти все поголовно забудут свои разбитые жизни, простят свои мучения, пренебрегут горечью отторгнутых семей – и повалят самоотверженно защищать социализм, как сделал бы это и Рубин. И, очевидно, так поступит в крутую минуту и Сологдин. И не может быть иначе! Иначе они были бы псами и изменниками.

По острым режущим камням, с обломка на обломок, допрыгал их спор и до этого.

– Так какая же разница?! какая же разница?! Значит, бывший зэк, просидевший ни за хрен, ни про хрен десять лет и повернувший оружие против своих тюремщиков – изменник родине! А немец, которого ты обработал и заслал через линию фронта, немец, изменивший своему отечеству и присяге, – передовой человек?

– Да как ты можешь сравнивать?! – изумлялся Рубин. – Ведь объективно мой немец за социализм, а твой зэк против социализма! Разве это сравнимые вещи?

Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства – глаза Сологодина вытекли бы голубыми струйками, с такой страстностью он вонзался в Рубина:

– С вами разговаривать! Тридцать лет вы живете и дышите этим девизом, – сгоряча сорвалось иностранное слово, но оно было хорошее, рыцарское, – «цель оправдывает средства», а спросить вас в лоб – признаете его? – я уверен, что отречетесь! Отречетесь!

– Нет, почему же? – с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. – Лично для себя – не принимаю, но если говорить в общественном смысле? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она – оправдывает средства, употребленные для ее достижения.

– Ах, вот даже как! – увидев уязвимое рапире место, нанес Сологдин моментальный звонкий удар. – Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства! Вероломные средства уничтожают и самую цель!

– То есть, как это – вероломные? Чьи это – вероломные! Может быть, ты отрицаешь средства революционные?

– Да разве у вас – революция? У вас – одно злодейство, кровь с топора! Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся!

Нигде не задерживаясь, как ночной скорый, мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, пронесился их спор по темным и светлым местам их памяти, и все, что на мгновение выныривало – бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качение их сцепленных мыслей.

– Чтобы судить о стране, надо же хоть немножко ее знать! – гневался Рубин. – А ты двенадцать лет киснешь по лагерям! А что ты видел раньше?

Патриаршьи Пруды? Или по воскресеньям выезжал в Коломенское?

– Страну? Ты берешься судить о стране? – кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. – Позор! Тебе – позор! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни – Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи, они из жизни своей тебе все рассказывали – так разве ты их слушал? А здесь? Вартапетов, потом этот, как его...

– Кто-о? Зачем я их буду слушать? Ослепленные люди! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах социализма. Их обсерватория – камерная параша, их воздух – ароматы параша, у них – кочка зрения, а не точка!

– Но кто же, кто же те, кого ты способен слушать?

– Молодежь! Молодежь – с нами! А это – будущее!

– Мо-ло-дежь?! Да придумали вы себе! Она – чихать хотела на ваши... светлообразы! – (Значило – идеалы.) – Да как ты смеешь судить о молодежи?! Я с молодежью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного эмигрантишки на пересылке слышал? Да как может быть молодежь безыдейна, если в стране – десятиллионный комсомол?

– Ком-со-мол??. Да ты – слабоумный! Ваш комсомол – это только перевод твердо-уплотненной бумаги на членские книжки!

– Не смей! Я сам – старый комсомолец! Комсомол был – наше знамя! наша совесть! романтика, бескорыстие наше – вот был комсомол!

– Бы-ыл! Был да сплыл!

– Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты!

– И я за это довольно поплатился! Я наказан за это! Мефистофельское начало! – всякого, кто коснется его... Маргарита! – потеря чести! смерть брата! смерть ребенка! безумие! гибель!

– Нет, подожди! нет, не Маргарита! Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времен ничего не осталось в душе!

– Вы, кажется, заговорили о душе? Как изменилась ваша речь за двадцать лет! У вас и «совесть», и «душа», и «поруганные святыни»... А ну-ка бы ты эти словечки произнес в твоём святом комсомоле в двадцать седьмом году! А?..

Вы растлили все молодое поколение России...

– Судя по тебе – да!

– ... А потом принялись за немцев, за поляков...

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два остобеселых шахматиста за доской да непродорно кашляющий старый курыка-кузнец и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспаленные лица да под углом друг к другу выставленные большая черная борода и аккуратненькая белокурая.

– Глеб!..

– Глеб!.. – наперебой позвали они, увидев, как с лестницы от уборной вышли Спиридон и Нержин.

Они звали Глеба, каждый в нетерпеливом ожидании удвоить свою численность. Но он и сам уже направлялся к ним, в тревоге от их возгласов и размахивания. Даже и не слыша ни слова, со стороны, и дурак бы догадался, что тут завелись о большой политике.

Нержин подошел к ним быстро и прежде, чем они в один голос спросили его о чем-то противоположном, ударил каждого кулаком в бок:

– Разум! Разум!

Таков был их тройной уговор на случай горячки спора, чтобы каждый останавливал двух других при угрозе стукачей – и те обязаны подчиниться.

– Вы с ума сошли? Вы уже намотали себе по катушке! Мало? Дмитрий!

Подумай о семье!

Но не только развести их миролюбно – их и пожарной кишкой нельзя было сейчас разлить.

– Ты слушай! – тряс его Сологдин за плечо. – Он наших страданий ни во что не ставит, они все – закономерны! Единственные страдания он признает – негров на плантациях!

– А я уж на это Левке говорил: тетушка Федосевна до чужих милосерда, а дома не евши сидят.

– Какая узость! Ты не интернационалист! – воскликнул Рубин, глядя на Нержина как на пойманного карманника. – Ты послушал бы, что он тут плел: императорская власть была благодеянием для России! Все завоевания, все мерзости, проливы, Польша, Средняя Азия...

– Мое мнение, – решительно присудил Нержин:

– для спасения России давно надо освободить все колонии! Усилия нашего народа направить только на внутреннее развитие!

– Мальчишка! – желчно воскликнул Сологдин. – Вам волю дай – вы всю землю отцов растрясете... Ты ему скажи – стоит полгроша их комсомольская романтика? Как они учили крестьянских детей доносить на роди-телей!

Как они корки хлеба не давали проглотить тем, кто хлеб этот вырастил! И еще смеет он мне тут заикаться о добродетели!

– Уж бульно ты благоден! Ты считаешь себя христианином? А ты никакой не христианин!

– Не святохульничай! Не касайся, чего не понимаешь!

– Ты думаешь, если ты не вор и не стукач – этого достаточно для христианина? А где твоя любовь к ближнему? Правильно про вас сказано: которая рука крест кладет – та и нож точит. Ты не зря восхищаешься средневековыми бандитами! Ты – типичный конквистадор!

– Ты мне льстишь! – откинулся Сологдин, красуясь.

– Льщу? Ужас, ужас! – Рубин запустил пальцы обеих рук в свои редеющие волосы. – Глеб, ты слышишь? Скажи ему: всегда он в позе! Надоела его поза!

Вечно он корчит Александра Невского!

– А вот это мне – совсем не лестно!

– То есть как?

– Александр Невский для меня – совсем не герой. И не святой. Так что это – не похвала.

Рубин стих и недоумело переглянулся с Нержиным.

– Чем же это тебе не угодил Александр Невский? – спросил Глеб.

– Тем, что он не допустил рыцарей в Азию, католичество – в Россию!

Тем, что он был против Европы! – еще тяжело дышал, еще бушевал Сологдин.

– Это что-то ново!.. Это что-то ново!.. – приступал Рубин с надеждой нанести удар.

– А зачем России – католичество? – доведывался Нержин с выражением судьи.

– За-тем!! – блеснул молнией Сологдин. – Затем, что все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства! Затем, что православная церковь не могла противостоять государству!

Безбожный народ был беззащитен! И получилась косопузая страна. Страна рабов!

Нержин лупал глазами:

– Нич-чего не понимаю. Не ты ли сам меня корил, что я – недостаточный патриот? И – землю отцов растрясете?..

Но Рубин уже видел, где у врага обнажилось незащищенное место.

– А как же – святая Русь? – спешил он. – А Язык Предельной Ясности?

А защита от птичьих слов?

– Да, в самом деле? Как же Язык Предельной Ясности, если – косопузая?

Сологдин сиял. Он покрутил кистями отставленных рук:

– Иг-ра, господа! Игра!! Упражнение под закрытым забралом! Ведь надо же упражняться! Мы обязаны постоянно преодолевать сопротивление. Мы – в постоянной тюрьме, и надо казаться как можно дальше от своих истинных взглядов. Одна из девяти

сфер, я тебе говорил...

– Ошарий...

– Нет, сфер!

– Так ты и в этом лицемерил! – новым огнем подхватился Рубин. – Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели ее до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?

– Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? – ахнул Сологдин. – А не вы ее зарезали в семнадцатом году?

– Разум! Разум! – ударил их Глеб обоих кулаками в бока. Но спорщики не только не очнулись, они даже не заметили, через красную пелену они уже не видели его.

– Ты думаешь, тебе коллективизация когда-нибудь простится?

– Ты вспомни, что рассказывал в Бутырках! Как ты жил с единственной целью сорвать миллион! Зачем тебе миллион для Царства Небесного?

Они два года уже знали друг друга. И теперь все узнанное друг о друге в задушевных беседах старались обернуть самым обидным, самым уязвляющим способом. Они все припоминали сейчас и швыряли обвинительно.

– Ну, а не понимаете человеческого языка – наматывайте, наматывайте, – крикнул Нержин.

И, махнув рукой, ушел. Он утешал себя, что в коридорах никого и в комнатах спят.

– Позор! Ты растлитель душ! Твои питомцы возглавляют восточную Германию!

– Мелкий честолюбец! Как ты гордишься своей дво-рянской кровишкой!

– Раз Шишкин-Мышкин вершат правое дело – почему им не помочь, не постучать, скажи?.. И Шикин напишет тебе хорошую характеристику! И твое дело пересмотрят...

– За такие слова морду бьют!

– Нет, почему ж, рассудим! Поскольку мы все сидим – верно, только ты один – неверно, и значит тюремщики правы... Это только последовательно!

Они бессвязно перебранивались, уже почти не слыша друг друга. Каждый высматривал и преследовал одно: найти бы такое место, куда побольнее ударить.

– Посмотри, как ты залгался! все на лжи! А вещаешь так, будто не выпускал из рук распятия!..

– Вот ты не захотел спорить о гордости в жизни человека, а тебе очень бы надо гордости подзанять. Каждый год два раза суешь им просьбы о помиловании...

– Врешь, не о помиловании, о пересмотре!

– Тебе отказывают, а ты все клянчишь. Ты как собаченка на цепи – над тобой силен, у кого в руках цепь.

– А ты бы не клянчил? У тебя просто нет возможности получить свободу.

А то бы на брюхе пополз!

– Никогда! – затрясся Сологдин.

– А я тебе говорю! Просто у тебя способностей не хватает отличиться!

Они истязали друг друга до измождения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу нудный изматывающий ночной спор двух арестантов в одиноком запертом здании на окраине Москвы.

Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити, – а два истребительных разноименных потенциала.

Именно эти потенциалы они и ощущали друг в друге отчетливо, безошибочно – вчерашних или завтрашних слепых безумных победителей, непробиваемо-бесчувственных к доводам рассудка, как эти тюремные стены.

– Нет, ты скажи мне: если ты всегда так думал – как ты мог вступить в комсомол? – почти рвал на себе волосы Рубин.

И второй раз за полчаса Сологдин от крайнего раздражения раскрылся без надобности:

– А как мне было не вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем – как ушей бы мне не видать института!

Глину копать!  
– Так ты притворялся? Ты подло извивался!  
– Нет! Я просто шел на вас под закрытым забралом!  
– Так если будет война, – у сраженного последней догадкой Рубина даже сдавило грудь, – и ты дотянешься до оружия...  
Сологдин выпрямился, скрещая руки, и отстранился как от проказы:  
– Неужели ты думаешь – я защищал бы вас?  
– Это – кровью пахнет! – сжал Рубин кулаки, волосатые у кистей.  
Говорить дальше или даже душить, или даже бить друг друга кулаками – все было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо только такой язык мог понять второй из них.  
Но автоматов не было.  
И они разошлись, задыхаясь – Рубин с опущенной, Сологдин – со вскинутой головой.  
Если раньше Сологдин мог колебаться, то теперь-то с наслаждением влепит он удар этой своре: не давать им шифратора! не давать! Не катить же и тебе их проклятой колесницы! Ведь потом не докажешь, как они были слабы и бездарны! Нагальдят, нагудят, назвелят, что все – от закономерности, что быть иначе не могло. Они свою историю пишут, не упускают! все внутренности в ней переворачивают.  
Рубин отошел в угол и сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. Ему прояснялся тот единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проберешь, меднолобых!  
Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! – вот это одно они поймут. Перемочь болезнь, слабость, нежелание – и завтра с раннего утра припасть, приняхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции.  
Петров! – Сяговитый! – Володин! – Щевронок! Заварзин!

## 70

Уже полночь Иннокентий и Дотнара возвращались домой в такси.  
На пустеющие улицы, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением.  
Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тестя ее внезапной покорностью, та теплота не минула и сейчас, за кромою глаз людских. Дотти непринужденно переполаскивала – о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с клариным замужеством, – Иннокентий дружелюбно слушал ее.  
Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток, и почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сейчас, как с этой любленной, опостылей, клятой, брошенной, изменившей женщиной, и все равно неотъемной, и все равно содородницей.  
Он нерассудно обнял ее вокруг плеч.  
Ехали так.  
Им самим же отвергнутые касания этой женщины сейчас опять заныли в нем.  
Он покосился. Покосился на ее губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить, и длить, и длить – и не пресыщает. Были поводы Иннокентию узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине все, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и еще многое надо было бы по частям, по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать. А еще собирать – душевные движения, и нрав, и ум, и обычай.  
Можно простить Дотти, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У нее есть немало.

Вдруг вошла ему такая мысль: что, если б эта женщина никогда бы не была его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала другому, но вот так он обнял бы ее в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой – что б он к ней сейчас испытывал?

Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках, и во многих? А если это его жена – то оскорбительно?

Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая, попорченная, она еще гибельней его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас.

И снял руку.

Конечно, все было легче, чем думать, как за ним охотятся. Как, может быть, дома ждет его сейчас засада. На лестничной клетке. Или даже в самой квартире – ведь им нетрудно открыть, войти.

Он даже ясно, уверенно представил: именно так! уже затаились в квартире и ждут. И как только он откроет – выскочат в коридор из комнат и схватят.

Может быть, последние минуты его вольной жизни и были – эти покойные минуты на заднем сиденьи в обнимку с Дотти, не подозревающей ничего.

Может быть, пришла все-таки пора сказать ей что-то?

Он посмотрел на нее с жалостью, даже с нежностью, – а Дотти сейчас же вобрала этот взгляд, и верхняя губа ее мило вздрогнула, по-оленьи...

Но что б он мог ей в трех словах сказать – и даже не при таксере, уже разочтясь? Что не надо путать отечества и правительства?.. Что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима? Что нашей стране совсем не надобно военной мощи – и вот тогда мы только и будем жить?

Этого почти никто не поймет среди власти. Не поймут академики! – особенно те, кто сами кропают эту бомбочку. Что же способна понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата?

Еще он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти – разрушить все настроение душевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым замечанием. Нет у нее тонкости, никогда не было – и как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было?..

В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом, вставил поворачивать английский, естественно отступил пропустить ее вперед – а пропускал-то в капкан! – но, может, лучше, что ее первую? она ничего не теряет, а он увидит и... – нет, не побежит, но пять секунд лишних будет думать!..

Дотти вошла, зажгла свет.

Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей. Не было чужих небрежных следов на полу.

Впрочем, это еще ничего не доказывало. Еще все комнаты надо осмотреть.

Но уже сердце верило, что нет никого! Сейчас – на засов, на другой засов! И ни за что не открывать! – спят, нету...

Распахивалась теплая безопасность.

И соучастницей безопасности и радости была Дотти.

Он благодарно помог ей снять пальто.

А она наклонила перед ним голову, так, что он затылок видел ее, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью:

– Побей меня. Как мужик бабу бьет... Побей хорошенько.

И – посмотрела, в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, ее: она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали, чрезмерно высыхали, до темной пустоты.

Но Иннокентий – не был мужик. Он не готов был бить жену. Даже не задумывался, что это вообще можно.

Он положил ей руки на плечи:

– Зачем ты бываешь такой грубой?

– Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим

спрячусь. Побей меня.

Так и стояли, беспомощно.

– Вчера и сегодня мне так тяжело, мне так тяжело...

– пожаловался Иннокентий.

– Знаю, – уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти.

– А я тебя сейчас успокою.

– Вряд ли, – жалко усмехнулся он. – Это не в твоей власти.

– Все в моей, – глубокозвучно внушала она, и Иннокентий стал верить.

– На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?

И уже Иннокентий погрузился в ее губы, возвращаясь в любимое прежнее.

И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват, сладкий.

Они пошли через комнаты, не разъединяясь и забыв искать засаду.

И погруженный в теплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб.

Дотти окружала его.

## 71

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят эков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на нее затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты.

Спали на двух этажах здания и еще на двух этажах коек, видя во сне: старики – родных, молодые – женщин, кто – пропажи, кто – поезд, кто – церковь, кто – судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они – арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забвения от оков, которое выдумал Лонгфелло во «Сне невольника», – не было им дано. Сотрясение незаслуженного ареста и десяти-и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъема – просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, по-ставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевой телефон, – тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывал больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, потайно подстерегая этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать, – двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки.

Сапоги он натянул кой-как, без портянок, был в истрепанной фронтальной шинели, наброшенной сверх нижнего белья. Мрачная черная борода его была включена, редкие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору.

Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утишались

палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить, – по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик «Проекта Гражданских Храмов» и плохо отточенный карандаш. Все это, и коробку легкого табака и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперед по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко – и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто – враг и посажен врагами. Но свое положение здесь (да еще Абрамсона) он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казенными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный, прогрессивный закон, – Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме, напротив, не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть ли не кусали – из-за того, что они видели только горе свое и не видели великой Закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы выместить на нем, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности. А он в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре обязан был с неистощимой силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке все идет так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радуга культуры. Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они – народ, а Рубины – одиночки. Но все в нем знало, что это – ложь!

Народ был – вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами, народ тек демобилизационными поездами к востоку, шел восстанавливать ДнепроГЭС, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой спертой камерной борьбе против десятков.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат – раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

– Мне плохо, – сказал Рубин. – Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.

– Ладно, позвоню.

Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.

Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Левка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Левка схватился за это восторженно. Но не уберегся соседского мальчишки. Тот подглядел и завалил Левку. Левка не выдал брата – он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской внутренки, двадцать лет на-зад, представилась Рубину, все так же мерно, топтальной поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу – открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца – регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Левка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, – и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму:

– Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому!), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает – но триста узников в трехстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

– Долой кровавых псов!  
– Рабочей крови захотелось?  
– Опять царя на шею?  
– Да здравствует ленинизм!..  
И вдруг в каких-то камерах исступленные голоса начинают:

*Вставай, проклятьем заклейменный...*

И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения:

*Это есть наш последний  
И решительный бой!..*

Не видно, но у многих поющих, как и у Левки, должны быть слезы восторга на глазах. Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном...

Какие волны боли в затылок! Что за распиранье в правом подвздошьи!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

– Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

– Так сходите ногами! – с мучительным раздражением прикрикнул он. – Мне плохо, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

– Ну, ладно, – согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, все так же безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора, и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутренки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания – скрываемые, палящие.

... Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лева считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодежь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошел в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» – и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанными красной косынкой:

– Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?

– Здравствуй, товарищ Рубин, – пожала она ему руку. – Садись.

Он сел.

Еще в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстук, костюме, желтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых черных тонах.

Женщина стесненно, как-то потухло, поговорила слевой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твердо:

– Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лева был поражен. Как? Он ли не отдает партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж еще?!

Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы» – и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать все, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лева смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не все так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна – потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твердую тропу.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Не то, что троцкистов – уже и бухаринцев начали забывать. Все, что предлагал расколоучитель и за что был выслан из Союза, – Сталин теперь ненаходчиво, рабски повторял. Из тысячи утлых «лодок» крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили «океанский пароход» коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырех заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И «518» и «1040» были уже почти за плечами. Все объективно свершалось во славу Мировой Революции – и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела? (И даже новое это имя Левка заставил себя полюбить. Да, он уже любил Его!) И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде?

– Я не знаю. Никогда он троцкистом не был, – отновых строек первой пятилетки и 1040 новых МТС – известный частый лозунг того времени. веча́л язык Левки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, – запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она – наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Левку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкой на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! – он не мог утаиться и солгать в этой черно-красной исповедальне.

Рубин открыл – когда, где состоял брат, что делал.

И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в желтых полуботинках сказал:

– Значит, если я правильно вас понял... – и прочел с листа записанное.

– Теперь подпишитесь. Вот здесь.

Левка отпрянул:

– Кто вы?? Вы – не Партия!

– Почему не партия? – обиделся гость. – Я тоже член партии. Я – следователь ГПУ.

Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный ото сна, просопел:

– Ну, чего стучишь? Сколь раз звонил я – не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

– Я вас сходить просил, а не звонить! Мне с сердцем плохо!! Я умру может быть!

– Не умре-ошь, – примирительно и даже сочувственно протянул вертухай.

– До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди – как же я уйду, а пост брошу?

– Да какой идиот ваш пост возьмет! – крикнул Рубин.

– Не в том, что возьмет, а устав запрещает. В армии – служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искаженное лицо, надзиратель решил:

– Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушел, Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась.

Он опять стал мерно ходить по коридору.

... А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать.

Которые забыть – значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? «Вот и я захватил гражданскую войну.» Только.

Разумелось само собой! – разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дите хозяйское умирало – подышайте вы, злыдни, и со своим дитем, а хлеба испечь – не дать. И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадейю, на рассвете идущая затаенным мертвым селом. Кнутом в ставенку:

– Покойники е? Выносьтэ.

И в следующую ставенку:

– Покойники е? Выносьтэ.

А скоро и так:

– Э! Чи тут е живы?

А сейчас вжато в голову. Врезано каленой печатью. Жжет. И чудится иногда: раны тебе – за это! Тюрьма тебе – за это! Болезни тебе – за это!

Пусть. Справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено? – как это счистить с себя?

Кому бы сказать: о, этого не было! Теперь будем считать, что этого не было!

Сделай так, чтоб этого не было!..

Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся?..

На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали – и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

– Нельзя, – сказал надзиратель в форточку. – Сам ходил, докладывал.

Говорят – нельзя. Отложить до утра.

– Я – умираю! Я – умираю! – хрипел ему Рубин в форточку. – Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю!

– Чего – голодовку? Тебя кто кормит, что ли? – рассудительно возразил вертухай. – Утром завтрак будет – там и объявишь... Ну, походи, походи. Я старшине еще назвоню.

Никому из сытых своею службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта.

Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого!

Превозмогая дурноту и боль, Рубин все так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова «Булат», Басня эта на воле проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила.

*Булатной сабли острый клинок  
Заброшен был в железный хлам;  
С ним вместе вынесен на рынок  
И мужику задаром продан там.*

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды иж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему? И Булат ответил Ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

*Нет, стыдно то не мне, а стыдно лишь тому,  
Кто не умел понять, к чему я годен!..*

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру.

Как ни ожесточенно он отвергал доводы Сологдина, – тем больней было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений, устой добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы, – с кого брать пример молодежи?

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Еще и теперь какая польская крестьянка предпримет серьезный шаг в жизни без совета ксендза?

Быть может сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя – спасти людскую нравственность!

Как это сделать? Этому послужит «Проект о создании гражданских храмов», уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя – в ЦК обидятся, что такие советы им дает политзаключенный. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей – славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку «золотым руном» – по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно, – задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохо-оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спертом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусонные ээки, – безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости еще выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным, гражданским годовщинам и семейным событиям – обрядной торжественностью актов. А для того повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на головы начальства, излагалась организационная сторона: в населенных пунктах какого масштаба или из расчета на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там; продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям.

В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов должны быть необычны, и выражать белоснежную чистоту своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пенья, от использования цветных стекол и прожекторов, от художественной стеной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, – до всего архитектурного ансамбля храма.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утонченно выбирать из синонимов. Недалекие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа – но это глубоко не так!

Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа Верховного Существа – но, конечно, это совсем, совсем не то!!

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но, как они там именовались, – служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами все удлиняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок – может быть из-за того, что не приходится никого убеждать, так как все население и без того безоговорочно поддерживает свое родное государство.) А что никто не приходил к заключенному, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая нудная кара, он сгрэб свои бумаги, книгу, табак – и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорбленное достоинство.

– Старшина, – сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного, – я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера и на вас.

Но старшина примирительно ответил:

– Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдемте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных эзков, решиться постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец, лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта, и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая белье.

Старшина повел его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо напало пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и темные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звездочек, – Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче, – вся сила бытия, все счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть – только стоять так ночь напролет, замерев – блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше, чем в километре, донесся долгий залихватый паровозный гудок – тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять – весь бы отошел, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение – о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром!..

Но конвоир уже с подозрением оглядывался: не задуман ли здесь ночной побег?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла на ее щеках. Она была в белом

халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастерки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение, но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

– Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо – сразу.

– От бессонницы ничего нет, – механически отказала она.

– Я-про-шу-вас! – внятно повторил Рубин. – Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернется), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафчика порошки и заставила Рубина все выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвертого, и ушел.

Проходя опять двор и оглянувшись на ночные липы, озаренные снизу отсветом пятисот-и двухсотваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился, полной жменею несколько раз захватил звездчатого пушничка и им, невесомым, бестелесным, льдистым, отер лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

## 73

Дверь в столовую из спальни была непритворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену.

Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом уткнувшись в плечо мужа.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности оттого, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие вечно мерзнущие ступни.

Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились – установилась та ночная четкость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвигание мебели, с вечера долго слышные над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишенный сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твердости положения и того подъема над людьми, которые сообщались ему днем погонями майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нем – нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашел один давнишний друг его, тоже еврей. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках.

Это не было ново. Это началось еще прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке-сплетнице, газетенке-потаскухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела – литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо – космополит. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее мир, слово,

которым венчали гениев самой широкой души – Данте, Гете, Байрона, – это слово в газетенке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить – жид.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.

А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов.

Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и еще долго после нее слово «еврей» было куда благонадежнее, чем «русский». Русского еще проверяли дальше – а кто были родители? а на какие доходы жили до семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, – всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но – национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали.) Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть своим, таким, как все, – а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты – чужой. Ты – неприкаянный. Ты – жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Еще успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовет.

Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключенным в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишенным отцовства, это больно. (Да это была тема удобная – сближающая, а вместе с тем нейтральная.) Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал дню – матери (она была волжанка и окала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краев. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провел безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке НКВД Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной, тогда же они стали за нее лауреатами.

Как горячо они делали ее! Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлеты?

С пронизательностью темного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас – чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь все – не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами...

Как обожженный, он отнял руку от жены, подмостила подушку повыше.

Да, да, да! это заманчиво, легко! – в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, – сказать: «Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из „Proceedings“? Тезисно основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освеженный, он возвращается на работу – на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Proceedings», а

Прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключенные не обижаются на Ройтмана, больше того – любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений – ушли от него!

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей они делали все, чтоб опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимают, как он ни бьется, «молодые» вели атаку через партийные собрания: ставили там его отчет, потом просили его уйти, или тут же, при нем («голосуют только члены партии») обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как все враждебно обернулось! В своей травле Яконова «молодые» и думать забыли, что среди них пятерых – четыре еврея. Сейчас Яконов не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм – злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, заключенный Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера.

Скорей всего это была чушь, но ее можно было изобразить перед начальством как коренную реформу – и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семерку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Селивановского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

– Адам Вениаминович! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела Спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде – и нельзя было плакать! Душили средь бела дня – и требовали, чтобы ты аплодировал стоя!

Пробило сразу пять – он не слышал половины.

Спать не только не хотелось – уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошел к окну и больше расклонил шелковые занавески.

О-о, сколько снега напало!

Прямо через двор был самый дальний запущенный угол Нескучного Сада – овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убеленными соснами. И вдоль оконных переплетов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти перешел.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И еще почему он не успевал в науке за последние годы: его задержали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник – политучеба, каждую пятницу – техучеба, два раза в месяц – партсобрания, два раза – заседания партбюро, да еще на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай отчет о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключенных (работы – на полный день). И еще каждые полчаса подчиненные подходят с накладными – любой конденсаторишка величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство! – посидеть бы

самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую – будешь тогда беззаботно распевать «Буги-Вуги», как Пряничков. В тридцать один год какое бы это счастье! – не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка – что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе – «как мальчишка» – и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой: с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорбленный, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы – агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.

Кончались двадцатые годы, мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы.

Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, – все себя остервенело-убежденно считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому «Интернационалу», явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нем контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: «Каждый человек имеет право говорить все, что он думает». – «Как – все? – подскочил к нему Штительман. – Вот Никола меня „жидовской мордой“ назвал – так и это тоже можно?»

Из того и начато было на Олега дело! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки – и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключен из пионеров и скоро будет исключен из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули – но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки.

Кольцо обид! кольцо обид! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

В голове уже выросла та тяжесть, а в груди – та опустошенность, которые нужны, чтоб уснуть.

Он пошел и тихо лег под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра – нажимать с фоноскопией! Громадный козырь! В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельный научно-исследова...

## 74

Подъем на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник задолго до подъема в комнату, где жили рабочие, пришел надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, прочнулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

– Одевайся, Егоров. Лейтенант зовет, – тихо сказал надзиратель.

Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

– Слышь, говорю, лейтенант зовет.

– Чего там? Ус...лись? – так же не двигаясь, спросил Спиридон.

– Вставай, вставай, – тормошил надзиратель. – Не знаю, чего.

– Э-э-эх! – широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затылком зевнул. – И когда тот день придет, что с лавки не встанешь!.. Часов-то много?

– Да шесть скоро.

– Шести-и нет?!.. Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель перемялся, вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косоного крыла тени от верхней койки. Так, в свету и в тени, с руками за головой, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушняком (а под сушняком – прихороненными от лесника бревешками) – ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность ее Спиридон обоими глазами (будто оба здоровы!) отчетливо видел во сне: где корни, вздутые поперек дороги, где расщеплина от старой молнии, где мелкий сосонник и глубокий песок, в котором зажирались колеса. Еще слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенные запахи леса и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчетливо, что он – зэк, что срок ему – десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов – надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебивавших у Спиридона – розовой масти кобылка Гривна – первая лошадь, купленная им трехлетком в свое хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шел у нее по серому равномерный гнеденький перешерсток, красинка, отчего и звали ее масть «розовой». На этой лошади он и на ноги стал, и ее закладал в корень, когда вез украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива, и так же молода, так же не осекаясь вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в ее ушах – высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что от нее сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть ее. Езжая на Гривне, Спиридон николи с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно, теперь дождется конца его срока, – как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увалян кой-как, и сучья расползаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на землю – и это был толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них ему врезалась как человек живой), и еще тысячи лошадей, перевиденных со стороны, – и надсадно было ему, что так за зря, безо всякого розума, сжили со свету первых помощников – тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло все – на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять – чтоб легче они подались до купы?..

– Егоров! – уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем еще двоих спящих.

– Да иду же, мать твоя родина! – проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол. И побрел к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

– Куда, Спиридон?

– Господа кличут. Пайку отрабатывать, – в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалежливый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в

темнедь. Из-под палки до-света вставать – самое злое дело для арестанта.

Но в СевУралЛаге поднимают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригибаться.

Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, уже одетый и обутый, влез еще в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху черный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнем и пошел. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошел подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шел всю ночь, крупный.

Убравшая в снегу, он пошел на огонек штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурняк – лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок – много напало снега, за тем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал:

– Давай, Егоров, давай! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай!

– Всем давать – мужу не останется, – буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

– Что? Что ты сказал? – грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

– Говорю – яволь, начальник, яволь! – (Немцы тоже так вот бывало «гыр-гыр», а Спиридон им – «яволь».) – Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

– Ладно, чисть.

Спиридон всегда вел себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить, от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По темному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню, потом – в три широких фанерных лопаты – круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили свое. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться – вперед пригодится.

Но дочь?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвел весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом – еще и утро не сказалось, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять – Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъема.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

– Ты что, Данилыч, – спросил Хоробров, поднимая воротник истертого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то. – Ты и спать не ложишься?

– Рази ж дадут спать, змеи? – отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нем не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились из него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чем, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижных предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня – о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, легкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немерзнущие плечи, прошел на дрова. (Когда он шел так, он думал про себя, но как бы со стороны: «Вот идет граф Сологдин».) После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке спал дурно – и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десанником на танк (до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым, немного выбрасывая на ходу поврежденную ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но, как бы описав бесплодную петлю в темном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь:

– Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину и что это есть самое бесчело-вечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем потока славится как высшая и новейшая форма производства! В 45-м году Чан Кай-ши был наш союзник, в 49-м удалось его свалить – значит, он гад и клика. Сейчас пытаются свалить Неру, пишут, что его режим в Индии – палочный. Если удастся свалить, будут писать: клика Неру, бежавшая на остров Цейлон. Если не удастся, будет – наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспособляются к моменту, что понадобится нынче провести еще одно повальное крещение Руси – они бы тут же откопали соответствующее указание у Маркса, увязали бы и с атеизмом и с интернационализмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолично. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнувшей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда.

Хоробров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нем слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решен каким-то (ему неизвестным) путем как спор между своими. Поэтому, неловко выбрасывая поврежденную ногу, он шел молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари еще бросали на снег желтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашев в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много не достававшим Кондрашев у до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его.

Значит, не мог его срок течь и дальше так, как он тек. Наташа не могла выдержать трех последних лет – и что-то надо было предпринимать. «Да у тебя есть что-нибудь и сейчас!» –

упрекнула она, зная голову мужа.

А у него не что-нибудь было, а слишком бесценное, чтоб отдавать его за собачью подачку и в эти руки.

Вот если бы подвернулось что-нибудь легонькое, безделушка для досрочки.

Но так не бывает. Ничего не дает нам бесплатно ни наука, ни жизнь.

Не оправился Герасимович и к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашевым-Ивановым, пошел сделать с ним один круг – и увлекся на всю прогулку.

– Ка-ак?! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? – поразился Кондрашев, будто о том знал каждый школьник. – О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина «Русь уходящая»! Одни говорят шесть метров длиной, другие – двенадцать. Его теснят, нигде не выставляют, эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, ее тут же и опечатают.

– Что же на ней?

– С чужих слов, не ручаюсь. Говорят – простой среднерусский большак, всхолмлено, перелески. И по большаку с задумчивыми лицами идет поток людей.

Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые еще можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это – светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых – крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это – те лица девушек, у которых уши завешены незримым золотом от бранных слов, девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки.

И степенные старухи. Серебряноволосые священники в ризах, так и идут.

Монахи. Депутаты Государственной Думы. Перезревшие студенты в тужурках.

Гимназисты, ищущие мировых истин.

Надменно-прекрасные дамы в городских одеждах начала века. И кто-то, очень похожий на Короленко. И опять мужики, мужики... Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времен! Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга, может быть и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они – идут; и не по этому конкретному большаку, а вообще. Они уходят... Последний раз мы их видим...

Герасимович резко остановился:

– Простите, я должен побыть один!

Он круто повернулся и, оставив художника с поднятою рукою, пошел в обратную сторону.

Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что...

Обутрело.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре, на возврате, посвежевшие заключенные невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося навстречу.

Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немислимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал свое тело тяжелым, ватно-бесчувственным. Еще он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и за жменею снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снега, натер им лицо и поплелся в тюрьму.

Туда же пошел и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта – сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун, вскрыли пакет и знакомились с оставленным им

приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун – грубый широмордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии (называлось «исполнитель при военном трибунале») и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в Спецтюрьме №1 и, не блеща грамотностью, дважды перечел распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено:

"Всем заключенным в течение трех дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные – братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается – не больше одного развернутого тетрадного листа."

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

– С Новым годом!

– С новым счастьем!

– Ку-ку!

– Пишите доносы на родственников!

– А сыщики сами найти не могут?

– А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключенные всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо...

## 75

Удрученные, расходились на работу зэки.

Даже те из них, кто сидел давно, – и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна – что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле еще удавалось скрыть, что они имеют родственников за решеткой – и только это обеспечивало им работу и жилье. Вторая жестокость была – что отвергались незарегистрированные жены и дети, отвергались братья, сестры, а тем паче двоюродные. Но после войны, ее бомбежек, эвакуации, голода – иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают подготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчетов с жизнью – то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими...

Внутри просторного Железного Занавеса, объявшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина еще один – тесный, глухой, стальной.

Даже у самых заклятых энтузиастов казенной работы опустили руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны и не систематизированы

сведения обо всех родственниках зэков?

Новички и наивные почитали ГБ всемогущей, всезнающей и без нужды в этом перечне-доносе. Но старые тертые зэки солидно качали головами: они объясняли, что госбезопасность – такой же громадный бестолковый механизм, как вся наша государственная машина; что картотека родственников у ГБ в беспорядке; что за кожаными черными дверьми отделы кадров и спецотделы «не ловят мышей» (им хватает казенного приварка), не выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали зэки – и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января-марта и отдельно план января и еще план первой декады января. Все, что было здесь бумага, – предстояло свершить самому начальству. Все, что было здесь работа, – предстояло исполнить заключенным. Поэтому энтузиазм заключенных был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсия тюремного командования, произведенная в соответствии со своим годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нем была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на лице которого, освеженном после бритья, не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастерки, как-то особенно некстати висела ненужная ему португеза. Он хотел храбриться сам и подбодрять подчиненных, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты: середина ее пустынно сиротела без унесенной стойки вокодера; не было Пряничкова, жемчужины акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было ее! хоть это одно облегчало сейчас Нержина! – не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег.

Наступала еще одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете морщинами. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить.

Что значат свидания раз в год! Вот только вчера было свидание.

Казалось: самое срочное, самое необходимое все высказано надолго вперед! И уже сегодня...?

Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твое место работы?.. После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать? Но адрес на конверте и будет доносом!

Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Еще вчера я улыбался – а сегодня замолчу навеки?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход! Плохо было – все.

Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах.

Однако сеял он – на камне.

Тесно окруженный стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на темный забор, на вышку с попкой, торчащую прямо против его окна.

Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев.

Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди, сейчас омраченные, негодующие, упавшие ли духом, клопочущие от ярости – одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи все забудут, отрекутся, облегченно затопчут свое тюремное прошлое, четвертые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, – и, может быть, никто из них не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем!

Крута гора да обминчива, лиха беда да избычива.

Это поразительное свойство людей – забывать! Забывать, о чем клялись в Семнадцатом. Забывать, что обещали в Двадцать Восьмом. Что ни год – отупленно, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку – и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище, – и от этого еще короче становится память и смирней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку – и как-нибудь там прожить.

Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть.

И за все, за все, за все, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходят и за сегодняшнее утреннее объявление – четыре гвоздя их памяти!

Четыре гвоздя их вранью, в ладони и в голени – и пусть висит и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля.

И если больше никого не найдется – эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам.

Нет, зажато в слесарных тисках – не до скептической улыбки Пиррона.

Уши Нержина слышали, хотя и не слушали, что говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять «соцобязательства», «соцобязательства», Глеб дрогнул от гадливости. С планами он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью. Он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таили за собою большой работы: чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. Но всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей – тут же, в противоречие с этим признанным пределом и в издевательство над чувствами политзаключенного, Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство.

Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один зэк. Адам Вениаминович спросил:

– А что скажете вы, Глеб Викентьич?

Четыре гвоздя!! – что мог сказать им Нержин?

Он не вздрогнул при вопросе. Он не выронил из темного лона мозга затаенно зажатых железных гвоздей. На их звериную беспощадность – и хитрость должна быть звериной! Словно только и ждав этого вызова, Нержин с готовностью встал, изображая на лице

простодушный интерес:

– План за сорок девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно-обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьевича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов.

– Да-да-да, голосов! Это очень важно! – перебил Ройтман, отвечая своим замыслом фоноскопии.

Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции.

– И соревнование надо оживить, верно, это поможет, – убежденно заключил он. – Социалистические обязательства мы тоже дадим, к первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем. – (А в истекшем он ничего не делал.) Выступили еще двое эзков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи, – но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рывок. И даже выскажи кто-нибудь это, – растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман, – но собрание все равно пошло бы тем же начертанным путем.

Оно закрылось – и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину.

Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались.

## 76

Оперчекистская часть на объекте Марфино подразделялась на майора Мышина – тюремного кума, и майора Шикина – производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то лень: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах; по телефону об оперчекистских делах не разговаривают; будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали, один над ночными душами, другой – над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчетах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Марфино.

Как-то читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим – важность повышения производительности, солдатам – необходимость жертвовать собой, избирателям – правильность политики блока коммунистов и беспартийных.) Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою, и она его любила.

В свое время Шикин кончил училище ГПУ, позже – курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ; он был особонаблюдающим от НКВД за враждебными избирательными бюллетенями при тайных выборах в Верховный Совет; во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры; потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец – оперуполномоченным в исследовательском институте Марфино. Все

эти занятия охватывались единым словом: оперчекист.

Оперчекизм и был подлинно любимой профессией Шикина. Да и кто из его сотоварищей не любил ее!

Эта профессия была неопасна: во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооруженных оперчекистов против одного безоружного, непредупрежденного, иногда только что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осужденных, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом году следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы МВД-МГБ был – неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась еще неторопливость по инструкциям, чтобы лучше воздействовать на психику заключенного и добиться от него показаний – медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах чекистов и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок оперчекистской работы. Вся она, по сути, состояла из учета в голом виде, пронизывающего учета (и тем выражала характернейшую черту социализма). Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшита бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.) А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание всемогущества, в глазах же людей окружала своих работников загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев – тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они – и инженер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчет о своей деятельности, Шикин же не отчитывался ни перед кем из них.

Когда он, темнолицый, с седеющим короткостриженным ежиком, с большим портфелем подмышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, – Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали – но ему никогда этого никто не говорил, – что он якобы заслужил к себе ненависть, что он – мучитель других людей, – он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была – чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чем вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был сверток, а в нем – сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключенные, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено – да это равнялось чрезвычайному государственному

событию! Но Шикин не стал его раздувать, а повесил на лестнице объявление:

«Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице, может получить их у майора Шикина в любое время».

Деньги были не малые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели – никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запылывалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

«Лопай сам, собака!»

Дежурный отодрал объявление и принес его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришел этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности – а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их и зря! – через два месяца майор подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина, Шикина как черт попутал и приковал к этой секретарше с ее запущенными тридцатью восемью годами, с грубыми толстыми ногами и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня ее прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберегся: их слышали и даже в щелку видели двое заключенных – плотник и штукатур. Это разнеслось, и эки между собой потешались над духовным пастырем и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у майора Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключенные.

В понедельник двадцать шестого декабря майор Шикин пришел на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришел и к обеду – никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери – одна в кабинет Шикина, другая – в партком. Обе двери были обтянуты черной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в темном тамбуре было весьма удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно занывали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарем парткома Степановым, большим худым человеком в свинцово-поблескивающих очках.

Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

– Товарищ Шикин! – Он никого не называл по имени-отчеству. – Заходи, шаров погоняем!

Приглашение относилось к парткомовскому настольному бильярду. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своею серебрящейся головой.

Степанов вздохнул и пошел гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились, – но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонек», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копейку.) Затем прошелся по коврику, постоял у окна – и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, за сейфом, за шкафом, за диваном – и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Дел было!.. Дел было!..

Он растер ладонями свой короткий седеющий ежик. Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течении многих месяцев, утвержденное недавно Яконовым, принятое к руководству, разъясненное по лабораториям, но еще не налаженное. Это был новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Марфино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности все еще нет! Правда, в каждой комнате стоят несгораемые стальные шкафы в рост человека в количестве пятидесяти штук привезенные от растрофеенной фирмы Лоренц; правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако, в стальные шкафы все еще не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения – именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть, самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны – и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своем присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промокших, смерзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начерчены схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к полковнику Яконову. И Яконову некуда было деваться! Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чем, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было еще второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключенного: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут еще двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта.

Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить ученого – в этом и состояло изобретение майора Шикина! (Увы, оперчекистам не дают сталинских премий.) Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя забота Шикина была – укомплектовать до конца список заключенных на этап, намечаемый тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Еще владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся «Дело о поломке токарного станка», – когда десятеро заключенных перетаскивали станок из 3-й лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Еще нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донес, что ее читали в полукруглой комнате, в частности Абрамсон. Вызывать на допрос самого Абрамсона, повторника, было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что все раскрыто, что он признался.

Так много было сегодня у Шикина дел! (И ведь он еще не знал, что нового ему расскажут осведомители! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над

правосудием в форме спектакля «Суд над князем Игорем»!) Шикин в отчаянии растер себе виски и лоб, чтобы все это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как? Возможна ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок! – приезжал замминистра, приезжали генералы – а Шикина на объекте не было! Досада овладела майором. Дать замминистра повод думать, что Шикин не терзается о бдительности! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включать в столь ответственную группу этого проклятого Рубина – двурушника, человека насквозь фальшивого: клянется, что верит в победу коммунизма – и отказывается стать осведомителем! Еще эту демонстративную бороду носит, мерзавец! Сбрить!

Спеша медленно, делая ножками в мальчиговых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал очередное прошение в Верховный Суд о пересмотре дела. От Шикина зависело – сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В ее растворе стоял Смолосидов с недобрый черным чубом.

Видя Шикина, он не пошевелинулся и не раскрыл дверь шире.

– Здравствуйте, – неопределенно сказал Шикин, не привыкший к такому приему. Смолосидов был еще более оперчекист, чем сам Шикин.

Черный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксер. И молчал.

– Я... Мне.. – растерялся Шикин. – Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага, и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была приколотая бумажка:

*"Список лиц, допущенных в комнату 21.*

- 1. Зам. министра МГБ – Селивановский*
- 2. Нач. Отдела – генерал-майор Бульбанюк*
- 3. Нач. Отдела – генерал-майор Осколупов*
- 4. Нач. группы – инженер-майор Ройтман*
- 5. Лейтенант Смолосидов*
- 6. Заключенный Рубин*

*Утвердил министр Госбезопасности Абакумов"*

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.

– Мне бы.. Рубина вызвать... – шепотом сказал он.

– Нельзя! – так же шепотом отклонил Смолосидов. И запер дверь.

Утром на свежем воздухе, коля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра.

Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара – он думал.

Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Все новые и новые хлесткие доводы, вчера не высказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову.

Главная же осталась досада и горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьей в поступках Сологдина – именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Левку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у Сологдина право на его изобретение.

А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала – это выпускной клапан, она сбрасывает наше внутреннее давление, и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самая несправедливая – это все топка нашему котлу, это очень нужно.

Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин, с незаурядными способностями ума и тела, имел право на свою жатву, на свой отстой молочных благ.

Но он сам вчера сказал: к высокой цели ведут только высокие средства.

Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот еще одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности.

А вообще крепчение тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суровей, и выхода из тюрьмы в виде так называемого «конца срока» – не будет.

Только если кто получит досрочку.

Или изобретение и досрочка, или – не жить никогда.

В девять часов Сологдин одним из первых прошел в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструкторское бюро бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки («вот идет граф Сологдин»).

Его победно-сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы.

Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им! Может быть, переброситься записочкой.

Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу: надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепежных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил ее поспешить.

Лариса в тревоге и недоумении смотрела на него. Ушла.

Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий грязный лист – и ему открылся главный узел шифратора.

Два года жизни ушло у него на эту работу. Два года строгого распорядка ума. Два года лучших утренних часов – потому что среди дня человек не создает великого.

А выходит – все ни к чему?

Вот обнажающая плоскость: можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбожевший народ, наделавший столько преступлений, и безо всякого раскаяния – этот народ рабов достоин ли жертв, светлых голов, анонимно лежащих под топор? Еще сто и еще двести лет этот народ будет доволен своим корытом – для кого же жертвовать факелом мысли?

Не важнее ли сохранить факел? Позже нанесешь удар сильнее.

Он стоял и впитывал свое творение.

У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни.

Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата.

Одна из чертежниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила

конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт и они сжигались во дворе.

(Вообще это было упущение майора Шикина: так доверять огню. Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро еще оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?) Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подsunул снизу еще один ненужный, все вместе скрутил и протянул чертежнице:

– Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдет ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречах социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора – и теперь обговаривал это все так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чем-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив, – он напряженнейше думал. Как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нем, на осях непересекающихся и непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

И вдруг самое простое, простое из простых влетело камешком подозрение: да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут – и там у них сейчас же отнимут его шифратор.

Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания – и быстро подошел к чертежницам. Они уже писали акт.

– Я один лист по ошибке вам дал... Простите... Вот этот. Вот этот.

Он понес его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро неровно разрезал лист пополам, еще пополам, и каждую четвертушку на четыре части.

Вот так будет верней. Еще одно упущение майора Шикина: не заставил он чертить чертежи в пронумерованных просургученных книгах!

Отвернувшись от комнаты в угол, все шестнадцать листиков пачкой Сологдин заложил себе за пазуху, под мешковатый комбинезон.

А коробку спичек он всегда держал в столе – для мелких сожжений.

Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой, к уборной.

В переднем помещении зэк Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении кроме писсуаров шли подряд четыре отгороженные кабины. Первая была заперта (Сологдин проверил, потянув дверь), две средних полуоткрыты и, значит, пусты, четвертая опять закрыта, но поддавалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер.

Он вынул из-за пазухи два листа, достал спички «победа» – и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдется по уборной.

Кто-то пришел еще. Потом ушел и он, и тот, из первой кабины. Сологдин чиркнул. Сера вспыхнула и отлетела на грудь. Со второй спички сера не сорвалась, но огонек ее бессилен был объять скрученное коричневатое тело спички. Попыхав, он погас с обиженной струйкой дыма.

Сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством.

Невоспламеняемые несгораемые спички! – в какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь! «Победа»! Как они вообще одержали победу?

Третья спичка при нажатии сломалась. Четвертую он еще из коробки достал сломанную. На пятой с трех сторон головка была без серы.

В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и чиркнул их сплоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнем вниз. Разгоревшись, огонь стал жечь пальцы.

Сологдин осторожно поставил горящие листы стоймя в унитаз, у края воды.

Вынул еще пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сгорели до конца. Черный пепел их съежился и корабликом поплыл по воде.

Разгорелась вторая пачка. Опустив ее, Сологдин клал на нее сверху еще и еще листы. Новая бумага придавила пламя, и потянулся кверху едкий дым тления.

Тут вошел кто-то и заперся в кабине через одну от Сологдина. А дым шел!

Это мог быть и друг.

Мог быть и враг.

Может быть, дым туда совсем не попадал. А может быть тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу.

В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать.

И вдруг вся бумага вспыхнула и желтым столбом света ударила в потолок.

Пламя ярко горело, суша стенки унитаза, и можно было опасаться, что он расколется от огня.

Оставалось еще два листика, но Сологдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох черного пепла.

И неподвижно ждал.

Пришли еще двое за пустым делом, разговаривая:

– Он только и смотрит, как на чужом ... в рай ехать.

– А ты проверяй на осциллографе – и бабец кооперации!

Ушли. Но сразу пришел кто-то и заперся.

Сологдин стоял, униженно затаившись. Вдруг сообразил посмотреть – что на оставшихся листах. Один был угловой и захватывал чертеж только краешком.

Оторвав деловое, Сологдин выбросил остальное в корзину. Второй же листик захватывал самое сердце узла. Сологдин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки, еле удерживаемые в ногтях.

Спустил воду – и в ее реве порывисто вышел в коридор.

Никто не заметил его.

В большом коридоре он пошел медленно. И тут по-думал: сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз, да не заметили гари.

Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Еминой насчет крепежных болтиков и попросил ее ускорить копирование.

Она не понимала.

И не могла бы понять.

Он сам еще не понял. Тут еще многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном «рабочем виде», не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Сологдин подпер голову и с невидящими открытыми глазами сидел.

Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику.

И действительно позвали – но к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек и, поморщась, только сказал:

– Дмитрий Алексаньч, неужели такая сложность? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

– Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.  
Он еще их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

## 78

Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз.

Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительство об удлинении рабочего дня и недели? о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи или не было у них жилищ (часто – ни того, ни другого) – кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома? И все завоевания революции и все прочнее положение начальства зиждилось тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах о списании имущества, негодного для государственного использования, но еще годного в домашнем быту директора, не была так кристально-наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства – на тот тридцатый процент из зарплаты трудящихся, который государство все равно не могло удержать сверх двадцати девяти процентов займовых и налоговых удержаний.

И в большом и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма.

И тем не менее в Марфино профсоюз отменили. Это так случилось: один высокопоставленный товарищ из московского горкома партии узнал и только ахнул: «Да вы что? – и даже не добавил „товарищи“. – Да это троцкизмом пахнет! Марфино – воинская часть, какой такой профсоюз?»

И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднен. Но это несколько не потрясло основ марфинской жизни! Только еще возросло и возросло значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобожденного секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность

*Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение – из батраков, после революции – сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение – служащий, образование – 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе – с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голову, орден «Красной Звезды» и медаль «За победу в Отечественной войне над Германией».*

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их (а вечерами еще созывал и в правление) и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина важность того, чтобы земля каждый год засеивалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве, желательном большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и

хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыха, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете все того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобожденным секретарем, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егорьевском районе, а в Марфине Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного – и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобожденного секретаря. Прежним секретарем был лейтенант Клыкачев. Клыкачев был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой «группы молодых», и сверх всего быть секретарем парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчиненные – вьедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в марфинском институте окажутся запущенными. Ибо партийная работа требует всего человека без остатка.

Так и оказалось. Начался прием дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу, а лишь позже – в натуре. Клыкачев почувствовал на себе нелегкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развернутых характеристик на каждого члена и кандидата, – наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призранными.

– Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?! – возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разяснял Клыкачеву, что все это сделано на бумаге (потому что – только на словесных уверениях), а не на деле (то есть не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заключенных) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени)? Может быть это и так. Может быть они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые поверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта, – почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете «Красный мяч» или, скажем, «Честь динамовца»? Если бы затем Клыкачев такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации – ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие «игра в волейбол» реально проводилась и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачеву на слово?

И так во всем, так во всем. «Слова к делу не подошьешь!» – с этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность.

Как ксендз бы не поверил, что можно солгать в исповедалине, – так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации.

Однако, сухопарый Клыкачев с постоянной запышкой боков не стал спорить со Степановым, но открыто благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел к Клыкачеву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачева о том, что во главе такого важного секретного института

стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту не наш человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачева же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта.

Так Клыкачев скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка «молодые» стали звать парторга «Пастух». Но именно благодаря Клыкачеву отношения с Пастухом у «молодых» сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение, – борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы еще под новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики – отражения окон, метались на свинцовых стеклах его очков:

– Товарищи! Товарищи! Что я слышу? Да как у вас поворачивается язык?

Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!! поддерживай закон из последних сил!! – и только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить!

Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти!

Со своей стороны и Степанов был доволен «молодыми» с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях – такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого указывал партком, – такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровый.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это «открытые» партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их, они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущенные голоса: "Что это?"

Собрание? Или суд?!", – Позвольте, товарищи, позвольте! – властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбаловалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени, – вы что же, получается, против критики и самокритики? – И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял:

– Самокритика есть высший движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса!

Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении! И тут не может быть двух мнений, товарищи! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно! Нам нужна деловая критика, то есть, критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров!

Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма!

И отойдя к графину с водой, глотал еще один порошок.

Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый

коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция («преступно-халатное отношение к работе», «граничащее с саботажем невыполнение сроков») – единогласно голосовал за резолюцию.

Иногда даже сходилась так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развернутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком составить резолюцию до собрания. Тогда после объявления председательствующего:

– Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов! – освобожденный секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так:

– Товарищи! Я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов, или:

– Товарищи! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я еще не написал, и в обоих случаях:

– Прошу поэтому голосовать резолюцию е целом, а завтра на досуге я ее подработаю.

И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узная), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга еще и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его «Борис Сергеич». Принимая это как должное, он, однако, никого на всем объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

– Выставляй шара, товарищ Шикин!

– От борта, товарищ Клыкачев!

Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал.

Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: «Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении – и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали свое ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться – а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарем освобожденным также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоянием, с такой убежденностью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противуречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильем, – освобожденный секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас:

– Ну, что ж поделать, товарищи. Это – ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Все же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо.

Еще он пил водку – но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельна вредна его здоровью.

По этой причине сам он ее никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки.

«Молодые» между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

– Друзья мои! Он – пророк глубокой чернильницы. Он – душа отпечатанной бумажки.

Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачев улыбался с оскалом:

– Желторотые! Попадись мы ему между зубами – он нас с дерьмом схамает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился.

По-вашему, это зря: каждое собрание – разносную резолюцию? Он историю Марфина этим пишет! Он пре-ду-смо-три-тельно материальчики накапливает: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобожденный секретарь сигнализировал, внимание общественности – приковывал.

В недобросовестном освещении Клыкачева Степанов представлял человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и не правдами выращивающим трех сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трех он определил на исторический факультет, зная, что история для марксиста наука не трудная. Расчет у него был как будто и верен, но не учел он (как и единый государственный план просвещения), что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же окончит третий – вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трех свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и может быть даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У нее неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросенка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера, в воскресенье, на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Марфино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть-на семь, посмотрел на худой заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

– Да, Степанов, – а как у тебя с иудеями?

– С иу... кем? – наострился дослышать Степанов.

– С иудеями. – И видя непонимание собеседника, пояснил:

– Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию, а когда-то и к стенке ставили, Степанов неопределенно пробормотал:

– Е-есть...

– Ну, и что ты там с ними думаешь?..

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятении Степанов перечел в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний – но черные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросенком, он думал, думал и в отчаянии скреб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость! А теперь – позор! – испытанный работник, Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачева...

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в билиард (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобожденный секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из четырех голов Основоположников внакладку был сви-детелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по

три шара зараз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бесстрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнуренный, он наконец услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычной комсомольской и партийной политучеб, но собрать всех людей на лекцию «Диалектический материализм – передовое мировоззрение», которую прочтет лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед границей.

Освобожденный секретарь воспрял, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал бильярд за шкаф.

Еще то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросенок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром.

Это давало надежду дешево и хорошо его откормить.

## 79

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин.

Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: «мы, чекисты». Но для Шикина он все равно оставался тем прежним – врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощенным, даже принятым в лоно госбезопасности, но не невиновным! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда Органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны! Старательного большеголового коротышку-майора задевала роскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нес бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение свое и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развернутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных зэ-ка и с введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но все же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, – там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскорузлости высокого положения – самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло свое отрицание: за все ответственный, полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Еще эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы.

Войну эту он вел по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели – изгнать его, и способны были – погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз,

но духовно закрыл их – и покинул свое рыхлое тело в кителе и перенесся к себе домой.

Дом мой! Мой дом – моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы.

Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны.

Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечущие девочки (увы, уже и их заглатывает школа, как казенная задуривающая служба) потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дерганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи – но нет в твоём доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук, унижительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог – а оставался бы только в своём маленьком уютном мире, в своём доме.

Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал – интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат – усотеренных Шахмат.

Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать её – в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты.

Вращаясь среди видных гебистов, Яконов нет-нет да и слышал подробности, не доступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И ещё у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток-Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущее.

За кого же был он? Душою – за Запад. Но он вер-но знал победителя и не ставил ни фишки против него: победителем будет Советский Союз. Яконов понял это ещё после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречён именно потому, что хорошо жил – и не имел воли рисковать жизнью, чтоб эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, эту жажду оттяжки боя – обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Все, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные.

Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все уроки.

Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу: «все люди – сволочи». И сколько жил он потом – истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди – сволочи, то никогда не надо делать «для людей», а только для себя. И никакого нет «общественного алтаря», и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И все это очень давно и очень просто выражено самим народом: «своя рубашка ближе к телу».

Поэтому блюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого.

Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим – проводить за решеткой? Нет! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрекся от мира эжков. Четырёх просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы

из других рук или получил бы не сразу. Власть причинила ему зло, она была взбалмошна, бездарна, жестока – но в жестокости и была ведь сила, ее вернейшее проявление!

И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только (если) примут.

Шикин тем временем протягивал ему список эзков, обреченных на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда еще двоих из настольного блокнота Яконова.

Договоренность же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих двух надо было срочно «подработать» и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако, кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадежны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного – шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развел пальцами.

– Оставьте список мне. Я еще подумаю. И вы подумайте. Созвонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо было сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в 21-ю комнату пускали заключенного Рубина, пускали Ройтмана, – а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал негодование:

«Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не смею.»

На самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Рюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых Шахматах. Потом своя буря заставила забыть все. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить все Ройтману (дело хлипкое, мальчик горячий, может и шею свернет). Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова, и ему-таки было обидно, что его в 21-ю комнату не пускают.

Шикин ушел, Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало – а вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперед абсолютный шифратор – это спасет его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошел с пустыми руками Сологдин – стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобностей не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список имен-отчеств под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

– Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошел ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

– Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз? – рокотал Яконов.

– На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертеж главного узла абсолютного шифратора... Да что же вы не садитесь?..

Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя вполборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:

– Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

– Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определенной похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения – будем думать. Хотите, позовем Владимира Эрастовича?

Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был – инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долго-выношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое еще оставляла ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбался.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом – двенадцать.

Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил четко:

– И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

– Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист. А на погонах его, золотых с голубой окаемкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного Горной Закртыки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие – золотые, с голубой окаемкой и треугольником три звезды, только мельче.

– Наброска этого больше нет, – дрогнул голос Сологдина. – Найдя в нем глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжег.

(Он вонзил шпагу и дважды ее повернул.) Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затрудненное дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

– То есть... Как?... Своими руками?

– Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали. – Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

– Сегодня? Так может он еще цел? – с живой надеждой подвинулся Яконов.

– Сожжен. Я наблюдал в окно, – ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь разموжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял свое большое тело и переклонился над столом вперед.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Между их сцепленными взглядами металась разряды безумной частоты.

«Я уничтожу тебя!» – налились глаза полковника.

«Хомутай третий срок!» – кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошел к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

«Месяц. Один месяц. Неужели я погиб?» – до мелкой черточки прояснилось полковнику.

«Третий срок. Нет, я его не переживу», – обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

«Инженер-инженер! Как ты мог?!» – пытал его взгляд.

Но и глаза Сологдина слепили блеском:

«Арестант-арестант! Ты все забыл!»

Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

И призрак желтокрылой Агнии второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном.

Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать – у Сологодина было заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза.

И ясно посмотрел на Сологодина.

Сологдин старался выстоять ровно еще эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник оперся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключенного.

В три твердых шага Сологдин подошел к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

– Сологдин, вы – москвич?

– Да.

– Вон, посмотрите, – сказал ему Яконов. – Вы видите на шоссе автобусную остановку?

Ее хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

– Отсюда полчаса езды до центра Москвы, – тихо рассказывал Яконов. – На этот автобус вы могли бы садиться в июне-в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск – и поехали бы к Черному морю. Купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключенных не пускают никогда!

– Почему? На лесосплаве, – возразил Сологдин.

– Хорошенькое купанье! Но вы попадете на такой север, где реки никогда не вскрываются...

Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем – мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожуними, спускайся в каторжный лагерь...

– Сологди-ин! – нарапев и с мучением выстонал Яконов и две руки, как падая, положил на плечи арестанта. – Вы наверно можете все восстановить!

Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне: зачем вы сожгли чертеж??

Была все так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологодина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову.

Голубой кружочек, черная дырочка посередине – а за ними целый неожиданный мир одного единственного человека.

Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты.

Все пути событий подчинены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного потерянного развращенного народа?

– А как вы думаете? – вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

– Не понимаю, – Яконов снял руки и пошел прочь.

– Самоубийца – не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

– Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому неизвестен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Яконов резко повернулся.

– ... Если бы я не сжег чертежа, а положил его перед вами готовым – наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чем.

Яконов дослушивал Сологодина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошел!) – Так вы... беретесь восстановить чертеж?! – Это не инженер-полковник

спросил, а отчаявшийся измученный безвластный человек.

– То, что было на моем листе – в три дня! – сверкнул глазами Сологдин. – А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит?

– Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!! – не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чертову инженеру.

– Хорошо, получите в месяц, – холодно подтвердил Сологдин.

Но тут Яконова отбросило в подозрение.

– Погодите, – остановил он. – Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нем глубокие, непоправимые ошибки...

– О-о! – открыто засмеялся Сологдин. – Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там все верно!

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провел этот разговор.

– Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развел пальцами.

– Вряд ли, Антон Николаич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским? *Le hasard est roi!* Его величество Случай!

Он очень редко мелькает нам в жизни – и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины!

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

– Так что будем делать? – дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал как по-печатному, как о решенном давно:

– Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приемчика. Я ведь не ошибаюсь?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчен и без этого!

– К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжен. Теперь, если вы дорожите моим проектом – найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае – замминистру. И пусть приказ о моем назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия – и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.

Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошел лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стеклами очков.

– Так, Антон Николаевич, – сказал он строго. – Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.

– Значит, я жду приказа? – встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твердо.

Яконов даже не сразу вник, о чем это так оживленно говорил парторг.

– Товарищ Яконов! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьезные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить – безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоем подработаем резолюцию, потом соберем открытое партсоборание – и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадежные еще вчера, круто поправлялись.

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счет.

Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Ее нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухую дверь, с глазу на глаз, духовный отец – кум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нем нет греховных смутных мыслей, – передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нем была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхвачанное на цитаты в досье, получившее внутри себя черную размазанную печать цензуры, – теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, – это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, – и их подшивали в его тюремное дело.) Итак, список был вывешен – и становились в очередь за письмами. Еще становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить свое письмо за декабрь – его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга "а иногда и знали точно, кто закладывает их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

Хотя советское тюремоведение и не опиралось прямо на опыт Катона Старшего, но верно следовало его завету: не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно.

По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, неотетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая – человек сорок, и в коридоре не помещалась.

Помощник дежурного, шепотной старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровьем. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам все время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шепотной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридону вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всем – и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запырился, упорствовал – и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил все равно не в перерыв, чтоб не толкаться) – Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, за-моренный инженер из Семерки, один из основных ее работников. Больше трех месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: «нет», «не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск – розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и,

перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти – и первым в очереди стал озорно-сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

– Иду деньги получать. Заработанные.

– Пройдите! – скомандовал старшина.

Доронин рванул вперед навстречу пониклому возврату Дырсина.

– Ну, что? – уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина еще вытянулось:

– Не знаю. Говорит – письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

– ...яди они! – уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. – Я тебе давно говорю – зажимают письма. Откажись работать!

– Второй срок припаяют, – вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему еще было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остается до освобождения. Дырсин же разменял последний год.

Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нем ни высоты, ни куполообразности – грязная брезентовая крыша, натянутая над землей. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестан-ты шарашки отказались от прогулки.

Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра – они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравер-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать – не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашев-Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шел, глядя поверх голов гуляющих и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попорано человеческое достоинство, жить дальше – значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обернутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения» Бозэция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей – Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетесов, принципиально в лагерном бушлате; юркий, во все сующийся Пряничков; лидер немцев Макс; и один из латышей.

– Страна должна знать своих стукачей! – повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

– Да мы их в основном и так знаем, – отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании веселый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей!

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутненным взглядом обер-стукач, премьер стукачей, Артур Сиромеха. Он оглядел группу по привычке замечать все, но еще не придавал ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошел от группы.

Третьим к куму зашел инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге предлагавший приравнять министров к ассенизаторам, а потом как ребенок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвертым быстрой легкой походкой прошел Виктор Любимичев – парень «свой в доску». В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов – всех подкупающе звал «братцы». Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углубленный в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Так же не видя, сошел с нее в сторону – и никто из группы «охотников» не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, еще молодые вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт (а оттуда – в плен, а из плена – в тюрьму) оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, – дорогой светленький клубочек все тянул его ниточкой Ариадны – как-нибудь пережить и вернуться.

Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

"Здравствуй, дорогой папа!

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать.

Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить – поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чем я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание.

Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать – согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь – приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свиданья.

Целую.

Ариадна.

Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины."

– Любимичева будем проверять? – спросил Хоробров в ожидании его выхода.

– Что ты, Терентьич! Любимичев – парень наш! – ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьем что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила международного Красного Креста, – в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И еще было две возможности выжить – могильщиком и золотарем. За рытье могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с

уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мертвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жадной еще нежившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрет, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность – приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук – и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них – и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтеров тут же кормили кашей «от пуза». После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогезам партизан «движения сопротивления», потом отбивался на Атлантическом Валу от союзников. В сорок пятом году во времена великого лова он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив ее на первом месяце, был арестован за прошлое.

Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого «движения сопротивления», за которыми он гонялся по Вогезам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну – по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, от рядового парня до члена Политбюро, никаких «убеждений» никогда не было и быть не может – и у тех, кто их судит – тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу «охотников», но сам подошел к ней и спросил:

– Братцы! Кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

– Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?

– Да где много! – отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчета. Но пока он разговаривал с Хоробровом, – Булатов словно в шутку наклонился, искособочился и прочел:

– Фу-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Климентиадисов харч!

Сделай это любой другой зэк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало, чтоб он предполагал у своего подчиненного изобилие денег, это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался:

– Да где тысяча, смотри!

И все увидели: 147 р. 00 к.

– Во, чудно! Не могли полтора ста прислать! – невозмутимо заметил Амантай. – Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова, – как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное – это стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. Сам пострадавший от стукачей, видевший гибель многих – и все от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту – сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, – оказался такая добровольная гадина!

– С-сволочь ты! – проговорил Хоробров дрожащими губами. – На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передернулся и отвел руку для короткого боксерского удара.

– Ух ты, падаль вятская! – предупредил он.

– Что ты, Терентьич! – еще раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетесов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в нее.

– Мальчик, мальчик! – сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой

тихостью, которая дается напряжением всего тела. – Что, как партиец с пар-тийцем поговорим?

Любимичев круто обернулся к Двоетесову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетесова.

И Любимичев не отвел второй руки для удара. В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадет мертвым.

– Мальчик, мальчик, – залаженно повторял Двоетесов. – На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошел к трапу. Его атласные щеки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровом. Он сам еще не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось – еще не понимает.

И как могли догадаться? Откуда?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:

– Мать моя родная! Кому ж теперь верить?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе ее не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки.

Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди все видел сквозь дверь и, припомнив Руську – понял до конца!

Он заметался.

– Ребята! – обратился он к передним, – у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите? Я быстро.

– У всех схема под током!

– У всех ребенок! – ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

– Пойду выключу! – озабоченно объявил Сиромаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей.

Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры – и ничего нельзя было сделать!

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт го-нимого зверя сильнее желания выслужиться: было страшно идти опять мимо этой распаленно-злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода.

Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели еще раскурочить) собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнес аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец неродной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно места рождения жены. Мышин раззявил пасть и засмеялся: «Что вы ее – из бардака взяли?»

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании – в заветрии у стволов трех лип, вокруг Абрамсона.

Абрамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по

возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Абрамсона имели от рождения узкий долгий разрез, и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключенных: все повторялось, ничем новым не мог его поразить Архипелаг ГУЛаг. Абрамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали еще одного стукача – с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется по какой ошибке его вызвали.

Когда же перевод вытащили силой и стали срамить – Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но, всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у нее не хватило трех рублей, и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную – и он там достанет это письмо и покажет. И еще, трясая своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочашегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирожденное свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его посадки за недоносительство, и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал:

– Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь! – на воле за тысячи не пошел, а здесь на сотни польстился!

Или уж так напугали его лагерем?..

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех – если б не поймали еще одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушел.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

– Ну?! – усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. – А про Любимичева слышал?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

– Качать тебя, качать! Но – боюсь за тебя.

– Хо! Я только разворачиваюсь, подожди, это цве-тики!

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошел дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Пряничкова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

– Ха-ха, парниша! – приветствовал тот. – Вы все представление пропустили! А где Лев?

– У него срочная работа. На перерыв не вышел.

– Что? Срочней Семерки? Ха-ха! Такой не бывает.

Убежал.

Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бобынин со стриженной головой, в любую погоду без шапки, и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бобынин мог всего Герасимовича заглотнуть и поместить в себе.

Герасимович ежился от ветра, держал руки в боковых карманах – и, щуплый, походил на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему наперехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошел маленький Герасимович.

– Александр Евдокимыч!

Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым.

К тому ж они друг друга и знали мало, почти никак.

Но Бобынин дал стоп:

– Слушаю вас.

– У меня к вам один научно-исследовательский вопрос.

– Пожалуйста.

И они пошли рядом, со средней скоростью.

Однако, полкруга Герасимович промолчал. И лишь тогда сформулировал:

– Вам не бывает стыдно?

Бобынин от удивления крутанул чугуном головы, посмотрел на спутника (но они шли). Потом – вперед по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.

Добрых три четверти круга он продумал и ответил:

– И даже как!

Четверть круга.

– А – зачем тогда?

Полкруга.

– Черт, все-таки жить хочется...

Четверть круга.

– ... Сам недоумеваю.

Еще четверть.

– ... Разные бывают минуты... Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось.

Но я соврал: а – здоровье? а – надежда? Вполне реальный первый кандидат... Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая... И дети... Да и потом это проклятое интересно, вот сейчас интересно... Я, конечно, презираю себя за это чувство... Разные минуты... Министр хотел на меня навалиться – я его отпер. А так, само по себе, втягиваешься... Стыдно, конечно...

Помолчали.

– Так не корите, что система плоха. Сами виноваты. Полный круг.

– Александр Евдокимыч! Ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу?

– А вы? – с интересом быстро метнул взгляд Бобынин.

– Никогда.

– Уверены?

– Никогда.

Круг. Но какой-то другой.

– Так вот задумаешься иногда: что это за люди, которые делают им атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься – да такие же, наверно...

Может, еще на политучебу ходят...

– Ну уж!

– А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает.

Осьмушка.

– Я думаю так, – развивал малыш. – Ученый либо должен все знать о политике – и разведанные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмет политику в руки сам! – но это невозможно... Либо вообще о ней не судить, как о мути, как о черном ящике. А рассуждать чисто этически: могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? А то делают по болоту один наивный шаг: «нам

грозит Америка»... Это – детский ляпсус, а не рассуждение ученого.

– Но, – возразил великан, – а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент?

– Не знаю, может быть – тоже. Может быть – никому... Мы, ученые, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира дает возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное вполне общее решение и действовать по нему.

Круг.

– Да...

Круг.

– Да, может быть...

Четвертушка.

– Давайте завтра в обед продолжим этот коллоквиум. Вас... Илларион...?

– Павлович.

Еще незамкнутый круг, подкова.

– И особо – в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине – «Русь уходящая». Вы ничего не слышали?

– Нет.

– Ну, да она еще не написана. И может быть совсем не так. Тут – название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели – их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники – их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты – их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари – нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги – никого, никого их нет! Мохнатая черная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился через всю чуму – это мы, техно-элита. Инженеров и ученых, нас арестовывали и расстреливали все-таки меньше других. Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья – обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты – не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто?.. И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов – неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и может быть атомную бомбу? – лишь бы только было нам хорошо? И интересно? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?

– Это очень серьезно, – кузнечным мехомдохнул Бобынин. – Продолжим завтра, ладно?

Уже был звонок на работу.

Герасимович увидел Нержина и договорился встретиться с ним после девяти часов вечера на задней лестнице в ателье художника.

Он ведь обещал ему – о разумно построенном обществе.

По сравнению с работой майора Шикина в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был – чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы были – что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за работу, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации – майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал также на

подсматривание через прозрачную занавеску: что делалось на прогулочном дворе. (Шикин, из-за неудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишен такой возможности.) Наблюдения за заключенными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей – видел, кто с кем ходил, говорил ли оживленно или равнодушно. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огоршить:

– Кстати, о чем вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?

И иногда получал таким образом от растерянного арестанта небесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже подглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел – она шла у другого конца здания.) В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и неуспевших попасть на прием рассеял шепотной старшина, – велено было допустить Дырзина.

Иван Феофанович Дырзин был награжден от природы углоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нем, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семерке сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягченная зачетами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за «антисоветскую агитацию» – по доносу соседей, метивших на его квартиру (и потом получивших ее). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вел, но мог ее вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но мог его слушать, так как имел дома запрещенный радиоприемник.

Правда, такого приемника он не имел, но вполне мог его иметь, так как по специальности был инженер-радиотехник, а по доносу у него нашли в коробочке две радио-лампы.

Дырзину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет – и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой «Лагерный Пункт», прибитой на первой таежной сосне. За восемь лет, что Дырзин пробыл в стране ГУЛаг, умерли два их ребенка, стала костлявой старухой жена, – об эту пору вспомнили, что он – инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да еще сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасна-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щеки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожженного глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию.

Никогда такого не случалось! Мышин предложил сесть (Дырзин уже стал перебирать, какую беду он мог нажать и о чем будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

– Вот вы все жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.

– Больше трех, гражданин начальник! – робко напомнил Дырзин.

– Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

– Что за человек ваша жена. А?

– Я... не понимаю... – пролепетал Дырзин.

– Ну, чего не понимать? Политическое лицо ее – какое?

Дырсин побледнел. Не ко всему еще, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь ее, накануне его освобождения...

Он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.) – Она – нытик, а нытики нам не нужны, – твердо разъяснял майор. – И какая-то странная у нее слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

– Ради Бога! Что с ней случилось?! – болтая головой, воскликнул умоляюще Дырсин.

– С ней? – еще с большими паузами говорил Мышин. – С ней? Ничего. – (Дырсин выдохнул.) – Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

– Благодарю вас! – задыхаясь, сказал Дырсин. – Можно идти?

– Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о воле по таким письмам? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти оберточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18 сентября:

"Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе поехать – ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали – такого здесь нету, а мать и отец ее ругали – зачем поехала, теперь мол и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л.В. они совсем даже не разговаривают.

Живем мы плохо. Бабушка, ведь, третий год ле-жит, не встает, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л.В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье ее плохое, дети ее не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?

Ну, целую тебя крепко. Будь здоров."

И даже не было подписи, или слова «твоя».

Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтет и перечтет это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

– Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлет хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора – но даже упрека не выражало, а только боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради.

"30 октября.

Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Еще, слава Богу, осень теплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добыешься, только начальству или по благу.

Недавно вязанка свалилась со спины, тащу ее прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: «Старушка, везущая хворосту воз!» Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки сов-сем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжелых не берут, им невыгодно.

Приходится мне и Л.В. ее каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л.В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей.

Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет.

Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет.

Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего.

Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась – так на демонстрацию перетяся..."

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

– Ну? Вы прочли, или что? Вроде, не читаете. Вот, вы человек взрослый.

Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока давали. Демонстрация всем – радость, а ей – «перетяся»? Уголь! Уголь – не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал, давать ли, нет – но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал – надо это дело кончать.

Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что все наладится. Вон, там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

"Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., все обошлось дешево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму.

Теперь в доме стало немного поти-ше, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л.В., наверно, туберкулез, она кашляет и даже горлом идет кровь, как придет с работы – так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая – вот еще зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.

Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я) – а дают одну пыль, ну зачем ее брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шоферу, уж он привез крупного угля. А картошки до весны не хватит – с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.

С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же мол вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придется вводиться в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л.В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?

Очень красивая посуда продается в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров."

Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять – Дырсин все еще читает или уже кончил.

– Так вот, – спросил Мышин, – вам ясно?

Дырсин не шелохнулся.

– Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю – свыше четырех страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в бога верила. Да уж лучше пусть в бога, что ли... А то что ж это?.. Куда это?.. Успокойте ее, что скоро вернетесь. Что будете зарплату большую получать.

– Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?

– Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать – ваша обязанность. Все-таки, ваш друг жизни. – Майор помолчал. – Или, может, вам теперь молоденькую хочется? – сочувственно предположил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сиромаха.

## 83

В те редкие минуты, когда Артур Сиромаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напряженность леопарда, – он оказывался вялый молодой человек со стройной впрочем фигурой, с лицом артиста, утомленного ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы овлажненными печалью.

Два человека в запальчивости уже обзвали Сиромаху в лицо стукачом – и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись.

Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинен в подготовке побега? террора? восстания? – он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? или везут в следственную тюрьму?

Такова человеческая природа, и ее хорошо используют тираны и тюремщики: пока человек еще мог бы ра-зоблачать предателей или звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим – в нем не убита надежда, он еще верит в благополучный исход, он еще цепляется за жалкие остатки благ – и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг – только каменная коробка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач – одни Сиромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить «о бабах». Так жили и с другими стукачами. Так – мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. «Сага о Форсайтах» была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрепанными детektивами.) У Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в Консерваторию.

Род Сиромах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Еще один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизненка с ежедневным корпением «от» и «до», с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощенной вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех знаменитых киноартисток, он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путем к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с легким перебрасыванием, с порханием – и та служба тоже

нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит – спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринужденно входил в ресторан «Савой» с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлинённом лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда тёплый, с запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик!) Все пело в Артуре, что он – на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми – подлой. Это шло от непонимания или от зависти!

Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть – это была артистическая работа. Да, ее надо было скрывать, она не существовала без тайны – но лишь по ее технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился – этически в этой работе не было ничего позорного!

Однажды, не уместясь в своем бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой ее.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был на лесоповал, ни в шахты, а устроен при Культурно-Воспитательной Части. Это был единственный в лагере огонек, единственный уголок, куда можно было на полчаса зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю не правдоподобную жизнь.

Лагерные Укропы Помидоровичи (как звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись – и очень у места был тут Артур с его артистической душой, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользить, скользить поговорить о чем угодно.

И так Артур быстро оформил несколько одиночных агитаторов; одну антисоветски-настроенную группу; два побега, еще не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское дело врачей, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключенных – то есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Марфино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сиромеха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе! Не одному, не трем – двадцати с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал еще несколькими, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, – и хотя через пятого-через шестого жил на шарашке стукач – ни один из них ничего не узнал, а может быть не донес, узнавши! И самый наблюдательный, самый чутконосый премьер-стукач Артур Сиромеха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня!

Теперь была задета и его честь осведомителя – пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он?? И прямая его безопасность – так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сиромехи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг – так и ударить его надо было проворно! (Впрочем, еще не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера.) Но Сиромеха не мог прорваться в кабинеты! Нельзя было терять голову, ломиться в запёртую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь! Ее разогнали по трехчасовому звонку, но пока самые надоедливые и упрямые зэки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромеха со страдающим видом, держась за живот, пришел к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа

разойдется) – уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчетам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума – а он там сидел, и сидел, и сидел. Рискую заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семерки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в темном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась – и Шикин показался в нешироком растворе двери.

– Очень срочно! – шепотом сказал Сиромаха.

– Минуту, – ответил Шикин.

И легкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушел далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

## 84

После недельного следствия по «Делу о токарном станке» суть происшествия все еще оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей супорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории №3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских (был путь короче, без опускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать эков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности).

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней – а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория №3, имеющая в своем составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключенных (даже списка их никто не составил! – и майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) – и эти десять эков спустили-таки тяжелый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролера-приемщика. Десять же мобилизованных эков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, еще несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец, пришли за ним люди из мехмастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и еще три дня не брали станка, пока их все-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести «Дело».

Может быть и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуя еще не разоблаченные враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель, и то затруханный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишки. И единственно, в чем он помог, это восстановить полный список десяти человек.

В остальном же все десять эков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиною не положили, об ступеньки ее не били. И еще как-то так получилось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной, майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно, кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства, – это инженера Потапова. Разозлясь от трехчасового допроса, он проговорился:

– Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и все! Какой смысл станину колотить?!

Эту фразу матерого диверсанта Шикин сейчас же занес в протокол, но Потапов отказался подписать.

Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паек, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам: здесь надо было, чтоб они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать.

И все-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного эка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, – навстречу им попался дворник Спиридон и с криком:

«Стой, братки, поднесем!» – тоже взялся одиннадцатым и донес до места.

И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника – и тот пришел, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял ее в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядев на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтенному пораженный преступностью Егорова, он вскидывал на него изумленный взгляд как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (все это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому – но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча все переключивал толстые папки,

что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетенного, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

– А ну, подойди ближе! – (Спиридон подошел.) – Стой. Вот этого – знаешь, нет? – И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

– Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я ее облазю.

Шикин разрешил. Все так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за ребра и, по-разному наклоняя ее к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

– Не, – облегченно вздохнул он. – Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

– Очень плохо, Егоров, – сокрушенно сказал он. – От заперательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь, – он указал на стул подальше. – Разговор у нас долгий, на ногах не прстоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятясь, отошел к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперед и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

«Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно?»

Спиридону, выдавшему в своей жизни и два следствия и одно переследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стеклышка. Однако, он знал, что надо притворяться, будто веришь.

– В общем, пришли на вас новые материалы, – тяжело вздохнул Шикин. – В Германии-то вы, оказывается, штучки отка-а-львали!..

– Может, то еще не я! – успокоил его Спиридон. – Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!

– Ну, как не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста, – ткнул Шикин пальцем в папку. – И год рождения, все.

– И год рождения? Тогда не я! – убежденно говорил Спиридон. – Я-то ведь себе у немцев для спокойя три года прибрехивал.

– Да! – вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. – Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.

– Ну-ну, – сказал Спиридон.

– Так вот, трахнули вы его где? – еще на лестнице или уже в коридоре?

– Кого? – удивился Спиридон. – Мы не дрались.

– Станок! – кого!

– Да Бог с вами, гражданин майор, – зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?

– Вот я и сам удивляюсь – зачем разбили? Может – обронили?

– Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкой, как ребенка малого.

– Да ты-то сам – где держал?

– Я? Отсюдова, значит.

– Откуда?

– Ну, с моей стороны.

– Ну, ты брал – под заднюю бабку или под шпиндель?

– Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу! – Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. – Я,

значит, спустевшись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли – ну?

– Кто – двое?

– Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся.

Стой! – кричу, – дай перехвачу! А тюлька-то во!

– Какая тюлька?

– Ну, что не понимаешь? – через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон.

– Ну, несли которую.

– Станок, что ли?

– Ну, станок! Я – враз и перехвати! Вот так. – Он показал и напрягся, приседая. – Тут один протискался сбочь, другой пропихнулся, а втрою – чего не удержать? фу-у! – Он распрямился. – Да у нас по колхозной поре не такую тяжесть таскают. Шесть баб на твой станок – золотое дело, версту пронесут. Где той станок?

– пойдём, сейчас за потеху подыдем!

– Значит, не уроняли? – угрожающе спросил майор.

– Не ж, говорю!

– Так кто разбил?

– Все ж таки ухайдакали? – поразился и Спиридон. – Да-а-а... – Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.

– С места-то его взяли – целый был?

– Вот, чего не видал – не скажу, может и поломанный.

– Ну, а когда ставили – какой был?

– Вот тут уж – целый!

– Да трещина в станине была?

– Никакой трещины не было, – убежденно ответил Спиридон.

– Да как же ты разглядел, черт слепой? Ты же – слепой?

– Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, – а по хозяйству все вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я все чисто согребаю, хоть со снега белого – а все согребаю. У коменданта – спросите.

– Так что вы? Станок поставили и специально осматривали?

– А как же? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.

– Похлопали? Чем?

– Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер еще сказал: «Хорош станочек! Мой дед токарем был – на таком работал».

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

– Очень плохо, что ты и тут не сознаешься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты – ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял.

Хотя господин положения был он, и допрос вел он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживленный разговор о станке, – этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, – если сразу не поддался, то теперь – тем более.

Про себя Спиридон, еще когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была тухта, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка – вдиви бы было, если б его не вызвали – тех десятерых неделю полную трясли, как груш. И целую жизнь привыкнув обманывать власти, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как теркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И еще: хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал

вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался четкий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого Сирوماху, умевшего всегда в два слова высказать главное.

Сирوماха вошел мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Сирوماхи среди стукачей шарашки равняла его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

– Доронин ходит-показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, еще человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе.

Доронин – ваш?..

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходяще самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сирوماха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

– Товарищ майор! – напомнил он (как арестант он не смел сказать «товарищ», но должен был сказать, как друг!), – непрямо! Не дайте ему приготовиться!

Это была элементарная тюремная истина! – но даже ее пришлось напомнить!

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сирوماха отошел к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

– Я – пойду, товарищ майор? – почти не спросил Сирوماха. – Что узнаю еще – к вечеру или утром.

В растарашенные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

– Девять грамм ему, гаду! – с сипением вырвались его первые слова. – Оформлю!

Сирوماха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Марфино, но во всей истории Органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда темной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тамарой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с нее пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в еще не снятой алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трех шагах от нее, и впился в ее лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь!) и сказала:

– Ростислав Вадимович! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

.Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, – но глаза ее были уже не те глаза! Их подменили! Какой-то безжизненный туск наплыл на них...

Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, – Руська шел и думал только о ее выражении. Еще из дверей он обернулся на нее – увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней?..

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную

настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость, – а дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление черного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сирوماхи, если бы Шикин позвонил в Вакуумную сам, – Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил, – наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, увезти с собой или восторженную веру в нее или самому освободиться от верности, – а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться, – чтобы не вызвать подозрения, если его еще нет, – и все-таки Руська повернулся сбежать по лестнице – но отнизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошел к Шикину.

Он вошел, за несколько шагов приструня себя, преобразясь лицом.

Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры, – он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенесся в круг новых мыслей и опасностей, – и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя:

– Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой! – но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Из рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

– Ах ты, сволочь! Продаешь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как в гуманнейшей из стран была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблаченный осведомитель не строили иллюзий: с неуютным человеком что ж было делать, если его не расстрелять?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнувшей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил:

– Насчет расстрелять – это надо подумать, гражданин майор. Посажу я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются – а вы зарплату получаете?

Снимут погончики! Насчет расстрелять – это подумать надо...

## 85

Наша способность к подвигу, то есть к поступку, необычайному для сил единичного человека, отчасти создается нашею волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелее всего дается нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче – если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного. И с благословенной легкостью, если подвиг был нам природен: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском – с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы – скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он звонил в посольство – порывом, плохо обдуманно. Он узнал внезапно – и было поздно откладывать на те несколько дней, когда он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в одержимости, хотя знал, что все телефоны прослушиваются, и их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля.

Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу – и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но все же он не представлял ударяющего мозжащего каменного дна. Он может быть таил еще где-то дерзкую надежду выпорхнуть, уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам.

Но еще и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа.

Оборвался натяг его короткой решимости – и страх разорвал и выжигал его.

Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Иннокентий еще держался, сколько мог, с достоинством, но внутри уже был разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спастись.

Еще не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приема и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешенный его отъезд! На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом... Значит он раскрыт...

Как-то видя все потемневшим и плечи чувствуя как бы оттянутыми полными ведрами, он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали – он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки.

Все внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль – не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полета – и все разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчет экспертов – задолженность Иннокентия.

Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчет. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, знобко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лег на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нем.

Неужели это он? он! осмелился звонить в посольство?! И – зачем?

Позвоните – оф Кэнеда... А кто такой ви? А откуда я знаю, что ви говорить правду?.. О, самонадеянные американцы! Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров! Они – заслужили...

Не надо было звонить. Жаль – себя. В тридцать лет кончать жизнь. Может быть в пытках.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вел его тогда, и не было страшно.

Не то, что не жалел, – а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорей это все кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не

звонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освеженный, а в еще более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться – не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, – и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шел арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменился.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим еще подбодрился.

А все-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать...

Покончить с собой – это была бы простая мера благоразумия, это было просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его – не сразу, потом – слышно-слышно застучало.

А оказалось – Дотти, ее удивительно-музыкальный по телефону голос. Она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая-не плохая жена, а ближе всех!

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности – ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале!

– Ну, возьми на что-нибудь веселенькое, – сказал Иннокентий.

– В оперетту, что ли? – спрашивала Дотти. – «Аку-лина» какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене «Закон Ликурга», премьеры, на большой – «Голос Америки». Во МХАТе – «Незабываемый».

– "Закон Ликурга" звучит слишком заманчиво. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на «Акулину», ладно. А потом закатимся в ресторан.

– О кэй! о кэй! – смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли! Ведь они приходят ночами!) Постепенно токи воли возвращались в Иннокентия. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Шевронок и Заварзин – те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть еще раньше. Подозрение – это еще не доказательство!

Хорошо, допустим – арест угрожает. Но помешать этому – способов нет.

Прятать? Нечего. Так о чем заботиться?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? Или наоборот, последние дни – наслаждаться ожесточенно?

И почему он так перепугался? Черт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура – отчего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать ее, отодвинув отчет экспертов. И нашел:

«Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла.»

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддавалась. Он прочел дальше:

«Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет – и поэтому смерть для нас – не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы – смерти нет, а когда смерть наступит – нет нас.»

А это здорово, – откинулся Иннокентий. – И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере.

Иннокентий представил себе Сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней – а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

«Вера в бессмертие родилась из жадности ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти – насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью.»

Блестяще сказано! Но вот беда: если не природа оттаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а МГБ, и – тридцатилетнего?..

«Не должно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранен от страха. Продолжительное страдание – всегда незначительно, сильное – непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернет ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души.»

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся – не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку? О, если бы такая твердость!

Но не находил он ее в себе.

А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны.

Атомная бомба у коммунистов – и планета погибла.

В подземельи застрелят как собаку, а «дело» запрут за тысячью замков.

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряженное горло прошла в грудь.

Да нет, если б о нем объявили – ему не легче было бы, а жутче: мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? – изменник. Кто Грозный? – родной отец.

Только тот Курбский ушел от своего Грозного, а Иннокентий не успел.

Если бы объявили – соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? – хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы – и американские будут отданы под интернациональный замок?

Главное: как посмел он решать за отечество, если это право – только верхнего кресла, и больше ничье?

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? – значит, ты не дал ее Родине!

А зачем она – Родине? Зачем она – деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задущенным цыпленком? тому залатанному одноногому мужику?

И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже не поймет, порознь. А сгонят на общее собрание – осудят единогласно...

Им нужны дороги, ткани, доски, стекла, им верните молоко, хлеб, еще может быть колокольный звон – но зачем им атомная бомба?

А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству.

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

В сумерках черный долгий «ЗИМ», проехав распахнутые для него ворота вахты, еще надал на асфальтовых извилах марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую «победу» и с разлету, как вкопанный, остановился у парадных каменных входов.

Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папаше вышел, распрямился и – адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание – озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная.

Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он ее не сдаст). Он шинели не сдал, папаша не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько ззков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папаше величественно, но с усилием идти быстрее, как того требовали обстоятельства, поднимался.

Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

– Пойди найди Ройтмана, – сказал ему через плечо Осколупов, – предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошел в противоположную сторону – к Семерке. Увидевший его в спину дежурный по объекту «сел» на телефон – искать и предупредить Яконова.

В Семерке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, после долгих месяцев наладки, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодером началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора:

Любимичев и Сиромаша (входная дверь всегда оставалась в уголке их настороженного зрения). Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры Семерки – Любимичев и Сиромаша участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете Семерки они многого нахватались.

Заметив Осколупова, оба бросили паяльники на подставки, Сиромаша метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и на цырлах понес его навстречу генералу, ловя указание, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева – рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, еще приказчиным движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону и – вместе с Сиромашой – они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний.

Фома Гурьянович сел, не снимая папаша, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории все смолкло, не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания

электромонтажникам, да Пряничков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разоренной стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошел Мамурин и изнеможенно приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недостижимо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца).

Мамурин дошел уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенес он удары минувших суток – гнев министра и разломку клиппера. Если еще могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом – они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе – они потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как Конек-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение – приход Пряничкова с вокодером под кров Семерки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчиненных – и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

– Ну, так что? Как дела? – И тем самым вынудил подчиненных высказываться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы.

Говорили нехотя, вздыхая, а если заговаривали сразу двое – оба уступали.

Два тона было в этом разговоре: «надо» и «трудно». «Надо» проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым-Сиромахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячечно денно и ночью изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клиппера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Пряничкова, значение же Маркушева возросло. И хотя сам он очень не любил работать на дядю, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, – сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семерке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был – человек, то есть из той распространенной породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных.

На лицах Любимичева и Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за все время командования Семеркой – молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий министерства Госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырчина, вина его в отсутствии энтузиазма. У Дырчина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришел Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоем на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную, за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить – не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идет на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, – но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошел к выходу, оставив полный состав Семерки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела Спецтехники.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести свое огрузное большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный инженер шел рядом с ним: Яконов был выше на голову, причем на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только должно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приема.

Но – чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологодина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря – убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придется быстро смягчиться.

Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу и с удовольствием оставлял его помучиться еще несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорбленность за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертеж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологодина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать; и вызовет Сологодина и начнет его припугивать и давать жестокие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход.

И так все это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

– У тебя Герасимович – что делает? – спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустил в стороне на стул.

– Герасимович?.. Да собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину – от чекистов».

– Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

«Спиридоновка» была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление – приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах: все, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтера, монтер приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях.

В дверь заглянул дежурный:

– Заключенный Герасимович.

– Пусть войдет, – кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабив и почти вываливаясь вправо и влево.

Герасимович вошел, поправляя на носу пенсне и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

– По вашему вызову, – сухо сказал он, приблизившись и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

– У-гм, – ответил Осколупов. – Садитесь.  
Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.  
– Вы... это... – вспоминал Фома Гурьянович. – Вы... – оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?  
– Да.  
– И вас это... – Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. – Вас хвалят. Да. Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:  
– Вы последнюю работу Бобра знаете?  
– Слышал.  
– У-гм. А что мы Бобра представили к досрочному?  
– Не знал.  
– Вот, знайте. Вам сколько сидеть осталось?  
– Три года.  
– До-олго! – удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. – Ой, до-олго! – (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил:  
«Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!») – Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?  
Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..  
Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:  
– Где ж ее возьмешь? В коридоре не валяется. Фома Гурьянович колыхнулся:  
– Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете – и к осени будете дома.  
– Какая ж работа, разрешите узнать?  
– Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках – там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это – не по вашей специальности?  
– Нет, это не по моей.  
– Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печет.  
И обе прямо по вашей специальности, – ведь так, Антон Николаич? – (Яконов поддакнул головой.) – Одно – это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультра-красных лучах. Чтоб значит ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идет, а он бы и до смерти не знал. Заграницей уже наметки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам – позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манехонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днем, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьметесь?  
Суженным худощавым лицом Герасимович был обернут к окнам и не смотрел на генерал-майора.  
В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.  
Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.  
Это было исполнение молитвы Наташи!..  
Ее иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.  
Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.  
А сделать надо было только то, что Бобер: вместо себя посадить за решетку сотню-две доверчивых лопухих вольняшек.  
Затрудненно, с препинанием Герасимович спросил:

– А на телевидении... нельзя бы остаться?

– Вы отказываетесь?! – изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. – По какой же причине?

Все законы жестокой страны эзков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тертых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой эсками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок.

Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.

– Зачем – причины? Не могу. Не справлюсь, – очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это кажется был еще один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубашка ближе к телу» не мог не сработать и здесь.

– Вы просто отвыкли от серьезных заданий, оттого и робеете, – убеждал Осколупов. – Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшою рукой подпер лоб и молчал.

Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни – крохотность незамечаемая.

– Но о чем вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у эзков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого вислощекого тупорылого выродка в генеральской папаше, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку.

– Нет! Это не по моей специальности! – звеняще пискнул он. – Сажать людей в тюрьму – не по моей специальности! Я – не ловец человеков!

Довольно, что нас посадили...

## 87

Рубин с утра был еще в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжелыми занавесями по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохоньким ковриком.

Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки катушек с лентами.

Надев наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом – представленные ему еще пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-"фонамам", то по «основному тону» различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закругленно-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Его темно-карие глаза казались огненными. Большая нечесанная черная борода была свалена клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъем, которого еще не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освеженным взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин, и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт эка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи все тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули.

Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нем.

Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаюсь понять ее назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал ее на свои деньги: он два часа «просидел на телефоне», созванивая и согласовывая этот паек сперва с Отделом Спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с Тюремным Управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами.

Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской «третьей» категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо важного государственного задания, добивался «первой», да еще диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребенка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полу дневной работы и включиться в нее тоже.

А Рубин все съел, и на его помягчвшееся лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:

– Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. *Satur venter non studet libenter* &lt;Сытое брюхо к учению глухо (лат.)&gt;. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

– Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвертого!

– Что-о? Я думал – двенадцати нет.

– Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства – что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если б Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

– Только начало! Только первые выводы, Адам Вениаминович!

– И – какие же?

– О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся

сегодня, есть-таки рациональное зерно!!

– А вы – не увлекаетесь, Лев Григорьевич? – предостерег Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

– А когда вы видели, чтоб я увлекался? – чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. – Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе – все, что Антон Николаич считал пустым времяпровождением, да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение! – все это дает теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забирать, как вы думаете?

– Если фирма развернется – отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

– Первое задание! Первое задание – это половина всей науки! Не так-то скоро.

– Но... то есть... Лев Григорьевич? Неужели вы не понимаете, насколько срочно все это надо?

О, еще бы он не понимал! «Надо» и «срочно» – на этих словах вырос комсомолец Левка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, – но было надо и надо срочно – и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных ученых изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич «срочно надо!» конечно же оставался внятн его душе и попирал привычку доделывать работу до конца.

Действительно, как же не срочно, если величайший государственный предатель может ускользнуть?..

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Все это делали они вдвоем, не обращая внимания на Смолосидова, – он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа ее как хмурый черный пес, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжелый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента – непринужденности: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали – один в сомненья, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперед его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперед выучка пятилеток и сознание партийного долга.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырех, которые задержаны у метро Сокольники (да и слишком поздно их задержали), и еще тех нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомленный в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых! Сравнили с преступником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

– А посмотрите, как много дает нам звуковидный анализ! – с горячностью показывал Рубин. – Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде?

Только сдвинулась интенсивность по частотам – индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие – речевой лад! Даже если преступник до конца говорил измененным голосом – он бы не скрыл своей характерности!

– Но мы еще плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, – упирался Ройтман. – Может быть в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усомниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчетливей. (Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов, и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы.) Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать ее приемы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться ее будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, организацию, которая когда-нибудь будет принята: единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щелку предупредил о скором приходе хозяина.

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником Отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого – уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определенность, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений, и твердо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронка и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

Напротив, запутывающим обстоятельством здесь было то, что по присланным данным, именно из трех отклоненных двое – Сяговитый и Петров, ни бум-бум не знали иностранных языков, Щевронка же знал английский и голландский, Володин – французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Мало вероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицания на знакомом ему языке.

– Вообще, Лев Григорьевич, – мечтательно говорил Ройтман, – мы не должны с вами пренебрегать и психо-логией. Надо все-таки представить себе – что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых.

Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фонокопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть – даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

– Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина: в разговоре с женой, – (этот разговор с женой, помимо сознания отвлекал и сбивал Рубина: голос вол одинокой жены был так напевен в телефон, что тревожил и уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина), – в разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасавшемуся преследования, и ничего подобного нет в веселом воскресном щебете Щевронка, я согласен. Но хороши мы будем,

если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник – Щевронюк. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр. – (На это-то никогда не хватало времени у филолога!) – Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он – преступник, – я почти без колебаний назвал бы Щевронюка!

– Но мы так не станем делать, Лев Григорьевич, – мягко возразил Ройтман. – Давайте поработаем измерителем, давайте переведем на язык цифр – тогда и будем говорить.

– Но ведь это сколько уйдет времени?! Ведь надо же срочно!

– Но если истина требует?

– Да вы посмотрите сами, посмотрите!.. – и перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронюка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривленной верхней губе видели, что он пришел резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

– Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощекое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана – даже в четких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронюк и Володин, однако для окончательного суждения нужны еще новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

– Но, кажется, Лев Григорьевич хочет что-то добавить или поправить?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решенный пень. Но сейчас он был также и – государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не присуща, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны еще магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:

– Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша «наука»? Мне – преступника надо поймать. Докладайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись.

Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Черным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

– Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что – среди этих пяти.

(А что он мог еще сказать?..) Фома теснее прищурил глаз.

– Вы – отвечаете за свои слова?

– Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

– Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять – именно их-то двоих и арестуют.) – Подождите, – возразил Рубин. – Ну, еще хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!

– А вот, следствие начнется – пожалуйста, на стол к следователю микрофон – и записывайте их хоть по три часа.

– Но один из них будет невиновен! – воскликнул Рубин.

– Как это – невиновен? – удивился Осколупов и полностью раскрыл зеленые глаза. – Совсем уж ни в чем и не виновен?.. Органы найдут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчиненных никогда не хвалить – чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от Самого.

А все-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали все, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и ненужна.

Если вместо одного можно арестовать двух, – то почему и не всех пятерых для верности?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана, – и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одиночества в нем опять посетило его.

А в Рубине угасла вся непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка.

Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему еще больше пяти лет, и с каждым годом все гнут и гнут революцию в болото аппаратчики проклятые – и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколата Рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что – а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединенная партийно-комсомольская политучеба и надо было, чтоб он шел загонять своих подчиненных и присутствовать сам.

Понедельник был не на одной шарашке Марфино, но и по всему Советскому Союзу установленный Центральным Комитетом партии день политучебы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье (по неотменному желанию Вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты).

Историю Партии Нового Типа прорабатывали очень углубленно. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина-Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзовизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые полета лет назад (и с тех пор давно измененные), и разницу между старой «Искрой» и новой «Искрой», и шаг вперед, два шага назад, и кровавое воскресенье, – но тут

доходило до знаменитой Четвертой Главы «Краткого Курса», излагавшей философские основы коммунистической идеологии – и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения (глава написана была самим Лучшим Учеником и Другом Ленина), то единственные причины были: трудности диалектического мышления для отсталых темных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения Четвертой Главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заем, – и политучебь прекращались.

Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание Великого Кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к ее недостаткам и движущим противоречиям, – приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что Четвертая Глава не закончена, – и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом.

Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфино на тему «Диалектический материализм – передовое мировоззрение» тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать Четвертую Главу, коснуться ослепительно-гениального произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинский партийный и комсомольский кружки на столбовую дорогу современности: работа и борьба нашей партии в период первой империалистической войны и подготовки Февральской революции.

И еще то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты (кто написал – оставалось на следующий понедельник, кому перекачивать – можно было перекачать и позже). И еще то манило к этой лекции, что читал ее не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. (Еще одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам: Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова – не того Мамулова из секретариата Бери, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо-отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия.) Но несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность ее, марфинские вольняшки тянулись на нее как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться – не покинуть же эков без присмотра! – то начальник Вакуумной, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару, отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по Акустической – остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пришел, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверять даже партия.

Кто же, наконец, приходил – приходили не вовремя и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды.

Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций.

Сюда раз навсегда было внесено много стульев, а здесь их нанизали на жерди по восемь штук и сколотили навечно. (Таковую меру комендант вынужден был применить, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту.) Огульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад – так, чтобы ногам было привольнее. Между молодежью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление,

шутки, смех.

Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог.

– Товарищи! товарищи! Это – позорный факт! – свинцово поблескивал очками Степанов, понукая отставших. – Вы заставляете ждать лектора обкома партии! (Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова.) Предпоследним вошел в залец Ройтман. Не найдя другого места – все сплошь было занято зелеными кителями и кое-где женские платья пестрели меж них – он прошел в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым – хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся свое слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчиненными, а – партийно-комсомольским коллективом. Не найдя свободного места позади, Яконов прошел в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана.

После этого Степанов ввел лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом темных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринужденно, как будто зашел в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нем был светлый бостоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пестрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо:

– Товарищи! Каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир.

Массивно переключаясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк – и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодуя воскликнул:

– Многие философы пытались ответить на этот вопрос! Но никто до Маркса не мог сделать этого! Потому что метафизика не признает качественных изменений! Конечно, нелегко, – он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы, – осветить вам все за полтора часа, но, – он спрятал часы, – я постараюсь.

Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике, перебил:

– Можно и больше. Мы очень рады.

У нескольких девушек упало сердце (они спешили в этот день в кино).

Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним.

– Регламент! – осадил он Степанова. – Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества? Гениально разработанная ими и про-долженная Лениным и Сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма – это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на ее основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне не правильно, товарищи! У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно! Маркс и Энгельс поставили ее на ноги, взяли из нее рациональное зерно, а идеалистическую шерлуху отбросили! Марксистский диалектический метод – это есть враг! Враг всякого застоя, метафизики и поповщины! А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта, это то, что... взаимосвязь! Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество это – как бы вам сказать пояснее? – это не мебельный магазин, где вот наставлено, наставлено, а связи никакой нет. В природе все связано, все связано, – и это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях!

Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришел раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестящий очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейски-статный лейтенант написал записку и передал ее Тоне, татарочке из Акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх темного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Черный чубчик ее упал и свесился, делая ее особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседней карандаш или авторучку.

– ... Ну, и число примеров можно увеличивать... Вторая черта диалектики это то, что все движется. Все движется, покоя нет и никогда не было, это факт! И наука должна изучать все в движении, в развитии – но при этом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идет по винтовой лестнице, это нет необходимости доказывать, и все вверх, и вверх, вот так...

\*\*\*

Вольным помахиванием руки он показал – как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола метра три квадратных и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика – и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства.

– Третья черта диалектики – это переход количества в качество. Эта очень важная черта помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие – это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду, вот хотя бы воду в этом графине, – ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете ее нагревать. Нагрейте ее до тридцать градусов – и она все равно будет вода. И нагрейте ее до восемьдесят градусов – и все равно будет вода. А ну-ка догреть до сто? Что тогда будет?

Пар!!

Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули.

– Пар! А можно сделать и лед! Что? Это и есть переход количества в качество! Читайте «Диалектику природы» Энгельса, она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались! Потому что не знали закона перехода количества в качество! И так во всем, товарищи!

Приведу примеры из развития общества...

До всякого лектора и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен ученому как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семинарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его медленно поворачиваясь, косо ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек – сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки-анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы.

Голос лектора рокотал:

– Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может э-во-лю-цион-но, это факт! Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно! Но

социал-регенаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва?! Значит, без революции?

Без ломки государственной машины? Парламентским путем? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам! Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооруженной борьбы от власти не откажется!!

Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окаемкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса, с недоумением, после чего приложил их к уху.

– Четвертой чертой диалектики, – вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули, – это то, что... противоречия! Противоположности!

Отживающее и новое, отрицательное и положительное! Это – везде, товарищи, это – не секрет! Можно дать научные примеры, пожалуйста – электричество!

Если потереть стекло о шелк – это будет плюс, а если смолу о мех – это будет минус! Но только их единство, их синтез дает энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде: тепло – это плюс, а холод – это минус, и в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, диамат впитал в себя все лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мертвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах! И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, не взирая на лицо.

Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавляемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он еще пытался говорить стоя:

– Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...

Усталость свалила его, он поморгал, опустил на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо:

– ... но наш ЦК дал отпор сокрушительный.

И всю середину лекции он прочел так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся.

Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шепота, как будто все складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода:

– Только материя абсолютна, а все законы науки относительны... Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи – относителен... Нет нич-чего абсолютного кроме материи, и движение – вечный атрибут его...

Движение абсолютно – покой относителен... Абсолютных истин нет, всякая истина – относительна... Понятие красоты – относительно... Понятия добра и зла – относительны...

Слушал ли Степанов лекцию, нет ли, – но весь вид его, вытянувшегося в стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в марфинских стенах.

Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Еще одна девушка из четвертого ряда в эпонжевом платье вся подалась вперед и слушала с легким румянцем. У нее появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать – какой.

Внимательно смотрел на лектора еще Клыкacheв, чья узкая длинная голова высывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал: он сам вел

политучебы и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачев просто от скуки изучал лектора – сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берет от жизни, и жизнь ему мстит.

Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвертый листок из блокнота, еще один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру: он брал ее сперва за один палец, потом еще за один, и так за всю кисть, она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять все шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость.

Начальник 4-й группы рисовал начальнику 1-й группы (тоже на коленях, пряча от Степанова), какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме.

Но до всех них хоть обрывками долетал еще голос лектора, – Клара же Макарыгина в однотонным ярко-синем платье открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате, она бродила в том черно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляли ее со вчерашнего руськиного поцелуя.

Все запуталось неразрешимо. Зачем был в ее жизни Эрик? И разве можно было им принеб-речь? Как можно было теперь Руську не ждать? И как можно было его ждать? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд, и снова и дальше разговаривать? Перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучебы, и она убежала охотно на лекцию, чтоб отдалить свою встречу с ним. Однако, сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал ее невыносимым упреком. Действительно, как это должно казаться подло – вчера обещать ему, а сегодня...

(Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться:

Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в Вакуумной, в самый этот момент, майор Шикин в присутствии начальника Вакуумной взламывал и обыскивал Руськин стол.) Силы снова прилипли к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя громил убогую формальную логику, порождение Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики.

Именно Марфина достигали самые свежие американские журналы, и недавно для всей Акустической Рубин перевел, и кроме Ройтмана уже несколько офицеров читало о новой науке кибернетике. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике: «да» – да, а «нет» – нет, и третьего не дано. И «Двузначная логическая алгебра» Джона Буля вышла в один год с «Коммунистическим манифестом», только никто ее не заметил.

– Вторым большим разделом диалектического материализма – это философский материализм, – погромыхивал лектор. – Материализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями – епископ Беркли, Мах, Авенариус, Юшкевич и Валентинов.

Яконов охнул, так что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом – однако, именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно-внимательным лицом. Вот на это он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц!..

– Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего! – гремел лектор. – Материя неуничтожима, это бесспорно! и это тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно – разве оно исчезло? – нет! оно превратилось в растение, в десяток таких же зерен. Была вода – от солнца вода испарилась. Так что, вода исчезла?

Конечно, нет!!

Вода превратилась в облако, в пар! Вот как! Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины, физик Оствальд имел наглость заявить, что «материя исчезла». Но это же смешно, кому ни скажи! Гениальный Ленин в своем бессмертном труде «Материализм и эмпириокритицизм», руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда!

Яконов подумал: вот таких бы лекторов человек сто загнать бы на эти тесные стулья, да читать им лекцию о формуле Эйнштейна, да держать без обеда до тех пор, пока их тупые ленивые головы воспримут хоть – куда девается в секунду четыре миллиона тонн солнечного вещества!

Но его самого держали без обеда. Ему уже тянуло все жилы. Он крепился простой надеждой – скоро ли отпустят?

Все крепились этой надеждой, потому что выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра – и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряженнее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошел врасплох, мимоходом – оттого-то позавчера она еще не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя ее окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их и все рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключенных (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!) с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приемку приборов и деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью – и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками, и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости – о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва он ездил на свидание с женой.

Теперь с горящими щеками, в новом платье, она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни... Маленькая, легко уместившаяся между стесненными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул ее издали казался незанятым.

Темп речи лектора заметно ускорился, как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и оживились. Сменяя друг друга и впопыхах чуть смешанные с пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли:

– Теория становится материальной силой... Три черты материализма...

Две особенности производства... Пять типов производственных отношений...

Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата... Скачок в царство свободы... Буржуазные социологи все это прекрасно понимают... Сила и жизненность марксизма-ленинизма... Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, еще высшую ступень!.. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин – сделал товарищ Сталин!.. Победа в Великой Отечественной войне... Вдохнов-ляющие итоги... Необъятные перспективы... Наш гениально-мудрый... наш великий... наш любимый...

И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента еще даже остался хвостик.

– Может быть, будут вопросы? – как-то полуугрожающе спросил лектор.

– Да, если можно... – зарделась девушка в эпонжевом платье из четвертого ряда. Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на нее и слушают ее, спросила:

– Вот вы говорите – буржуазные социологи все это понимают. И действительно, это все так ясно, так убедительно... Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей?

– Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят большие деньги! Их подкупают на сверхприбыли, выжатые из колоний! Их учение называется прагматизм, в переводе на русский: что выгодно, то и закономерно.

Все они – обманщики, политические потаскухи!

– Все-все? – утончившимся голосом ужаснулась девушка.

– Все до одного!! – уверенно закончил лектор, тряхнув патлатой пепельной головой.

## 89

Новое коричневое платье Симочки было сшито с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределенные складки. При переходе же в юбку, чтоб искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, вскидными на ходу, воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнисто-свободных. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он выкроен был отдельно долгим дорожкой той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла се-ребристо-коричневой бабочки.

Эти и другие подробности осматривались и обсуждались подругами Симочки на лестнице, у гардеробной, куда она вышла их проводить после лекции. Стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто, закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботинки.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году.

Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она «просто хорошенькая» в нем и спрашивали, где куплен этот креп-сатен.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключенные уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнаженную после откоски вокодера в Семерку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Его настольная лампа была погашена, ребристые шторы стола – защелкнуты, секретные материалы – сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: «скоро придут!»

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты и печатку (лаборатории опечатывались каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдет ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придется ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке, и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться.

Он был невесел.

– Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего, – пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнесся долгий электрический звонок. Заключенные дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошла по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо ее выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишившего ее привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти!

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче! – шелковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно-оголенные, и из черноты двора можно подглядывать, притаясь.

Правда, комнату вглубь не увидят – Акустическая в бельэтаже. Но невдалеке – забор и прямо против их с Глебом окна – вышка с часовым. Оттуда видно – напролет.

Или тогда потушить весь свет? Дверь будет заперта, всякий подумает – дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи?..

Симочка прошла в акустическую будку. Она сделала это безотчетно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он ее сюда втянул, внес.

Она слышала от подруг, как все происходит, но представляла смутно, и волнение ее еще увеличивалось, и щеки горели сильнее.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя!..

Да! Она бы очень хотела ребенка и воспитывать его, пока Глеб освободится! Всего только пять годиков!

Она подошла сзади к его вертящемуся гнуткому желтому стулу и обняла спинку как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней – черный сгусток всего враждебного любви – часовой с винтовкой.

В коридоре послышались шаги Глеба, он ступал тише обычного. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трехкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнаженными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отверточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко – чтобы звук не очень разнесся в безмолвном коридоре. Через опустевший без вокодерских стоек простор он увидел Симочку еще издали, притаившуюся за своим столом как перепелочка за большой кочкой.

Он ее так прозвал.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд – и обмерла: лицо его было смущено, даже сумрачно.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает – подойдет поцеловать, а она его остановит – ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил:

– Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй! – Опущенными руками он оперся о стол и, стоя, сверху вниз, смотрел на нее. – Если нам не помешают, нам надо сейчас... переговорить.

Переговорить?

Пе-ре-го-во-рить...

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторы упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развертывал разные книги, журналы, папки – так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отверткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Ее мысль была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или

должны уснуть скоро. Но почему ж он прежде не подойдет? не поцелует?..

– Случилось? Что случилось? – с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямого не было в том взгляде.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола – два стола, озаренные четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемое взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

– Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня... если бы... не исповедался тебе...

– ?

– Я как-то... легко с тобой поступал, не задумывался...

– ??

– А вчера... я виделся с женой... Свидание у нас было.

Симочка осела, стала еще меньше. Крыльца ее воротничкового банта бессильно опали на алюминиевую панель прибора. И звякнула отвертка о стол.

– Отчего ж вы... в субботу... не сказали? – подсеченным голосом едва протащила она.

– Да что ты, Симочка! – ужаснулся Глеб. – Неужели б я скрыл от тебя?

(А почему бы и нет?..) – Я узнал вчера утром. Это неожиданно получилось... Мы целый год не виделись, ты знаешь... И вот увиделись, и...

Его голос изнывал. Он понимал, каково ей слушать, но и говорить было тоже... Тут столько оттенков, которые ей не нужны, и не передашь. Да они самому себе непонятны. Как мечталось об этом вечере, об этом часе! Он в субботу сгорал, вертясь в постели! И вот пришел тот час, и препятствий нет!

– занавески ничто, комната – их, оба – здесь, все есть! – все, кроме...

Душа вынута. Осталась на свидании. Душа – как воздушный змей: вырвалась, полещется где-то, а ниточка – у жены.

Но, кажется – душа тут совсем не нужна?!

Странно: нужна.

Все это не надо было говорить Симочке, но что-то же надо? И по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивал околические приличные объяснения:

– Ты знаешь... она ведь меня ждет в разлуке – пять лет тюрьмы да сколько? – войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала... подкармливала... Ты хотела ждать меня, но это не... не... Я не вынес бы... причинить ей...

Той! – а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепелочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трехкаскадного усилителя.

Всхлипывания были тихие как дыхание.

– Симочка, не плачь! Не плачь, не надо! – спохватился Глеб.

Но – через два стола, не переходя к ней ближе.

А она – почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделенных волос.

Именно от ее незащитности простегивало Глеба раскаяние.

– Перепелочка! – бормотал он, переключаясь вперед. – Ну, не плачь.

Ну, я прошу тебя... Я виноват...

Больно, когда плачет эта, – а та? Совсем непереносимо!

– Ну, я сам не понимаю, что это за чувство...

Ничего бы, кажется, не стоило хоть подойти к ней, привлечь, поцеловать – но даже это было невозможно, так чисты были и губы и руки после вчерашнего свидания.

Спасительно, что сняли с окон занавески.

И так, не вскакивая и не обегая столов, он со своего места повторял жалкие просьбы –

не плакать.

А она плакала.

– Перепелочка, перестань!.. Ну еще может быть как-нибудь... Ну, дай времени немножко пройти...

Она подняла голову и в перерыве слез странно окинула его.

Он не понял ее выражения, потупился в словарь.

Ее голова устала держаться и опять опустилась на усилитель.

Да было бы дико, причем тут свидание?.. Причем все женщины, ходящие по воле, если здесь – тюрьма? Сегодня – нельзя, но пройдет сколько-то дней, душа опустится на свое место, и наверно все станет – можно.

Да как же иначе? Да просто на смех поднимут, если кому рассказать. Надо же очнуться, ощутить лагерную шкуру! Кто заставляет потом на ней жениться?

Девушка ждет, иди!

Да больше того, только об этом не вслух: разве ты выбрал эту? Ты выбрал это место, через два стола, а там кто бы ни оказалась – иди!

Но сегодня – невозможно...

Глеб отвернулся, перегнулся на подоконник. Лбом и носом приплюснулся к стеклу, посмотрел в сторону часового. Глазам, ослепленным от близких ламп, не было видно глубины вышки, но вдали там и сям отдельные огни расплывались в неясные звезды, а за ними и выше – обнимало треть неба отраженное белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведет, тает.

Симочка опять подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз ее шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лученьем глаз, и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала почти привлекательной.

Может быть все-таки...?

Симочка упорно смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Неловко. Что-то надо же говорить. Он сказал:

– Она и сейчас, по сути, мне жизнь отдает. Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы сумела?

Слезы так и стояли невысохшими на ее нечувствующих щеках.

– Она с вами не разводилась? – тихо раздельно спросила Симочка.

Ишь, как почувствовала главное! В самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось. Ведь это сложнее гораздо.

– Нет.

Слишком точный вопрос. Если бы не такой точный, если бы не такой требовательный, если бы края размыты, если бы дальше ничто не называть, если бы смотреть, смотреть, смотреть – может быть приподымешься, может быть пойдешь к выключателю... Но слишком точные вопросы вызывают к логическим ответам.

– Она – красивая?

– Да. Для меня – да, – ощитился Глеб.

Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе, зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп.

– Так не будет она вас ждать.

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, если правда красива, и молода, и без ребенка – неужели монашествовала? И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке – мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!.. Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, – зачем она добивалась тюремного

свидания? Из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

– Не будет она вас ждать! – как заводная повторяла Симочка.

Но чем упорней и чем точнее она попадала, тем обидней.

– Она уже прождала восемь! – возразил Глеб. Анализирующий ум тут же, впрочем, исправил:

– Конечно, к концу будет трудней.

– Не будет она вас ждать! – еще повторила Симочка, шепотом.

И кистью руки сняла высыхающие слезы.

Нержин пожал плечами. Честно говоря – конечно. За это время разойдутся характеры, разойдется жизненный опыт. Он сам все время внушал жене: разводиться. Но зачем так упорно, с таким правом давила в эту точку Симочка?

– Что ж, пусть – не дождется. Пусть только не она меня упрекнет. – Тут открывалась возможность порассуждать. – Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже – я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но поверь, что этого всего я набрался в вольном мире – поверхностном, благополучном.

Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опускался туда, тем... странно... Не будет меня ждать? – пусть не ждет.

Лишь бы меня не грызло...

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы еще долго об этом – особенно потому, что нечего было другого.

А Симочка почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, все о себе. Но как быть ей? Она с ужасом представляла, как придет домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нем. Какой унижительный стыд! – как она приготавливалась к этому вечеру! Как натиралась, душилась!..

Но если один час стесненного тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь – что можно было поделаться?

Разговор, конечно, кончился. Все сказано было без подготовки, без смягчения. Надо было уйти в будку и там еще поплакать и привести себя в порядок.

Но у нее не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась еще какая-то паутинка!

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

Закурил! – вот находка. И опять глядел в окно на разрозненные желтоватые огни.

Сидели молча.

Уже не было ее так жалко. Что для нее это? – вся жизнь? Эпизод, поверхностное. Пройдет.

Найдет...

Жена – не то.

Они сидели и молчали, и молчали – и это уже становилось в тягость.

Глеб много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если все сказано, все исчерпано – зачем же сидеть и молчать? Бессмысленная женская вязкость.

Не шевеля головой, чтоб Симочка не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные электрические часы. Было еще двадцать минут до поверки, двадцать минут вечерней прогулки! Но оскорбительно было бы встать и уйти. Приходилось досиживать.

Кто сегодня заступит вечером? Кажется, Шустерман. А завтра утром – младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнезд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И окончательно не понимала

теперь.

Однако, деятельный рассудок Нержина требовал какого-то занятия, движения вперед. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочел:

*20. 30. – Рс. п и рм (Обх)*

Это значило: «Русские песни и романсы в исполнении Обуховой».

Такая редкость! И в тихий час перерыва. Концерт уже идет. Но удобно ли включить?

На подоконнике, лишь руку протянуть, стоял приемничек с фиксированной настройкой на три московских программы, подарок Валентули. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил на самую малую громкость.

И только-только разгорелись лампы, как проступил аккомпанемент струнных и вслед за ним на всю тихую комнату – низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой.

Симочка вздрогнула. Посмотрела на приемник. Потом на Глеба.

Обухова пела очень близкое к ним, даже слишком больно близкое:

*Нет, не тебя так пылко я люблю...*

Надо же, как неудачно! Глеб шарил сбок себя, чтоб незаметно выключить.

Симочка опустила на усилитель, руки ободком, и снова заплакала, заплакала.

Что даже горьких слов своих у него не хватило на их короткие общие минуты.

– Прости меня! – забрало Глеба. – Прости меня! Прости меня!!

Он так и не нащупал выключить. Теплым толчком его кинуло – он обошел столы и, уже пренебрегая часовым, взял ее за голову, поцеловал волосы у лба.

\*\*\*

Симочка плакала без всхлипываний, без вздрагиваний, обильно, освобожденно.

## 90

С мыслями расстроенными, пораженный еще известием об аресте Руськи (параша об этом возникла два часа назад, после взлома его стола Шикиным, подтвердилась же на вечерней поверке отсутствием Руськи, как бы не замечаемым дежурными), Нержин едва не забыл об условленной встрече с Герасимовичем.

Режим неуклонимо привел его через пятнадцать минут снова к тем же двум столам, к тем развернутым журналам и опрокинутому усилителю, еще закапанному симочкиными слезами. И теперь казнены были Глеб и Симочка два часа сидеть друг против друга (и завтра, и послезавтра, и каждый день, и целые дни) и прятать глаза в бумаги, избегая встретиться.

Но на больших электрических часах перепрыгнула минутная стрелка, подходя уже к четверти десятого – и Нержин вспомнил. Не очень было сейчас настроение толковать о разумном обществе – а может и хорошо как раз. Он запер левую стойку стола, где хранились его главные записи, и, ничего не свертывая и не гася настольной лампы, с папиросой в зубах вышел в коридор.

Неторопливой развалкой прошел до остекленной двери, ведущей на заднюю лестницу, толкнул ее. Как ожидалось, она была незаперта.

Нержин лениво оглянулся. По всей длине коридора не было ни человека.

Тогда резким движением он перешагнул порог, с деревянного пола на цементный, тем уйдя со стрелы коридора и, придерживая, прикрыл за собою дверь без шума.

И стал подниматься по лестнице в густеющую темноту, чуть попыхивая и посвечивая себе папиросой.

Окно Железной Маски не светилось. Сквозь одно из наружных на верхнюю площадку втекала полоса слабого мреющего света.

Дважды зацепясь о хлам, сложенный на лестнице, Нержин на верхних ступеньках приглушенно окликнул:

– Тут есть кто?

– Кто это? – отозвался из темноты голос тоже приглушенный, то ли Герасимовича, то ли нет.

– Да это – я, – растянул Нержин, чтобы можно было угадать его, и посильнее пыхнул папироской, освещая себя.

Герасимович зажег острый лучик маленького карманного фонарика, указал им на тот же самый чурбак, на котором Нержин вчера днем отсиживался после свидания, и погасил. Сам он примостился на таком же втором.

На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника.

– Вот видите, какие мы еще телята в конспирации, даже просидев так долго в тюрьме, – сказал Герасимович. – Мы не предусмотрели простого: входящий ничем не компрометирован, а тот, кто ждал в темноте, не может окликать. Надо было придумать условную фразу при подъеме на лестницу.

– Да-а, – усаживался Нержин. – Каждый из нас должен быть и жнец, и швец, и в дуду игрец. Успевать работать для хлеба, и строить душу, и еще уметь бороться с сытым аппаратом ГБ – а сколько их? миллиона два? Надо прожить сколько жизней в одной! – мудрено ли, что мы не справляемся?.. Как вы думаете, а Мамурин не может лежать на кровати в темноте? А то мы с равным успехом можем беседовать в кабинете Шикина.

– Перед тем, как идти сюда, я удостоверился: он в Семерке. Если вернется – мы его обнаружим первые. Итак, перехожу к сути.

Он это говорил делово, но была в его голосе усталость и отвлеченность.

– Собственно, я собирался просить вас отложить наш разговор... Но дело в том, что я на днях отсюда уеду.

– Так точно знаете?

– Да.

– Вообще, я тоже уеду, ну не так быстро. Не угодил...

– Так если бы знать, что мы с вами окажемся на одной пересылке – поговорили бы там, уж там-то время будет. Но тюремная история учит нас ни одного разговора не откладывать.

– Да. Я тоже так вывел.

– Итак, вы сомневаетесь в том, что можно разумно построить общество?

– Очень сомневаюсь. До полного неверия.

– А между тем, это совсем несложно. Только строить его – дело элиты, а не ослиного скопа. Интеллектуальной, технической элиты. И общество надо строить не «демократическое», не «социалистическое», это все признаки не из того ряда. Общество надо строить интеллектуальное. Оно обязательно и будет разумным.

– Ну во-от, – разочарованно потянул Нержин. – Вот вы и накидали.

Тремя фразами накидали – за три вечера не разобраться. Во-первых, интеллектуальное – чем отличается от рационального? А его мы уже знаем, нам французские рационалисты уже одну великую революцию сделали, избавьте.

– То были – болтуны, а не рационалисты. Интеллектуалы – еще своей революции не делали.

– И не сделают. Они – головастики... Интеллектуальное общество – это у вас какое? Это, очевидно, вне-этическое и внерелигиозное?

– Не обязательно. Это можно предусмотреть.

– Предусмотреть! Но вот вы же не предусматриваете. Интеллектуальное общество – как можно себе представить? Инженеры без священников. Все очень хорошо функционирует, разумнейшее хозяйство, каждый у правильного дела – и быстрое накопление благ. Но этого мало, поймите! Цели общества не должны быть материальны!

– Это – уже поздняя поправка. А пока что для большинства стран мира...

– О пока что я и разговаривать не хочу! А потом поздно будет! Вы же мне говорите о разумном устройстве!.. Дальше. «Не социалистическое» – это мне наплевать, форма собственности имеет значение десятое, и неизвестно, какая лучше. Но вот «не демократическое» – это меня пугает. Это – что такое? Почему?

Из густой тьмы Герасимович отвечал точными нужными словами, не вставляя сорных, как пишутся хорошие книги, как бывает, когда обдумано прежде, чем сказано.

– Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества.

Только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас. И – честно предупредить заранее, не обманывать. Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия? – угождение грубому большинству.

Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уровню, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча остолопов своим голосованием указывают путь светлой голове.

– Хм-м, – недоуменно мычал Нержин. – Это для меня ново... Это я – не понимаю... не знаю... Думать надо... Я привык – демократия... А что же вместо демократии?

– Справедливое неравенство! Неравенство, основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите – авторитарное государство, хотите – власть духовной элиты. Власть самоотверженных, совершенно бескорыстных и светоносных людей.

– Батюшки! Да это в идеале бы – пожалуйста. Но как эта элита отберется? И, главное, как остальных убедить, что это – та самая элита?

Ведь ум на лбу не написан, честность огнем не светится... Это нам и про социализм обещали, что только в ангельских одеяниях будут руководить, а – какие хари вылезли?.. Тут мно-ого вопросов... А – с партиями как? Вернее: как бы совсем без партий – и старого типа и, упаси Господь, Нового Типа?

Человечество ждет пророка, кто б научил, как вообще без партий жить! Всякая партийность – тоже ведь строжка под большинство, под дисциплину, говори, что не думаешь. Всякая партия корежит и личность и справедливость. Лидер оппозиции критикует правительство не потому что оно действительно ошиблось, а потому что – зачем тогда оппозиция?

– Ну вот, вы сами идете от демократии к моей системе.

– Еще не иду! Это – немножко... Насчет авторитарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? Этический! Не власть на штыках, а чтоб – любили и уважали. Чтоб сказал: соотечественники, не надо, это дурно! – и все бы сразу прониклись: верно ведь, плохо! отвергнем! не будем! Где вы такое возьмете?.. А то говорится «авторитарность», а вылупляется – тоталитарность. По мне бы, так что-нибудь швейцарское, помните у Герцена?

Тем сильнее власть, чем ниже: самая большая – сельский сход, самый бесправный человек в государстве – президент... Ну, да это смеюсь... Вообще не рано ли мы с вами занялись? Разумное устройство! Разумней бы толковать – как из безразумного выбраться? Мы и этого не умеем, хоть и ближе.

– Это и есть главный предмет нашей беседы, – раздался спокойный голос из темноты. И так просто, будто говорилось о замене перегоревшей радиолампы в схеме:

– Я думаю, что нам, русским техническим интеллигентам, пришло время сменить в России образ правления.

Нержин вздрогнул. Впрочем, не от недоверия: он еще по наружности чувствовал к Герасимовичу родственность, хотя разговориться им не приходилось до сих пор.

Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего

Нержин ощутил перебеги ознобца вдоль хребта.

– Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозможна. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной – да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?

– Только не «увы»! – откликнулся Нержин. – Ну ее к черту, революцию: элиту же вашу первую и перережут. Все образованное и прекрасное выбьют, все доброе разорят.

– Хорошо, не «увы». Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В «Интернационале» не так глупо сказано: «Никто не даст нам избавленья! добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!» Надо понять, что чем состоятельней и привольней живется на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не открывали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлебывать.

– Дождутся и они.

– Конечно, дождутся. В благополучии есть губящая сила. Чтобы продлить его на год, на день – человек жертвует не только всем чужим, но всем святым, но даже простым благоразумием. Так они вскормили Гитлера, так они вскормили Сталина, отдавали им по пол-Европы, теперь – Китай. Охотно отдадут Турцию, если этим хоть на неделю отсрочат всеобщую мобилизацию у себя. Они – конечно погибнут. Но мы – раньше.

– Раньше.

– В том беда, что надежда на американцев освобождает нашу совесть и расслабляет нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чем-то там прозревает, что-то в нем назревает... Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей.

Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки – невиданная даже по русским масштабам. Это – страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадежно раздробленной, так вдоль и поперек изгаженной, что только ради алкогольного забвения еще стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили – тотчас бы у нас вспыхнула революция. Но беря сорок четыре рубля за литр, обходящийся десять копеек, коммунистический Шейлок не соблазнится сухим законом.

Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть видимо его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом, наверно, от потолка.

Совсем не зная этого человека, решился Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шепотом на ухо не осмеливались в этой стране.

– Испортить народ – довольно было тридцати лет. Исправить его – удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остается один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию! Они сбили организацию – и перевернули Россию!

– О, не дай Бог!

– Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметить предателей – вот как мы сейчас друг Другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трех до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс – кому-нибудь из технических интеллигентов...

– Которые атомную бомбу делают?

– ... установить связь с военными верхами...

– То есть, со шкурами барабанными!

– ... чтоб обеспечить их благожелательный нейтралитет. Да и убрать-то надо только: Сталина, Молотова, Берию, еще нескольких человек. И тут же по радио объявить, что вся высшая, средняя и низшая прослойка остается на местах.

– Остается?! И это – ваша элита?..

– Пока! Пока. В этом особенность тоталитарных стран: трудно в них переворот совершить, но управлять после переворота ничего не стоит.

Макиавелли говорил, что, согнав султана, можно завтра во всех мечетях славить Христа.

– Ой, не прошибитесь! Еще неизвестно, кто кого ведет: султан ли – их, или они – его, только сами не сознают. И потом: этот нейтралитет генерал-кабанов, которые целые дивизии толпами гнали на минные поля, чтоб только самих себя сберечь от штрафняка? Да они в ключья разорвут всякого за свой свинарник!.. И потом же – Сталин от вас уйдет подземным ходом!.. И потом ваших инициативных пять тысяч, если не возьмут сексотами, так – пулеметами, из секретов... И потом, – волновался Нержин, – пяти тысяч таких, как вы – в России нет! И потом – только в тюрьме, а не на семейной воле, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам! – а из тюрьмы-то как раз ничего и не сделаешь!.. Вы хотели, чтоб я искал недочетов в вашем проекте? Да он из одних недочетов и состоит!! Это – урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность – тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией ее не опишешь! Но даже не в этом! даже не в этом! – он уже слишком громко говорил для черной тихой лестницы. – Вы имели несчастье искать советчика во мне! – а я вообще не верю, что на Земле можно устроить что-нибудь доброе и прочное.

Как же я возьмусь советовать, если я сам не выдеру ног из сомнений?

С ледяною ровностью Герасимович напомнил:

– Перед самым тем, как был изобретен спектральный анализ, Огюст Конт утверждал, что человечество никогда не узнает химического состава звезд. И тут же – узнали! Когда вы на прогулке шагаете, развевая фронтовой шинелью – вы кажетесь другим.

Нержин запнулся. Он вспомнил вчерашнее спиридоново «волкодав прав, а людоед нет» и как Спиридон просил у самолета атомной бомбы на себя. Эта простота могла захватно овладеть сердцем, но Нержин отбивался, сколько мог:

– Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьезен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той франсовской старухи в Сиракузах? – она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил ее, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего? Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг – хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на... двадцать семь веков! На все эти виражи бессмысленной дороги – от того холма, где волчица кормила близнецов, от той долины олив, где чудесный мечтатель проезжал на ослике – и до наших захватывающих высот, до наших угрюмых ущелий, где только гусеницы самоходных пушек скрежешут, до наших перевалов обледенелых, где через лагерные бушлаты проскваживает семидесятиградусный ветер Оймякона! – я не вижу, зачем мы карабкались? зачем мы сталкивали друг друга в пропасти? Сотни лет поэты и пророки напевали нам о сияющих вершинах Будущего! – фанатики! они забыли, что на вершинах ревут ураганы, скудна растительность, нет воды, что с вершин так легко сломать себе голову? Вот здесь, посветите, есть та-кой Замок святого Грааля...

– Я видел.

– Там еще будто всадник доскакал и узрел – ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит! И меня тоже отпустите в скромную маленькую долинку – с травой, с водой.

– На-зад? – отдельно, без выражения отчеканил Герасимович.

– Да если б я верил, что у человеческой истории существует перед и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда. Для меня нет слова, более опустошенного от смысла, чем «прогресс». Илларион Палыч, какой прогресс? От чего? И к чему? За двадцать семь столетий

стали люди лучше? добрей? или хотя бы счастливей? Нет, хуже, злей и несчастней! И все это достигнуто только прекрасными идеями!

– Нет прогресса? нет прогресса? – тоже переступая осторожность, заспорил Герасимович омоложенным голосом. – Этого нельзя простить человеку, соприкасавшемуся с физикой. Вы не видите разницы между скоростями механическими и электромагнитными?

– Зачем мне авиация? Нет здоровей, как пешком и на лошадках! Зачем мне ваше радио? Чтоб засмыкать великих пианистов? Или чтоб скорей передать в Сибирь приказ о моем аресте? Нехай себе везут на почтовых.

– Как не понять, что мы – накануне почти бесплатной энергии, значит – избытка материальных благ. Мы растопим Арктику, согреем Сибирь, озеленим пустыни. Мы через двадцать-тридцать лет сможем ходить по продуктам, они станут бесплатны, как воздух. Это – прогресс?

– Избыток – это не прогресс! Прогрессом я признал бы не материальный избыток, а всеобщую готовность делиться недостающим! Но – ничего вы не успеете! Не согреете вы Сибири! Не озелените пустынь! Все, простите, к ...ям размечут атомными бомбами! Все к ...ям перепашут реактивной авиацией!

– Но беспристрастно – окиньте эти виражи! Мы не только делали, что ошибались – мы и всползли наверх. Мы искривили наши нежные мордочки об обломки скал – но все-таки мы уже на перевале...

– На Оймяконе!..

– Все-таки на кострах мы уже друг друга не жжем...

– Зачем возиться с дровами, есть душегубки!

– Все-таки веча, где аргументировали палками, заменились парламентами, где побеждают доводы! Все-таки у первобытных народов отвоеван habeas corpus act! И никто не велит вам в первую брачную ночь отсылать жену сюзерену. Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что нравы все-таки смягчаются, что разум все-таки одолевает безумие...

– Не вижу!

– Что все-таки созревает понятие человеческая личность!

По всему зданию разнесся продолжительный электрический звонок. Он значил: без четверти одиннадцать, сдавать все секретное в сейфы и опечатывать лаборатории.

Оба поднялись головами в слабый фонарный свет от зоны.

Пенсне Герасимовича переливало как два алмаза.

– Так что же? Вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко?

– Жалко, – уже ненужным шепотом, упавшим шепотом согласился Нержин.

– Планету – жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить.

– Лучше – не допустить, чем умереть! – с достоинством возразил Герасимович. – Но в эти крайние годы всеобщей гибели или всеобщего исправления ошибок – какой же другой выход предлагаете вы? фронтовой офицер! старый арестант!

– Не знаю... не знаю... – видно было в четверть-свете, как мучился Нержин. – Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у наших бомба появится – беда. Теперь вот разве только...

– Что?! – припирал Герасимович.

– Может быть... новый век... с его сквозной информацией...

– Вам же радио не нужно!

– Да его глушат... Я говорю, может быть в новый век откроется такой способ: слово разрушит бетон?

– Чересчур противоречит сопромату.

– Так и диамату! А все-таки?.. Ведь помните: в Начале было Слово.

Значит, Слово – исконней бетона? Значит, Слово – не пустяк? А военный переворот... невозможно...

– Но как вы это себе конкретно представляете?

– Не знаю. Повторяю: не знаю. Здесь – тайна. Как грибы по некоей тайне не с первого и не со второго, а с какого-то дождя – вдруг трогаются всюду.

Вчера и поверить было нельзя, что такие уроды могут вообще расти – а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их – разрушит бетон.

– Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами – вырванных, срезанных, усеченных...

## 91

Вопреки предчувствиям и страхам понедельник проходил благополучно.

Тревога не покинула Иннокентия, но и равновесное состояние, завоеванное им после полудня, тоже сохранялось в нем. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти выходила из ванной.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон как собака на ежа.

– Дотти, возьми трубку! Меня нет, и не знаешь, когда буду. Ну их к черту, вечер испортят.

Дотти еще похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась – она всегда хорошела, а оттого больше нравилась – и еще хорошела.

Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку.

– Да... Его нет дома... Кто, кто?.. – и вдруг преобразилась приветливо и повела плечами, был у нее такой жест угоды. – Здравствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю... – Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала:

– Шеф! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам...

Жена заметила его колебание:

– Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть!

Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!

Какой бы не сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересек ковер и взял трубку.

Шеф был благодушен. Он сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолетом с пересадкой в Париже, завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчаса для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью – и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи.

Невозможно было поверить, что вот так по канату при косом ветре можно идти, идти – и не сваливаться.

– Представь, Дотик, в среду лечу! А сейчас... Но Дотик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала все и сама. Только она разогнулась совсем не радостная: отдельный отъезд Иннокентия, еще объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной.

– Как ты думаешь, – она поднадула губы, – «кое-какие детали», это может быть все-таки и я?

– Да... м-м-может быть...

– А что ты там вообще говорил обо мне?

Да что-то говорил. Что-то говорил, чего не мог бы ей сейчас повторить, что и переигрывать уже было поздно.

Но уверенность, вчера приобретенная, позволяла Дотти говорить со свободой:

– Ини, мы все открывали вместе! Все новое мы видели вместе! А к Желтому Дьяволу ты хочешь ехать без меня? Нет, я решительно не согласна, ты должен думать об обоих!

И это – еще лучшее из всего, что она произнесет потом. Она еще будет потом при иностранцах повторять глупейшие казенные суждения, от которых сгорят уши Иннокентия. Она будет поносить Америку – и как можно больше в ней покупать. Да нет, забыл, будет иначе: ведь он там откроется, и что вообще уместится, в ее голове?

– Все и устроится, Дотти, только не сразу. Пока я поеду представляюсь, оформлюсь, познакомлюсь...

– А я хочу сразу! Мне именно сейчас хочется! Как же я останусь?

Она не знала, на что просилась... Она не знала, что такое крученый круглый канат под скользкими подошвами. И теперь еще надо оттолкнуться и сколько-то пролететь, а предохранительной сетки может быть нет. И второе тело – полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом.

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи:

– Ну, попробую. Раньше разговор был иначе, теперь как удастся. Но во всяком случае ты не беспокойся, я же очень скоро тебя...

Поцеловал ее в чужую щеку. Дотти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало.

– А пока одевайся, не торопись. На первый акт мы не попадем, но цельность «Акулины» от этого... А на второй... Да я тебе еще из министерства звякну...

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это не был Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофер был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

– Что-то я вас не помню, – сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто.

– А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал. – У шофера была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два попытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впритирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв палец.

– Механик наш, из гаража, – пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.

Шофер выругался в границах городского приличия и попросил:

– Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно.

– Да пожалуйста, – охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет на самолет во Внукове, но не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма.

Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил:

– Вы... не возражаете? – и плюхнулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рванул дальше.

Иннокентий на миг скривился от презрения («хам!»), но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.

– Вы бы стекло открыли! – поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденье, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию:

– Товарищ начальник! Вы не прочтете мне, а? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:

"Санкционирую. Зам. Генерального Прокурора СССР... "

Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик? – неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

"Ордер на арест... читал он, все еще не вникая в читаемое, ... Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го... "

– и только тут как одной большой иглой проколело все его тело по длине и разлился вар внезапный по телу – Иннокентий раскрыл рот – но еще не издал ни звука, и еще не упала на колени его рука с малиновым листком, как «механик» впился в его плечо и угрожающе загудел:

– Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!

Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы.

А листок отобрал.

И хотя Иннокентий прочел, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, – в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

– Пустите, – вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил «механика» подъехать, – представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство и арест отменят.

Он стал судорожно дергать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заело и ее.

– Шофер! Вы ответите! Что за провокация?! – гневно вскрикнул Иннокентий.

– Служу Советскому Союзу, советник! – с озорью отчеканил шофер через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скопились и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди – и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещенный из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был – как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные няяды, полулежа, с презрением смотрели вниз на маленьких семяющих граждан.

Автомобиль прошел вдоль фасада всемирно-знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубянскую улицу.

– Да пустите же! – все стряхивал с себя Иннокентий пальцы «механика», впившиеся в его плечо у шеи.

Черные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Черной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука «механика» ослабла в подворотне. Он вовсе снял ее с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал:

– Выходим!

И уже ясно стало, что был совершенно трезв.

Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофер.

– Выходите! Руки назад! – скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни, выпрямился и – хотя непонятно было, почему он должен подчиняться – подчинился: взял руки назад.

Арест произошел грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждешь. Даже наступило успокоение: уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещенный одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был – дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

– Не оглядываться! – прикрикнул «шофер». – Марш!

Так в затылок друг другу втроем, Иннокентий в се-редине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик – нижний, крытый, темный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приемную известного доктора.

За дверью следовал маленький очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой.

«Шофер» стал странно щелкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегороден остекленной дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешеткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

«Приемная арестованных».

Но очереди – не было.

Позвонили – старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрашный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперек их. «Шофер» взял у «механика» малиновый бланк и показал надзирателю.

Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт – и они вдвоем ушли внутрь.

Иннокентий и «механик» стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

«Приемная арестованных» – напоминала надпись, и смысл ее был такой же, как: «Мертвецкая». Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости? – но он забыл даже, что руки держал сложенными назад, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нем, он загнипнотизированно смотрел на надпись: «Приемная арестованных».

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошел вперед первый, выделявая языком то же призывное собачье щелканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещен и так же по-больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

– Зайдите.

Иннокентий вошел. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как «шофер» откуда-то сбоку, а «механик» сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

– Да что за бандитизм? – слабо закричал Иннокентий. – Кто дал вам право? – Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди"

просто выполняют служебную работу, лишало движения его – энергии, а голос – уверенности.

Они сняли с него ручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках еще узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звездочек на них – такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. «Механик» протянул ему носовой платок:

– Возьмите.

– После ваших грязных рук? – визгливо вскрикнул и передернулся Иннокентий. Платок упал на пол.

– На ценности получите квитанцию, – сказал «шофер», и оба ушли поспешно.

Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

– Платок – возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

– Да они что? погоны с меня сорвали? – только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

– Руки назад! – равнодушно сказал тогда сержант. – Пройдите!

И защелкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались еще в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг ко другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истертая женщина в военной юбке и гимнастерке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идет еще раз. Черты ее были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером "8", с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

– Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения – дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить! – день? или месяц? или годы?

Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой – потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в камере ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше ее – стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключенной в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он еще обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомним о своем звонке в посольство. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие ее освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут – и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представилась ему нагромождением ошибок, грудой черных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остекленный глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз.

Дверь была пальца четыре в толщину – и сквозь всю толщу ее от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял теплое зимнее пальто, грустно покосился на «мясо» от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочел ордера до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? Да, с санкции прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман? Но зачем такой странный прием, этот спектакль с «шофером» и «механиком»?

В одном кармане он нащупал что-то твердое маленькое. Вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться! Халтурщики! И здесь, на Лубянке, – халтурщики! – обыскивать и то не умеют! Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение! – не прочесть, в чем его обвиняют! Может, арест совсем не связан с этим телефонным разговором? Может быть, это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться?

Или там вообще не было, в чем его обвиняют? Пожалуй и не было.

Арестовать – и все.

Времени еще прошло немного – но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной коридору.

Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли: какая машина могла быть здесь? Здесь – тюрьма, не фабрика – зачем же машина? Уму сороковых годов, насыланному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это – машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да, – тем временем глубоко жалила его мысль, – какая ошибка! – даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Как он мог не протестовать! Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!

Он был прострелен этой роковой ошибкой! Первая мысль была – вскочить, бить руками, ногами, кричать во все горло, что невиновен, что пусть откроют, – но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверно, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты все равно уже все запутало.

Ах, как он мог даться так просто в руки! – из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат – безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься! О, отсюда не вырвешься!..

А, может быть, шеф его все-таки ждет? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослепленные светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном черном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему – отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчетливостью представилось ему, что эта отдушина – вовсе не отдушина, что через нее медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой

самой гудящей машиной, что газ выпускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка, с дверью, плотно-пригнанной к порогу!

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он еще или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли: он теряет сознание! Вот почему он уже давно задыхается! Вот почему так бьет в голове!

Втекает газ! бесцветный! без запаха!!

Ужас! извечный животный ужас! – тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара – ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчеты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

– Откройте! Откройте! Я задыхаюсь! Воздуха!!

Вот зачем еще глазок был сделан конусом – никак кулак не доставал разбить стекло!

Исступленный немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище! – вырванный глаз, глаз без лица, глаз, все выражение стянувший в себе одним! – и когда он смотрит на твою смерть!..

Не было выхода!..

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его...

## 92

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

– Вы почему стучите?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления еще нет.

– Мне дурно! – уже менее уверенно сказал он. – Дайте воды!

– Так вот запомните! – строго внушил надзиратель. – Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

– Но если мне плохо? если надо позвать?

– И не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, – с тем же равномерным хмурым бесстрастием разъяснял надзиратель, – ждите, когда откроется глазок – и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным гроыханием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом, и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

– Слушайте, – принял Иннокентий кружку. – Мне плохо, мне лечь нужно!

– В боксе не положено.

– Где? Где не положено? – (Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном!) Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял ее.

– Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? – опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал – в боксе? «Вох» – значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелененькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирали для Лубянки. Но как он подходил! Кошка была советская власть, книжка – сталинская конституция, а воробушек – мыслящая личность.

Иннокентий даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну произошедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость – радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнется в первые же полчаса.

(Хуже было Щевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка.) Потеснив на тумбочке пальто, Иннокентий поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.

В своем дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

– Послушайте, лейтенант, в чем дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочел.

– Фамилия? – невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

– Володин, – уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

– Имя, отчество?

– Иннокентий Артемьевич.

– Год рождения? – лейтенант сверялся все время с бумагой.

– Тысяча девятьсот девятнадцатый.

– Место рождения?

– Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходиться в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах – встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжелым лицом.

– Мне нужно... это... – выразительно сказал он.

– Руки назад! Пройдите! – повелительно бросила женщина, и, повинувшись кивку ее головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь:

– Сюда!

Иннокентий вошел. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадь пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнет от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущенный, Иннокентий выпрямился. Он еще не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

– Руки назад. Пройдите! – невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но времени больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Еще какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастерки спросил:

– Фамилия?

– Я уже отвечал! – возмутился Иннокентий.

– Фамилия? – без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

– Ну, Володин.

– Возьмите вещи. Пройдите, – бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошел. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

– Слушайте, у меня вещи отняли! – пожаловался Иннокентий.

– Разденьтесь! – ответил надзиратель в сером халате.

– Зачем? – поразился Иннокентий. Надзиратель посмотрел в его глаза простым твердым взглядом.

– Вы – русский? – строго спросил он.

– Да. – Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашелся сказать ничего другого.

– Разденьтесь!

– А что?.. нерусским – не надо? – уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий все-таки уважал свою шитую золотом одежду.

– Бросьте! – сказал серый халат, показывая на пол. Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышинный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:

– Догола!

– То есть, как догола?

– Догола!

– Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!

– Вас разденут силой, – предупредил надзиратель. Иннокентий подумал.

Уже на него кидались – и похоже было, что кинутся еще. Поеживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шелковое белье и сам послушно бросил в ту же кучу.

– Носки снимите!

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как все его податливое тело.

– Откройте рот. Шире. Скажите "а". Еще раз, длиннее: «а-а-а!» Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечи-стыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распятить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще – помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопрровержимым голосом он скомандовал:

– Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно.

Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги – шире.

Ягодицы – разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки.

Быстро! Еще раз!

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда, – зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем – и не стоило даже упираться по такому пустяку – но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламлиwała волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось немыслимым коснуться обнаженной частью тела еще этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведенное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя еще теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груди его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию.

Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и ее, так что Иннокентий мог одеться, все более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать подошвы, ища внутри чего-то твердого. Взрезав ножом стельку, он, действительно, извлек оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил на стол. Затем достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое белье, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело черствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира все золотое шитье, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Еще больше доставило ему хлопот зимнее пальто – там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (защитая записка? адреса? ампула с ядом?) – и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть более часа, продолжался обыск. Наконец, обыскивающий стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он еще раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешается иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полосы, два обломка карандаша, золотое шитье, все форменные отличия и множество пуговиц.

Только тут Иннокентий допоял и оценил разрушительную работу. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высывающаяся в подмышечных проймах пальто вата

– но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

– Зачем вы срезали пуговицы? – воскликнул он.

– Не положены, – буркнул надзиратель.

– То есть, как? А в чем же я буду ходить?

– Веребочками завяжете, – хмуро ответил тот, уже в двери.

– Что за чушь? Какие веревочки? Откуда я их возьму?..

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и еще кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошел новый надзиратель в халате белом, хоть и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

– Разденьтесь догола!

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:

– Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?

Очевидно – не могли, потому что нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия их способность молчать, когда нормальные люди отвечают.

Входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

– Сядьте! – показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голый арестант сел покорно, не задумываясь – зачем. (Привычка вольного человека – обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нем, так как другие успешно думали за него.) Надзиратель жестко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

– Что вы делаете? – вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев. – Кто вам дал право? Я еще не арестован! – (Он хотел сказать – обвинение еще не доказано.) Но парикмахер, все так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходявший по трапам трансконтинентальных самолетов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, – был сейчас голый квелый костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клочок и нежно перетер его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он еще помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность.

Он помнил свое решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, – но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поежился, парикмахер цыкнул.

– Одеваться можно? – спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Все же он надел белье, а когда стал влезать в брюки – загремел замок, вошел еще новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

– Фамилия?

– Володин, – уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.

– Имя-отчество?

– Иннокентий Артемьич.

– Год рождения?

– Тысяча девятьсот девятнадцатый.

– Место рождения?

– Ленинград.

– Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол – но это не вызвало в нем брезгливости, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и все время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушел и этот.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У нее было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:

– Скажите, у вас – вшей нет?

– Я – дипломат, – обиделся Иннокентий, твердо глядя в ее черные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.

– Ну, так что из этого? Какие у вас жалобы?

– За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора! – оживясь, зачастил Иннокентий.

– Вас не об этом спрашивают, – устало нахмурилась женщина. – Вензаболевания отрицаете?

– Что?

– Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой?

Туберкулезом? Других жалоб нет?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошел самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

– Почему не одеваетесь? – сурово спросил надзиратель. – Оденьтесь быстро.

Не так это было легко! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам, – как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать «веревочки»: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем еще это. Лубянские инструкции предполагали, что таким

наконечником арестант может покончить с собой.) Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвел еще в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

– Снимите ботинки! – встретил он Иннокентия. Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишённые резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой.

Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

– Можно обуться, – сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

– Руки назад!

Руки назад! – хотя до бокса №8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своем боксе.

За стеной все так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку.

С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых тюремщиков.

Процедуры, одна другой нелепее, казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его; установление личности арестованного; прием арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной администрацией; основной приемный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицинский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас – спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубянских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил свое пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лег на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены еще не затекли – и он ощущал наслаждение.

Однако, он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.

– Встаньте! – прошипела женщина. Иннокентий едва пошевелил веками.

– Встаньте! Встаньте!! – раздавались над ним за-клипания.

– Но если я хочу спать?

– Встаньте!!! – властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

– Так отведите меня, где можно лечь поспать, – вяло сказал он.

– Не положено! – отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и еще, и еще раз.

И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый высокий сильный мужчина, который был бы удачным молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

– Фамилия? – спросил он.

– Володин.

– С вещами!

Иннокентий сгреб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошел за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли

под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешел по мокрым решеткам, по которым было наслезено и босиком и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и мо-лотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостекленными прорезами была душевая. Над четырьмя решетками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававшие прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека! – но Иннокентий не ощутил никакой радости (если б он знал, что в мире эзков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил свое шестнадцатикратное преимущество).

Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует) он гадливо выбросил еще в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, – и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки.

Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнаженно скульптурным, подобно родэновскому «Мыслителю», и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное белье с черными штампами «Внутренняя тюрьма» на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были тесемки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторна, рукава спускались на пальцы. Обменять белье отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел ее.

В полученном нескладном белье Иннокентий еще долго сидел в предбаннике.

Ему сказали, что верхняя одежда его в «прожарке». Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна была испещрена прожарками, – они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательством сегодняшней ночи была вполне под стать и прожарка одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать свое положение и что ему делать, но мысли путались и мельчились: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но исполгающая слабость владела Иннокентием.

Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное – и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако, голыми ребрами на влажные угловатые рейки скамьи (и рейки были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошел к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии,

девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26-го декабря Внутренней Тюремной МГБ СССР приняты от Володина И. А. на хранение: часы желтого металла, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из желтого металла и таким же пером; заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня – одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка – измятые, поблекшие и еще горячие.

– Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? – возмутился Иннокентий.

– Шуба мех имеет. Понимать надо! – наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна и чужа. Во всем чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс №8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды все с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла еще одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го декабря Внутренней Тюремной МГБ СССР приняты от Володина И. А. сорочка нижняя шелковая одна, кальсоны шелковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Все так же погуживала таинственная машина. Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

– Нельзя! – сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

– Что нельзя?

– Голову класть нельзя!

В путающихся мыслях Иннокентий ждал еще.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней Тюремной МГБ СССР принято от Володина И. А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли – лицо опять новое – мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили все снова: Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Место рождения? – после чего пришедший приказал:

– Слегка!

– Что слегка? – оторопел Иннокентий.

– Ну, слегка, без вещей! Руки назад! – в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щелкая языком все для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провел Иннокентия через главную выходную дверь еще каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа – со шторами, задернутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Отрицать! Все начисто отрицать! Изо всех сил отрицать!

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочередно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий черный валик, как бы обмазанный штемпелью краской, отчего все пять пальцев стали черными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять черных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Еще так же измазали и отпечатали пальцы левой руки. Выше отпечатков на бланке было написано:

*Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,*

а еще выше – жирными черными типографскими знаками:

**ХРАНИТЬ ВЕЧНО!**

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щеточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с нее. Иннокентий сосредоточенно тер намыленной щеткой кончики пальцев, и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

**ХРАНИТЬ ВЕЧНО!**

## 93

Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи.

Он всю ночь не спал, и так много самых разных мыслей протолпилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголового сидения в бане и во многих боксах, сменных за ночь.

Его поразила верность эпитафии: «Хранить вечно».

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он, – но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал – она никого не возвращала к жизни. Впереди был или расстрел или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского монастыря, о котором ходят легенды. Это будет не шлиссельбургский приют для престарелых – запретят днем сидеть, запретят годами говорить – и никто никогда не узнает о нем, и сам он не будет знать ни о чем в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на луне. А в последний день, когда сталинскую банду заарканят для второго Нюрнберга – Иннокентия и его безгласных соседей по монастырскому коридору перестреляют в одиночках, как уже расстреливали, отступая, коммунисты – в 41-м, нацисты – в 45-м.

Но разве он боится смерти?

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне.

Сейчас наоборот – хотелось додумать некую важную, еще не уловленную им мысль – и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрерывно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, – и отчетливо само проступило, что он думал и читал днем:

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдет срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений...»

Ах, разве о наслаждениях речь! Вот у него были деньги, костюмы, почет, женщины, вино, путешествия – но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость! Дожить до конца этой шайки и послушать ее жалкий лепет на суде!

Да, у него было столько благ! – но никогда не было самого бесценного блага: свободы говорить, что думаешь, свободы явного общения с равными по уму людьми. Неизвестных ни в лицо, ни по имени – сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижные, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось все, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

«Не должно бояться телесных страданий. Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное – непродолжительно.»

Вот например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание – продолжительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или – десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шел второй час ночи. Сейчас может быть уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьезные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они еще будут идти, потом остановятся – и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина или конфискации себя в числе всего имущества. Так вот интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждет его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым человекам не перевероршить за ночь. А что найдут, дураки?..

Дотти не посадят – последний год врозь спасет ее.

Возьмет развод, выйдет замуж.

А может и посадят. У нас все возможно.

Тестя остановят по службе – пятно! То-то будет блеваться, отмежевываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из памяти.

Глухая громада задавит его – и никто на Земле никогда не узнает, как щуплый белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию!

А хотелось бы дожить и узнать: чем все это кончится?

Побеждает в истории всегда одна сторона, но никогда – идеи одной стороны. Идеи сливаются, у них своя жизнь.

Победитель всегда мало, или много, или даже все занимает у побежденного.

Все сольется... «Пройдет вражда племен.» Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет:

– С вещами!

– А?..

– С вещами!

– С какими вещами?

– Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев? для каких тягот?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

– Фамилия?

– Володин.

– Имя-отчество?

– Сколько раз можно?

– Имя-отчество?

– Иннокентий Артемьич.

– Год рождения?

– Девятьсот девятнадцатый.

– Место рождения?

– Ленинград.

– С вещами. Пройдите!

И пошел вперед, условно щелкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились еще на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать? – вступила мысль.

Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции? Нет, не расстрел еще!

(Иннокентий еще верил в мудрую согласованность всех щупалец МГБ друг с другом.) Все так же щелкая языком, лихой старшина завел его в здание и через темный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносящих розовую, голубую и белую квитанцию, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нем с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Все равно ведь – «хранить вечно!»...

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа – но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта – Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же – в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещенный, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истертый цементный пол, к тому же и прохладно, это усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок.

Снаружи сдержанно доносилось многое шарканье сапог по полу. Видимо надзиратели непрерывно приходили и уходили. Внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещен в тесном ослепительном жарком боксе № 8 – и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприютном безномерном боксе – и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света – угнетать. Как здесь необходимо окно! – хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов – но и его не было.

Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снует в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что все огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупее, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже не великим поступком, который будет вписан во все истории XX века, а необдуманым и главное бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный голос американского атташе, его нечистое произношение: «А кто такой ей?» Дурак, дурак! Он, наверно, и послу не доложил. И все – впустую. О, каких

дураков выращивает сытость!

Теперь было где походить по боксу, но у истомленного, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошелся раза два, сел на лавку и плетью опустил руки мимо ног.

Сколько великих безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая страна! Все горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя!..

Счастливая какая-нибудь Австралия! – забралась к черту на кулижки и живет себе без бомбежек, без пятилеток, без дисциплины.

И зачем он погнался за атомными ворами? – уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом!..

Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк!..

И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки – у него перехватило дух от недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтоб дать выход досаде!..

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери.

Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защелкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было – запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нем свершился такой передвиг, что шел он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились – как вдруг из какого-то еще коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряженно щелкающий, как и тот, что шел перед Иннокентием.

Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зеленой фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собою дверцу. Внутри было только-только где стать, и шел рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы – громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и втягиваясь в лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть, делал то самое, что и требовалось тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щелкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом!

Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..

Того, другого, провели – Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил: как были стерты ступени! – ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краев к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой – арестант.

На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла еще новая участь – быть поставленным лицом к стене. Все же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

– Фамилия?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, – и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомягое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица – золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

– Не оборачиваться! – и продолжал все те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясы лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиg, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь.

– Проходите! – резко сказал мягкомясы красно-обваренный лейтенант.

Они вступили внутрь – и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся натрое – вперед, вправо и влево, сумрачный коридор со многи-ми дверьми и слева у входа – стол, шкафчик с гнездами и еще новых надзирателей, – как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине:

– Лицом к стене! Не двигаться!

Глупейшее состояние – близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своем затылке несколько пар враждебных глаз.

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шепотом, ясным в глубокой тишине:

– В третий бокс!

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошел по полстяной дорожке правого коридора.

– Руки назад. Проходите! – очень тихо обронил он. По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров:

«47» «48» «49». а под ними – навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко – друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, – но надзиратель быстро увлекал вперед, а главное – Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего еще можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы?

Несчастливым образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть еще что отнять.

Даже пожизненно-заключенного, лишеного движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками – и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспeyания. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унижительный тюремный режим, медленно убивающий в нем человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были:  
"1" "2" "3"

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь, – широким радушным взмахом, отпахнул ее перед Иннокентием.

Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя.

Это был приземистый парень с черными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза – но из десятков лубяньских равнодушных лиц, виденных в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, посравнив несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной

ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьей, вделанной в стену, а у самой двери стоял невделанный деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только черная решеточка отдушины высоко вверх.

Еще бокс был очень высок – метра три с половиной, все эти метры были – беленые стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука – из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача – поспать. И как звереныш, не напутствуемый матерью, под нашептывание собственной природы узнает все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился простелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвернутые рукава комом – так, что образовалась подушка. И тотчас лег. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошел насквозь все стадии усталости, и дважды уже прерывал сознание одномиговой дремотой – и вот наступила возможность сна – а сна не было! Непрерывно обновляемое в нем возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, ребрам гладко, ноги вытянуты сполна и надзиратель почему-то не будит!

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки – он ощутимо, с невыносимой силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замеченное, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища положения, когда бы свет не давил, – Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отдвигался, он слышал шуршание, – и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

– Я вас прошу, выключите лампу! – умоляюще сказал Иннокентий.

– Нельзя, – невозмутимо ответил косенький.

– Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

– Разговаривайте тише! – возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма.

– Горит, какая положено.

И все-таки было что-то живое в этом мертвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

– Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Неслыш-но было, как по дерюжной дорожке он отошел от бокса, как вернулся – чуть звякнул вставляемый ключ, – и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички.

Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на неуходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

– Ты кем был?

Как необычно это звучало! – человеческое обращение, первое за ночь!

Потрясенный живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком «был», вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шепотом сообщил:

– Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

– А я был – матрос Балтийского флота! – помедлил. – За что ж тебя?

– Сам не знаю, – насторожился Иннокентий. – Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

– Так все сначала говорят, – подтвердил он. И неприлично добавил:

– А сходить по... не хочешь?

– Нет еще, – отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, вне расписания не доступных арестанту.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой – но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза – но где же был его носовой платок?.. Остался не поднятым с пола... Какой он был глупый щенок вчера вечером!

Мелкие вещи – носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуго-вица – это теснейшие друзья арестанта!

Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменим – и выручит!

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный ватный матрас. О, чудо! Лубянка не только не мешала спать – она заботилась о сне арестанта!.. В перегнутой матрас была вложена маленькая перьяная подушка, наволочка, простыня – обе со штампом:

«Внутренняя тюрьма», и даже серое одеяльце.

Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрас несколько свешивался со скамьи из-за узости ее), разделся, лег, накрыл глаза рукавом кителя – ничто больше не мешало! – и уже начал отходить в сон, именно в тот сладкий сон, который называли объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

– Выньте руки из-под одеяла!

– Как вынуть?! – чуть не плача воскликнул Иннокентий. – Зачем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть!

– Выньте руки! – хладнокровно повторил надзиратель. – Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчет! Естественная укоренившаяся незамечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к еще одному издевательствам.

Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая муть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донесся до него. Начав издали и все приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот – рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

– Подъем! – непреклонно объявил матрос балтийского флота.

– Как? Почему? – взревел Иннокентий. – Я всю ночь не спал!

– Шесть часов. Подъем, как закон! – повторил матрос и пошел объявлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревянел.

Но тотчас же – разве минутки две он успел поспать – косенький с грохотом отпахнул

дверь и повторил:

– Подъем! Подъем! Матрас – закатать в трубку!

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

– Но я не спал, поймите!

– Ничего не знаю.

– Ну, вот закачу матрас, встану – а что я буду делать?

– Ничего. Сидеть.

– Но – почему?

– Потому что шесть часов утра, вам говорят.

– Так я сидя усну!

– Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

– Умыться хотите?

– Ну, пожалуй, – раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

– Руки назад! Пройдите!

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъем?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отравную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал.

В боксе он ответил:

– Завтрака не будет.

– Как не будет? А что же будет?

– В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

– Что такое пайка?

– Хлеб значит.

– А когда же завтрак?

– Не положено. Обед сразу.

– И я все время буду сидеть?

– Ну, хватит болтать!

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

– Ну, что еще? – распахнулся матрос балтийского флота.

– У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли – кому отдать пришить?

– Сколько пуговиц?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала – костяные, пластмассовые, деревянные.

– Куда ж они годятся? У меня разве такие срезали?

– Берите! И этих нет! – прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы.

Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрел, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый требующий внимания труд не только скрал время, а еще и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись, не

было больше ни страха, ни угнетенности. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов – тюрьма Большая Лубянка – не страшна, что и здесь люди живут (как хотелось бы с ними встретиться!). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок черного сырого хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленого сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенной горячей жидкости и пообещали добавки.

Все это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось нисколько), поднятием руки попросил еще.

И вторую кружку, уже без сахара, но обостренно ощущая плохонький чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьей и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрас, он стал ходить в ожидании боя – три крохотных шага вперед, три крохотных шага назад.

Ему вообразилось столкновение, сшибка американской статуи Свободы и нашей мухинской, вертящейся, столько раз повторенной в фильмах. И туда, на расплющивание, в самое страшное место, сунулся он позавчера.

И – не мог иначе. Безучастным остаться он не мог.

Выпало это ему...

Как это говорил дядя Авенир? как это Герцен говорил: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине...?»

Дядю Авенира ему сейчас было всего важнее и теплее вспоминать. Сколько мужчин и женщин он почасту встречал многими годами, дружил, делил удовольствия – а тверской дядюшка из смешного домика, два дня виденный, – был ему тут, на Лубянке, самый нужный. Из всей жизни – главный человек.

Чуть похаживая в тупичке на семь ступней, Иннокентий старался больше вспомнить, что говорил ему тогда дядя. Вспоминалось. Но лезло почему-то:

«Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Это – не дядя. Это – глупое что-то. Ах, это Эпикур, вчера понять не мог. А сейчас ясно: значит, то, что мне нравится – то добро, а что не нравится мне – то зло. Например, Сталину приятно убивать – значит, для него это добро? А нам сесть в тюрьму за справедливость не приносит же удовольствия, значит – это зло?

И как мудро кажется, когда этих философов читаешь на воле! Но сейчас добро и зло для Иннокентия вещно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребенка, если не компасом дикаря.

Загремела дверь.

– Фамилия? – круто бросил еще новый надзиратель восточного типа.

– Володин.

– На допрос! Руки назад!

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса.

Почему любовь к родине надо распростра...?

А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец – и прогулочные тореные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спешили вставать, а терли грудь, зевали, начинали «с утра пораньше» невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны – любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог – не было, однако, сна, который бы ясно предсказывал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его еще шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей, лег поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, – но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулем, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, – стараясь дотянуть часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жесткий параллелепипед, сидел читал газету – но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный).

Каша на завтрак была пшенная, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши. Невозможно было со стороны предположить в нем теоретика дворцового переворота.

Из другого угла полупустой столовой Нержин глядел на него и размышлял, верно ли отвечал ему вчера. Сомнение есть добросовестность познания, но до какого же рубежа отступать в сомнении? Действительно, если нигде в мире не останется свободного слова, «Таймс» будет послушно перепечатывать «Правду», негры с Замбези – подписываться на заем, луарские колхозники – гнутья за трудодни, партийные хряки – отдыхать за десятью заборами в калифорнийских садах – для чего тогда останется жить?

До каких же пор уклоняться за «не знаю»?

Вяло отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лег и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая темная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что пясть ему срока уже некуда – но не переквалифицировали б ему, гады, двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились новые тюрьмы из камер-одиночек и все больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чем он виноват: если он белобрысый, можно обвинить, что он чернявый – а дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, осмелиться ли успокоить ее? И как?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке.

Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, он не терпел смеха над социализмом. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака все равно были упущены), – Рубин попросил налить ему стакан чая – и, сидя в постели, со включенной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, – сам же, не протравивши глаз, ушел в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самым мрачным.

По шарашке уже шел утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

– Внимание! Заключенным объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, – и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

– Это чье распоряжение? – бешено взвопил Пряничков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

– Начальника тюрьмы, – веско ответил Шустерман.

– Когда оно сделано??

– Вчера.

Пряничков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю.

– Это не может быть!! – протестовал он. – В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей!

Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

– А ты не работай до двенадцати, му...к, – пробасил Двоетесов.

– Мы не можем держать ночного повара, – рассудительно объяснил Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу все стихло, объявил:

– Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Семушкин!.. Готовьте казенные вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили все в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти – это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживленные голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвертые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчетов, и все это сгромаждено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

– Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развел руками перед общей картиной. Оживленный вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом.

Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап – это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата – ранение. И как ранение может быть легким или тяжелым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далеким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, – поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живет на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обростае: у

него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по барaku, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки – и все это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надежно пришиты, и еще у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.

А если он фраер – он держит еще зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накапливается пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап – всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой – если этап предстоит телячьими красными вагонами – отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплен конвоир. И вот конвой – если этап будет пассажирскими вагон-заками – ожесточенно топчет чемоданы, не влезавшие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии.

В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решетку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И очищенный от греха собственности, от склонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо клейменному еще Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре («шаг вправо, шаг влево – конвой открывает огонь без предупреждения!»), окруженный псами и конвойными, идет к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, – но спешили трусливо потупить, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чем плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон – и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформ, он идет по мирному расписанию и везет в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут? Этого не объявляют. Что ждет зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удастся испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цынга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого – и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптера? И разрешат ли на новом мете переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..

Может быть, он и не доедет до места назначения? В телячьем вагоне умрет от дизентерии? Оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьет его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, око-ченевшие трупы зэков?

Красные эшелоны идут до СовГавани месяц...

Помяни, Господи, тех, кто не доехал!

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы – все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, – в нем вспыхнуло и обострилось настроение оттянуть на прощанье майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, темный. Что-то дрогнуло в нем со вчерашнего дня. Одной ногой он провел над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке!

Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин – это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадет в режимную бригаду – и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошел Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого не-приятного зэка с его неуклонно-твердой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего.

У Нержина был природный дар не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством – то, что на языке зэ-ков называется культурно оттягивать. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придаться, был тоном разговора старшего с младшим.

– Гражданин майор! – заговорил он с порога. – Я пришел получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель – достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

– Книгу? – поразился Шикин (потому что так быстро не нашелся ничего умней). – Какую книгу?

– В равной мере, – сыпал Нержин, – я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина.

– Е-се-ни-на?! – будто только сейчас вспоминая и потрясенный этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ежик его головы выражал негодование и отвращение. – Да как у вас язык поворачивается – спрашивать Е-се-ни-на?

– А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.

– Этого мало!

– Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

– Откуда вы взяли такой период?

Нержин отвечал так уплотненно, будто заранее выучил все ответы наизусть:

– Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран «Толковый словарь» Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьезнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо «враги народа еще тогда не орудовали». И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

– Пусть так. Но вы, – внушительно спросил он, – вы – читали эту книгу? Вы – всю ее читали? Вы можете письменно это подтвердить?

– Отбирать от меня подписку по статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и, наоборот, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развел руками.

– Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал ее словами:

– Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подергиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку, – вставая же, он становился меньше, очень короткими выдавались и ноги его и руки. Темнолицый, он приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по суперобложке.

Несколько мест у него было заложено. По-прежнему не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своем кресле и стал не торопясь просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, оперся руками о колени и неотступно-тяжелым взглядом следил за Шикиным.

– Ну вот, пожалуйста, – вздохнул майор, и прочел бесчувственно, меня как тесто стихотворную ткань:

*Неживые чужие ладони!  
Этим песням при вас не жить.  
Только будут колосья-кони  
О хозяине старом тужить.*

Это – о каком хозяине? Это – чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

– Есенин был классово-ограничен и многого недопонимал, – поджатыми губами выразил он соболезнование. – Как Пушкин, как Гоголь...

Что-то послышалось в голосе Нержина, от чего Шикин опасливо на него взглянул. Ведь просто возьмет и кинется на майора, ему сейчас нечего терять.

На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь.

– А это как понять? – прочел Шикин, вернувшись в кресло:

*Розу белую с черной жабой  
Я хотел на земле повенчать...*

И дальше тут... На что это намекается?

Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

– Очень просто, – ответил он. – Не пытаться примирять белую розу истины с черной жабой злодейства!

Черной жабой сидел перед ним короткорукий большеголовый чернолицый кум.

– Однако, гражданин майор, – Нержин говорил быстрыми, налезаящими друг на друга словами, – я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждет конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлете запрос в Главлит. Посылали вы?

Шикин передернул плечами и захлопнул желтую книжечку.

– Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну. И все равно вам ее не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку

когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

«Так и все утерянное к тебе вернется!»

Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ:

– Гражданин майор! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадежно отобранные у меня польские золотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки – все-таки через Верховный Совет их получил! Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки? Надо мной смеялись – но я их добился! И еще множество примеров! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам! Я умирать буду на Колыме – и оттуда вырву ее у вас! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета министров. Отдайте по-хорошему!

И перед этим обреченным, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена.

Формально!! Верный нюх подсказывал Шикину, что это – оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и побережь свое имя от нареканий этого неумолимого склочника.

– Хорошо, – уступил майор. – Я вам ее возвращаю. Но увезти ее мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый желтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда все рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовал Сиромеха:

– Что делают?! Та-ких ребят на этап посылают! За что? А Руську Доронина? Какой же гад его заложил, а?

Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрее, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапиремых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними – Симочку, снова в некрасивом полосатом платице и с серым козым платком на плечах.

Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал – он вступил в закоулок между железными дверцами и шепотом сказал:

– Серафима Витальевна! После вчерашнего – безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его – сжечь? Вы не возьмете?

Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала:

– Дайте.

Кто-то входил, Нержин метнулся дальше, прошел к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал:

– Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним.

– Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются. И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана выразилась боль:

– Но, поверьте, Глеб Викентьич, а я не знал, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом деле не посоветовались.

– Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне? – беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты.

– Принимайте, Серафима Витальевна, – объявил Нержин и стал носить к ее столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже вложил свое сокровище – свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого.

Если даже теплы ее протянутые руки – надолго ли хватит девичьей верности?

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубяных труб – сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг, падала на эков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнаружено... Если будет цела голова – неужели он не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал.

И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришел Пряничков.

– Да как это можно? – разорвался он. – Мы одеревятели! Мы даже не возмущаемся! Отправлять на этап! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?!

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах.

Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда – миг напоминания, миг – «все там будем». Этап заставляет каждого, даже не тронутого им, зэка подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топором ГУЛага. Даже ни в чем не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он все забыл и ото всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчеркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически.

Как на похоронах вспоминают все хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспоминали, каким любителем качать права он был и сколько раз защищал общезарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично. (По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо – другим, всем. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело.) Зэки шарашки в то время еще не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острее, чем международные события.

Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы «кальсонный капитан», помощник начальника спецтюрьмы по хозяйству, и из подболточной муки на все население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением.

Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него.

Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана все секретное, уничтожив огнем и разрывом все личное, сложив в несколько стоп все библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся желтый стул, кому – немецкий стол с падающими шторками, кому – чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы Лоренц. Умерший с веселой улыбкой сам раздавал свое наследство, а наследники несли ему кто по

две, кто по три пачки папирос (таково было шарашечное установление: на этом свете папирос было изобилие, на том папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришел Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

– Если б ты любил Есенина, – я б тебе его сейчас подарил.

– Неужели отбил?

– Но он недостаточно близок к пролетариату.

– У тебя помазка нет, – достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой, – а я все равно дал обет не бриться до дня оправдания – так возьми его!

Рубин никогда не говорил – «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока, – всегда говорил «день оправдания», которого он должен же был добиться!

– Спасибо, мужик, но ты так ошарашился, что забыл лагерные порядки.

Кто же в лагере даст мне бриться самому?.. Ты мне книги сдать не сможешь?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

– Ну, как твой подопечный? – тихо спросил Глеб.

– Говорят, ночью арестовали. Главных двух.

– А почему – двух?

– Подозреваемых. История требует жертв.

– Может быть тот не попался?

– Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов.

Сравним.

Нержин выпрямился от собранной стопки.

– Слушай, а зачем все-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот парень рассудил не так глупо.

– Московский пижон, мелкий субчик, поверь. Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнем нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

– И вот, друже, – протянул он, – и трех лет мы не прожили вместе, жили все время в спорах, издеваясь над убеждениями друг друга, – а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты – один из самых мне...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

– Так все сошлось, – кивал он. – Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую черную бороду. Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком хлопнул остекленной дверью, отчего она задребезжала, а библиотечка оглянулась недовольно.

– Так, Глебчик! Так! – сказал Сологдин. – Свершилось. Ты уезжаешь.

Нисколько не замечая рядом «библейского фанатика», Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашел в себе примиряющего чувства к «докучному гидальго» и отвел глаза.

– Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать Глебу и не успел.

Библиотечка ушла за полки. Сологдин малозвучно сказал:

– Все-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный прием, чтобы не бороться.

Так же тихо ответил и Нержин:

– Но твоё вчерашнее... о стране потерянной и косопузой... это еще удобнее. Я ничего не понимаю. Сологдин сверкнул голубизной и зубами:

– Мы слишком мало с тобой говорили, ты отстаешь в развитии. Но слушай, время – деньги. Еще не поздно. Дай согласие остаться расчетчиком – и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу. – (Рубин удивленно метнул взглядом по Сологдину.) – Но придется вкалывать, предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

– Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но если вкалывать – то когда же развиваться? Что-то я и сам уже настроился на эксперимент.

Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море.

– Да? Ну, смотри, ну, смотри. Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо Сологдина было озабочено, он торопился, только заставлял себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотекарьша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными гу-бами и сильно напудренная, тоже лейтенант МГБ, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина.

И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

– Друзья! Надо помириться!

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

– Митя! – настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

– Почему ты обращаешься ко мне? – удивился он.

– Лева! – повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

– Ты знаешь, почему лошади долго живут? – И после паузы объяснил:

– Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав свое служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, – Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шел быстро, шею держал напряженно выгнутой сперва вперед, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься и с Нержиным и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошел в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нем все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

– Вот и все, Андреич, – остановил его Нержин. – Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза.

Свободной от ящика рукой он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его.

– Ку-ку-у...

– Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы все рав-но кроме Пушкина...

– И мы там будем, – сокрушенно сказал Потапов.

Нержин вздохнул.

– Где теперь встретимся? На котласской пересылке? На индигирских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

*Для при-зра-ков закрыл я вежды.*

*Лишь отдаленные надежды*

*Тревожат сердце и-но-гда.*

Из двери Семерки высунулась голова упоенного Маркушева.

– Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит! – крикнул он раздраженным голосом.

Соавторы «Улыбки Будды» обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.

– Вы ж понимаете, – сказал Потапов, – икру мечем, все некогда.

Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил и в институте Марфино, и во всем хозяйстве державы, тот стиль, который газеты невольно тоже признавали и называли «штурмовщиной» и «текучкой».

– Пишите! – добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощании, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписки не было.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромя.

Поспешил и Нержин – в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощренно предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Марфине, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошел Спиридон в своем черном перепоясанном бушлате.

Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалеку от Нержина постель, обернутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

– Спиридон Данилыч! Глянь-ка! – сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. – Есенин уж здесь!

– Отдал, змей? – По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал лучик.

– Не так мне книга, Данилыч, – распространялся Нержин, – как главное, чтобы по морде нас не били.

– Именно, – кивнул Спиридон.

– Бери, бери ее! Это я на память тебе.

– Не увезть? – рассеянно спросил Спиридон.

– Подожди, – Нержин отобрал книгу, распахнул ее, и стал искать страницу. – Сейчас я тебе найду, вот тут прочтешь...

– Ну, кати, Глеб, – невесело напутствовал Спиридон. – Как в лагере жить – знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

– Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только, всмотревшись в Спиридона, Нержин увидел, что тому сильно не по себе, больше не по себе, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стеснениями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, с Герасимовичем – он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому.

– Письмо-то?! Письмо получил, Данилыч?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме.

Теперь он достал его – конверт, сложенный вдвое, уже истертый на перегибе.

– Вот... Да недосуг тебе... – дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт!

Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохраненным от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

"Дорогой мой батюшка!

Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят – и обманывают..."

Голос Нержина упал. Он вскинулся на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова утешения, – как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин:

– Нержин! – закричал он. – С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь? Все собраны – вы последний!

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густозаросшую неподстриженную шею.

– Давайте! Давайте! Больше ни минуты! – понукал младшина.

– Данилыч-Данилыч, – говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон прохрипел в груди и махнул рукой.

– Прощай, Глеба.

– Прощай навсегда, Спиридон Данилыч!

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушел, сопровождаемый дежурным.

А Спиридон неотмывными, со ввевшейся многолетней грязью, руками снял с кровати развернутую книжку, на обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушел к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

## 96

По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы, – их шмонали, а по мере того, как их проشمывали – их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писаному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имеют права везти с собой ни клочка писаного, рисованного или печатного. Поэтому большинство эжков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздали книги.

Один заключенный, инженер Ромашов, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет) открыто вез большую папку многолетних вырезок, записей и расчетов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал работать там по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск ее, хотя майор Шикин уже отправлял ее в Отдел, и там тоже поставили визу, – вся многомесячная иступленная предусмотрительность и настойчивость Ромашова оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке неизвестно, и велел отобрать ее. Ее отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко всему привыкшими глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до СовГавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьюю голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти заполярных общих работ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать.

Другой заключенный, маленький лысый конструктор Семушкин, в воскресенье так

много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет и то все время в тюрьмах да на шарашке и теперь крайне был перепуган лагерем. Но несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки, оскорбляя чувства сидельных зэков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили), – и вдруг выхватил Лермонтова из рук кума (тот в страхе отскочил к двери), с силой, которой в нем не предполагали, оторвал зеленые тисненные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

– Натя! Жрите! Лопайте!

– и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга: по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую – казенное клейменовое белье, в третью – пальто, если оно было еще не истрепано, они одевались теперь во все свое, либо же в сменку. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно государственному оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, остались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в каптерке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки обнаружены были в мешках, у того теперь полуботинки «вольного» образца с галошами отбирались), иные – в кирзовые сапоги с подковками, а счастливицы – и в валенки.

Валенки!.. Самое бесправное из всех земных существ и меньше предупрежденное о своем будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, – зэк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой теплой глубокой норке зэк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережен от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлагным окаемком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живет притаясь, лжет, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других – лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

Несмотря на оттепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше ишачить на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами – засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович не имел ничего своего, и каптер дал ему «на сменку» широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукий бушлат, «бывший в употреблении», и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нем из-за его пенсне.

Пройдя шмон, Нержин был доволен. Еще вчера днем в предвидении скорого этапа, он заготовил себе два листика, густо исписанных карандашом, непонятно для других: то опусканием гласных букв, то с использованием греческих, то перемесью русских, английских, немецких, латинских слов, да еще сокращенных.

Чтобы пронести листки через шмон, Нержин каждый из них надорвал, искомкал, измял, как мнут бумагу для ее непрямого назначения, и положил в карман лагерных брюк. При обыске надзиратель видел листки, но, ложно поняв, оставил. Теперь если в Бутырках не брать их в камеру, а оставить в вещах, они могут уцелеть и дальше.

На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожженных сегодня.

Шмон был закончен, все двадцать эков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешенными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Еще другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледеннице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые еще были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне: что было отнято у них и что удалось пронести.

И о шарашке: что за блага терялись на ней, и какая часть срока была прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключенные – любители пересчитывать время: уже потерянное и впредь обреченное к утрате.

Еще они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придется просить у них помощи, ибо ГУЛаг – такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по двенадцать часов, неспособен прокормить сам себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу.

О том, куда же зашлют? Что ждет на новом месте? И как устраиваться там?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, – даже те, кто совсем в это не верили – прислушались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький выбор, все еще молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, все время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

– Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана – и того у нас сделать не могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой – держит, а – нагрузи? Развили тяжелую индустрию, драть ее лети, так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел.

И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушко.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хоробров разъярялся – но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемленного? Именно сейчас, облачась в лагерное и еду в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и Кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.

– Слышать не могу! – закричал он Ромашову, и худощавое жесткое лицо его выразило боль. – Горький не сидел на той пересылке и Куйбышев не сидел, иначе б их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!

Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

– Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идет обед.

Почему не несут нам?

Младшина неловко стоптался и сочувственно ответил:

– Вы сегодня... со снабжения сняты...

– То есть, как это сняты? – И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить:

– Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедим! И силой посадить себя – не дадимся!

– Хорошо, я доложу! – сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек – дико экам.

– Правильно!

– Тяни их!

– Зажимают, гады!

– Крохоборы! За три года службы один обед пожа-лели!

– Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?

Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрился. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды – в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло, кому сейчас невольно было есть, – даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к древопилке задом подошел грузовик, в кузове которого просторно лежала большая елка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра елку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей сами превратившиеся в детей, обвесят ее игрушками (не пожалеют казенного времени на их изготовление), клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

*В лесу родилась елочка,*

*В лесу она росла...*

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осажденным окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Еще было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать елку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.

Младшина, наконец, не пошел, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоем бидон и поварешку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у нее часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, зэки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспособлялись есть стоя, грудью приваясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и еще эту, и еще эту с жировыми звездочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; теплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок – а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую

силу и новое пополнение.

«Для мяса люди замуж идут, для щей женятся» – вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена – варить на нем щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всем коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, кто-то неопределенно протянул:

– Да-а-а...

И из угла отозвались:

– Заговляйся, братцы!

Некий критикан вставил:

– Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Еще кто-то уныло воскликнул:

– Когда теперь доживем и такого покушать!

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

– Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

– Покушали? – с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше:

– А второго не осталось. Уж и котел моют. Извините.

Нержин оглянулся на эков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

– А что на второе было? – пробасил кто-то.

– Рагу, – застенчиво улыбнулся младшина.

Вздыхнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули – и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переключки по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать эков до Бутырок и сдавать лишь там. Но – считали.

Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стучаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожающих не было: обеденный перерыв уже кончился, эков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряженная торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и эков, мешая им оглядеться и сообразить свое положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими стройными липами, осенявшими их долгие годы в тяжелые и радостные минуты.

А двое, кто изловчились посмотреть – Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбоку, взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам городов шныряли свинцово-серые и

черные воронки, наводя ужас на граждан. Было время – так и требовалось. Но давно наступили годы расцвета – и воронки тоже должны были проявить эту приятную черту эпохи. В чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырех языках:

*Хлеб*  
*Pain*  
*Brot*  
*Bread*  
*Или*  
*Мясо*  
*Viande*  
*Fleisch*  
*Meat*

И сейчас, садясь в воронок, Нержин улучил сбиться вбок и оттуда прочесть:

*Meat*

Потом он в свой черед втиснулся в узкую первую и еще более узкую вторую дверцы, прошелся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям, и сел.

Внутри этот трехтонный воронок был не боксирован, то есть, не разделен на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был «общего» типа, то есть, предназначен для перевозки не подследственных, а осужденных, что резко увеличивало его живую грузопместимость. В задней своей части – между двумя железными дверьми с маленькими решетками-отдушинами, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, и сносаясь с шофером и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, – едва помещалось два конвоира, и то поджав ноги. За счет заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасной бокс для возможного бунтаря. Все остальное пространство кузова, заключенное в металлическую низкую коробку, было – одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защелкивать железную дверцу, упираясь в нее четырьмя сапогами, – удавалось впихивать и больше.) Вдоль трех стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посередине. Кому удавалось – сиделись, но они не были самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвернутые затекающие ноги достались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться – а подвинуться или изменить положение нельзя было еще час. Надзиратели поднаперли на дверь и, втолкнув последнего, щелкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот еще кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решетку.

– Братцы! – прозвучал Руськин голос. – Еду в Бутырки на следствие!

Кто тут? Кого увозят?

Раздался сразу взрыв голосов – закричали все двадцать зэков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключенным переговариваться.

– Тише, вы, ...! – послал кто-то в воронке матом. Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

– Кто тебя продал, Руська? – крикнул Нержин.

– Сиромаха!

– Га-а-ад! – сразу загудели голоса.

– А сколько вас? – крикнул Руська.

– Двадцать.

– Кто да кто?..

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

– Не робей, Руська! – кричали ему. – Встретимся в лагере!

Еще падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь – но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решетки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась – и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда перебегали по лицам эков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

– А что должна делать элита в лагере? – протрубил Нержин прямо в ухо Герасимовичу, только он и мог расслышать.

– То же самое, но с двойным усилением! – протрубил Герасимович ответно.

Немного проехали – и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

– Руська! – крикнул один эк. – А бьют?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

– Бьют...

– Да драть их в лоб, Шишкина-Мышкина! – закричал Нержин. – Не сдавайся, Руська!

И снова закричало несколько голосов – и все смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех резко качнуло вправо – это означало поворот налево, на шоссе.

При повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их спланивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробров, чуть приокивая, говорил в темноте и скученности:

– Ничего я, ребята, не жалею, что уехал. Разве это жизнь – на шарашке? По коридору идешь – на Сироммаху наступишь. Каждый пятый – стукач, не успеешь в уборной звук издать – сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегреб. И – работай? Да это ад какой-то!

Хоробров смолк, переполненный негодованием. В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина:

– Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это – не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка – высший, лучший, первый круг ада. Это – почти рай.

Он не стал далее говорить, почувствовав, что – не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

Герасимович нашел аргумент, не досказанный Хоробровом:

– Когда начнется война, шарашечных эков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы.

– Я ж и говорю, – откликнулся Хоробров, – лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Прислушиваясь к ходу машины, эки смолкли. Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Ой-Мя-кон и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть.

Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир с самими собой. Ими владело бесстрашие людей, потерявших все до конца, – бесстрашие, достигающееся трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, веселая оранжево-голубая машина шла уже городскими улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении был задержан светофором темно-бордовый автомобиль

корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочел на машине-фургоне:

Мясо Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и записал темно-бордовой ручкой:

«На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным.»

\*\*\*

Роман начат в ссылке, в Кок-Тереке (Южный Казахстан), в 1955. 1-я редакция (96 глав) закончена в деревне Мильцево (Владимирская область) в 1957, 2-я и 3-я – в Рязани в 1958 (все уничтожены позже из конспиративных соображений). В 1962 сделана 4-я редакция, которую автор считал окончательной. Однако в 1963, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире», появилась мысль о возможной частичной публикации, были выбраны отдельные главы и предложены А.Т. Твардовскому.

Дальше эта мысль привела к полному разрыву романа на главы, исключению вовсе невозможных, политическому смягчению остальных и таким образом составлению нового варианта романа (5-я редакция, 87 глав), где сменена была главная сюжетная линия: вместо «атомного», как было на самом деле, поставлен широкоизвестный советский сюжет тех лет – «измена» врача, передавшего лекарство на Запад. В этом виде обсуждался и принят «Новым миром» в июне 1964, но попытка публикации не удалась. Летом 1964 предпринята противоположная попытка (6-я редакция) – углубить и заострить в деталях вариант 87 глав. Осенью фото пленка с этим вариантом отправлена на Запад. В сентябре 1965 экземпляры «публичного» варианта (5-я редакция) захвачены КГБ, чем окончательно заблокирована публикация романа в СССР. В 1967 этот вариант широко распространился в Самиздате. В 1968 роман (в 6-й редакции) опубликован по-русски в американском издательстве Harper and Row. (С этой редакции сделаны и все иностранные переводы.) Летом 1968 сделана еще одна (7-я) редакция – полный и окончательный текст романа (96 глав). Этот текст никогда в Самиздате не ходил и не издавался отдельной книгой. В Собрании Сочинений печатается впервые.

И сама «шарашка Марфино» и почти все обитатели ее списаны с натуры.